

ISSN 0132-0637

**ОКтябрь**

**4 1992**

1992

4

ОКтябрь



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

## 4

## 1992

### АПРЕЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН,  
В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН,  
А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНД-  
РАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ,  
Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,  
В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО,  
Р. ЩЕДРИН.

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий ТУМАНОВ. Буйвол, бедный Буйвол. Рассказ . . . . .	3
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Упавшая тень. Стихи . . . . .	21
Анатолий АНАНЬЕВ. Лики бессмертной власти. Роман. Царь Иоанн Грозный. Продолжение	24
Ирина ГРИВНИНА. Каждый день — разлуки. Стихи . . . . .	104
Инна ГОФФ. Долгий век. Публикация К. Я. ВАНШЕНКИНА . . . . .	107

Александр КОНДРАТЬЕВ.  
Сны, Повесть. Вступительная статья и публикация В. КРЕЙДА . . . . . 148

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Максим СОКОЛОВ.  
Так какую же войну мы проиграли! . . . . . 165

Сергей ВИНОКУР.  
Конверсия и экономика: возможен ли брак по любви! 173

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Иосиф БРОДСКИЙ.  
Fundamenta degli incurabili, Перевел с английского Г. ДАШЕВСКИЙ. . . . . 179

Игорь ШАЙТАНОВ.  
Текст от руки . . . . . 206

---

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),  
**И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),  
**Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**  
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

---

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

---

Сдано в набор 10.03.92. Подписано к печати 30.03.92. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.  
Тираж 124 800 экз. Заказ № 1594. Цена 14 р. 70 к. В розницу — цена свободная.

---

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды» 11.  
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64,  
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —  
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.  
Телефакс: 214-50-29.

---

Типография издательства «Пресса», 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## Б у й в о л, б е д н ы й Б у й в о л

РАССКАЗ

Страшной выдалась для пятидесятой армии первая военная весна, а в особенности апрель. Единственная шоссе́нная дорога, по которой армия получала боеприпасы, продовольствие, даже сено и все остальное, — «Варшавка» — утыкалась в город Юхнов, а за ним — в немецкие минные поля, ключую проволоку и вражеские окопы. Дальше на запад, вдоль всего чуть ли не стокилометрового фронта — хлябь, болота, вспученная тальми водами земля — ни конному, ни пешему пути не было.

Надрываясь, рубили саперы просеки, волокли на себе тонкие хлысты древесного подроста, мостили лежневку — дорогу из еловых да осиновых стволов толщиной в снаряд полковой пушки. Но лежневка не спасала: разваливалась под первым же обозом, лошади ломали на ней ноги, колеса телег отваливались, извечное калужское бездорожье напрочь выедало последние весенние силы Западного фронта. Замирала жизнь в армейских тылах. Пустели склады. А на дивизионных обменных пунктах почти не оставалось ни снарядов, ни патронов, зато в изобилии громоздилось то, что переднему краю для ежедневного боя не нужно и поэтому не вывозилось с конца зимы до начала весны. Склады вроде бы и были, но их и не было. Люди на них занимались делом. Но дело это не помогало главному — переднему краю.

Ночами теперь в противотанковой батарее тысяча сто пятьдесят четвертого полка все повторялось сейчас, как всегда всю эту чертову весну. Ранним утром, еще в темноте, сержанты батареи Железнякова поднимали сонных голодных бойцов. По одному от каждого орудия. А там, где в расчетах уцелело по шесть номеров, что было редкостью, то и по два человека.

Тех, кто с вечера был назначен в распоряжение старшины для транспортной группы, должны были будить сменившиеся с постов часовые. И в батарее это было самым нелюбимым занятием. Каждый старался не попасть в предрассветную смену, отругаться, а уж коль пришлось, нехотя и злясь, лезть в тесноту и духоту землянки.

— Волков! Да Волков же! — дергал он впотьмах кого-то за мокрый, осклизлый сапог. — Вставай, Волков!

— Пшел ты, Степа! — вырывался из рук продрогшего часового сапог. — Отвали: я Чесноков.

Переругавшись с половиною спящих, часовой все-таки разыскивал Волкова. Хорошо если не последним, хорошо если спросонок никто не лягал его в лоб. А уж кулаком или прикладом перепало обязательно.

Землянки первой военной весны — темные, узкие, смрадные земляные норы — казались солдатам, завалившимся в них на отдых, до этого продрогшим на весенних промозглых ветрах, почти что раем. Прижавшись друг к другу, греясь скудным своим теплом и теплом товарища, никто не хотел вылезать наверх, в стынть и хлябь.

Тем, кто назначался в утренний транспортный наряд, разрешалось с вечера укладываться спать первыми. А потом уже вокруг них ложились остальные. И транспортники, конечно, старались подыскать себе угол поукромней,



чтоб не первыми подняли и минуто-две лишних отбить для сна. Казалось бы, что в них, этих хилых минутах, а каждое утро повторялось одно и то же. Дежурный — полусонный сержант — строил перед штабной землянкой хрипящую, плюющуюся, с трудом продирающую глаза десятку.

— Чтоб каждый принес два снаряда. Каждый чтоб! Старший Волков. Шагом марш!

И первый шаг в предрассветную тьму. Опять простуженный хрип и плевыки да тяжкая матерная брань — в Гитлера, в весну, в поганую долю.

И вдруг смолкают. Только хрип, тяжелое дыхание и чавкает грязь под ногами.

— Батарея, смирррно! Равнение налево!

Каждую ночь. Как бы поздно не было. Каждое утро. Как бы рано не было. У высоты двести сорок восемь ноль. Или у мостика через Перекшу. А то и сразу у окраины деревни.

— Комбат!.. Комбат... Комбат! — пролетает в глубь цепочки.

Легким спортивным шагом гимнаста и волейболиста скользит рядом с дорогой едва различимая тень.

— И в грязи не тонет, — удивляется кто-то.

— И когда только спит? — поддерживает другой. — Вчера я ложился, он еще на правый фланг к двести сорок восемь шесть шел.

— Потому и не тонет, что не спит, — заключает третий.

И снова зачавкали, зачавкали проваливающиеся в грязь по колено, скользкие в стороны, пудовые от налипшей глины сапоги.

Они вернутся только вечером, опять в темноте, кляня свою судьбу, таща на плечах или за спиной один-два снаряда. Сидякин и Волков принесут три или четыре. С этими здоровьями равняться некому, да и те в последний раз еле смогли донести свою норму.

И главная радость у каждого транспортника, что в следующий раз их очередь идти за снарядами только неделю спустя. А семь-восемь дней отдыхать. В окопах, под огнем, но, не обливаясь потом и задыхаясь от усталости, гнуться под непосильным грузом, выволакивая себя шаг за шагом из трясины. За очередь все батарейцы следят с отменной строгостью. Сам командир батареи никогда не отменяет решений, отчитанных товариществом орудийных расчетов.

Снарядов, что за целый день смогут дотащить транспортные группы каждой батареи, должно хватить всего-то минуты на две беглого огня. Но беглым сейчас никто не стреляет. Даже артиллерийский полк в день дает всего три выстрела для пристрелки реперов. Война захлебнулась в болотах.

— А если немец даванет? — постоянно обсуждается в окопах, штабах и на наблюдательных пунктах.

— Потонет фриц, — общее солдатское мнение. — Потонет, куда ему.

Немцы действительно в наступление не лезут. Сидят по буграм, в сухих землянках и окопах, да луят, не жалея ни снарядов, ни патронов. А что им жалеть? У них вдоль всей линии фронта — на три — пять километров позади и на полсотни в длину — асфальтовое шоссе. У них с подвозом боеприпасов никакой беды нет.

В тысяча сто пятьдесят четвертом полку совсем худо с едой. В середине апреля кончилось все. Консервы, хлеб, сено, овес... — все.

Мизерное количество боеприпасов, которое еще было на допах, все, что героическими усилиями бойцов и командиров тыловых служб удавалось доставить туда с Варшавского шоссе, полки, лишившиеся транспорта и проезжих дорог, не могли перебросить через двадцать километров непроходимых болот, кроме как на солдатских плечах. А что на них перебросишь, когда в окопах уже отмечены случаи смерти не от пули, не от осколка, а от голода. Весенний пехотинец самого себя, хорошо, если б смог перевести через болото и винтовку, вчетверо теперь потяжелевшую, а уж про мешок с кладью и не спрашивай. Трое-четверо на батальон еще кое-как таскали ноги, а остальные на месте бы удержались, и то благо.

Артиллеристам, прибывшим за снарядами, дают на допе по сухарю. Это не подарок, не премия — расчет. Без дополнительного ржаного сухаря, который каждый будет по кусочку жевать всю дорогу, никто из них просто не дотащит до дома — до батареи — два снаряда, упадет в пути. Хорош сухарь, спасение — сухарь, остальным в полку вторую неделю норма — сухарь

на три дня. Но и за этот царский ныне паек, если б не приказ, никто бы не пошел месить грязь до допа.

Когда на армейских складах и дивизионных обменных пунктах почти не осталось продовольствия и боеприпасов, которые теперь на передовую сочились лишь капля по капле, по армейским тылам смерчем прошел грозный генерал из очень высокого штаба.

Первые его налеты рушились на тыловиков, словно гром и молния с безоблачного неба,— неожиданно и невероятно.

Пытаясь доставить к переднему краю хотя бы самое необходимое, люди вымучились до полной потери сил. А обессилев, увязнув в бездорожье, один за другим опускали руки даже самые энергичные работники тыловых служб. Скрипели зубами, крыли на чем свет стоит проклятую весну, но что сделаешь с непреодолимостью?

Никакое начальство, даже ближайшее, не появлялось в армейских тылах уже две недели, когда вдруг возник он. Возник ниоткуда. Из лесного тумана. С группой конников за спиной.

Даже телефонисты, все всегда знающие телефонисты на узлах связи и коммутаторах, не прозуммерили тревогу.

Невыполнимость рождает беспечность.

В ней растворяются наблюдательность и слух. И некому было в армейском тылу услышать в заболоченных окрестных лесах дружное чавканье многих конских копыт. Никто не ждал для себя лично беды. Разве что с неба, куда порой поглядывали с опаской. А она была уже здесь — мчалась к каждому, вырвавшись из трясин, и бодро стучала теперь подковами уже не по грязи, по сухим полянам меж складов и землянок.

Сытые, хоть и по голодным нормам второго тылового разряда, но ежедневно кормленные кони генеральских спутников, проходили меж шатающихся от голода, иссушенных лошадиных полускелетов у коновязей, как ледоколы среди баркасов.

Блестящие, маслянистые глаза генерала еще в лесных чащобах печально и тревожно смотрели на лошадей, которые, обессилев, не могли даже стоять. На висящие меж деревьев плоские тени коней, подвешенных на лямках, вожжах и постромках, чтобы не легли: изголодавшийся конь, который лег,— уже не конь, ему не встать никогда.

Совсем по-другому, с иным блеском, смотрели его глаза на людей, какого бы они чина-звания ни встречались.

— Пачэму стаишь? Пачэму нэ дэлаишь? — угрюмо спрашивал он.

И даже тот, кто не стоял, кто что-то делал, не находил слов, чтобы ответить генералу, вынырнувшему из леса, как привидение, как леший, если б не мокрый, курившийся паром конь и не шинель, по самый ворот заляпанная грязью.

А позади него в облаках пара, пльвшего над конскими крупами, крепла в седлах грозная дружина, тоже по уши покрытая болотной жижей, но сверкавшая непримиримыми глазами. Даже звезды в тускло-зеленых полевых генеральских петлицах, казалось, блестели сквозь грязь яростным светом.

За той яростью и блеском никто не различал мокрых, грязных шинелей, прилипших ко лбу потных, спутанных волос, безмерно усталых лиц, измученных невероятной дорогой. Все видели только страшную опасность, внезапно возникшую лично для себя. Им было не понять, чего от них хотели, что они должны были «дэлать». Зато понимали, что пришел час расплаты за все то, что у них не получилось, да и у других тоже.

У генерала не было пустых слов и угроз. На никчемные разговоры времени он не тратил. Знал, что с природой, с бездорожьем, которое и сам только что испытал, он ничего сделать не может.

А вот с людьми... Он хорошо знал, что может с ними сделать. Знал, что всюду, куда ступит его нога, куда достанут глаз и голос, все станут работать сверх сил человеческих.

И, вероятно, только в нечеловеческом напряжении всех могло здесь что-то сдвинуться, получиться как надо, как получалось у него и не раз там, где никто не видел никакого выхода.

Поэтому и послали сюда его. С не выполнимой ни для кого задачей. Его. Напористого, неуправляемого, беспощадного.

— Все у него будут не ходить — лэтать. Дэлать будут. «Дэлать!» — сказал маршалу он, выезжая на фронт.

И на него надеялись. Он, верили, спасет окопных людей от голодной смерти. Не всех. Но, сколько сможет, спасет.

— Бэз пушка вазвать можна! — сурово сказал он собранным к нему командирам без всяких вступлений и разъяснений. — Бэз патроны, бэз сапоги тоже можна!

Он обвел всех горящими глазами и закричал:

— Бэз хлэба вазвать нэльзя!

Глубокий гортанный голос клокотал гневом. И все собранные сюда командиры, от лейтенантов до полковников, почувствовали себя виноватыми, хотя каждый и понимал, что сам он делал все, что мог, больше того, что мог, все эти две безумные недели, когда передовая из-за весенней распутицы осталась без снабжения.

— Пачэму в окопах голод? Пачэму?

Грозный кавказский человек задавал вопросы, на которые ответа не было. Или он был, но его никто не осмеливался произнести вслух.

Вздыхнув и расправив под ремнем гимнастерку, шагнул к генералу полковник — заместитель начальника тыла армии. Еще раз глубоко вздохнул и заговорил о том, что все знали, — о дорогах, павших лошадях, распутице.

— Брэд! — сверкнул глазами генерал. — Не объяснение. Садытэсь, майор!

И в ответ на недоуменные взгляды и ропот, прокатившийся меж рядов, закричал:

— Да. Да! Не палковник. Майор. Я разжаловал. Я!

Он чуть повернул голову к своим сопровождающим и требовательно протянул к ним руку, ни к кому из них не обращаясь.

И тут же в ней оказался небольшой листочек голубоватой бумаги.

— Капитан Грищенко! — косо, по-птичьи глянув в этот листочек, угрюмо сказал генерал.

И когда в зале поднялся полный, круглый, как шар, интендант, тихо спросил его:

— Гдэ водка? Вэдро водка. Ящик кансэрва. Гдэ? Украли?

— Нэт, — неожиданно с таким же кавказским акцентом ответил интендантский капитан.

— Как нэт? — удивился генерал и даже оглянулся на тех, кто передавал ему голубую бумагу. — А гдэ они?

Не будь так сложна и напряженна обстановка, не будь во вчерашней армейской сводке двадцати трех красноармейцев и сержантов, умерших в окопах от голода, может быть, и выкрутился бы интендантский капитан, может быть, и жил бы, воюя лейтенантом или рядовым.

Сейчас генерал его даже не дослушал.

— Расстрэляты! — отсекая, рубанул он кистью наискосок.

И смерть прошелестела в зале над головами всех остальных интендантских начальников.

Еще в самом начале нового тысяча девятьсот сорок второго года тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел след в след за кавалерийским корпусом генерала Белова. Ломился, как и кавалеристы, без дорог, напролом. Отставали тылы, отставали кухни, пехота и артиллерия шли вперед.

Вымотавшиеся бойцы и командиры противотанковой батареи ели горячую кашу — она же и суп — раз в сутки. Один-то раз старшина Пустынников исхитрился догонять огневику на привале или в скоротечном бою.

Никто не жаловался. Но командиры орудий, что ни день, тревожнее докладывали — силы бойцов на исходе.

Командир огневого взвода Железняков, тогда еще младший лейтенант, по молодости лет эти доклады слушал вполуха. Одного раза в день, считал он, когда еды «от пуза», должно хватать.

— Учитесь у езовых, — оборвал он однажды сержантов Полякова и Мартыненко, тревожившихся за свои расчеты. — Выделите кого-нибудь, пусть, как они, в ведрах еду варят.

Командиры орудий, понимающе глянув друг на друга, хмыкнули.

— Да что они жрут-то? — брезгливо то ли спросил, то ли обругал езовых Поляков.

Позже докатились до Железнякова то ли слух, то ли ябеда, чему он сначала даже не поверил. Хотя уже обращал внимание, что многие огневики — и те, кто раньше хорошо относился к степенным сорокалетним мужикам-ездовым, и те, кто относился к ним так-сяк, — плевались, глядя, как на привалах у них над костром булькает в закопченном черном ведре какое-то варево.

— Падаль жрут! — услышал он как-то.

И снова не поверил.

А вскоре, углядев на марше, как соскочил с подводы Буйлин и, прихватив с собою все то же черное ведро, быстро-быстро затопал по белому снегу за сарай, тронул шпорой Матроса, и тот, нехотя сойдя с дороги, двинул через сугроб за ездовым.

У сарая конь зафыркал, закосил глазом и попятился. Вроде бы и ни к чему было Железнякову смотреть, что там за сараем, да застряли в памяти то неясные, то определенные намеки и брезгливые оглядки на ездовых. Заставил он упирающегося коня сделать четыре шага за угол. Но дальше тот не пошел, встал намертво.

Соскочив наземь, лейтенант быстро, чтобы застать, чтобы не упустить, в два прыжка очутился рядом с Буйлиным. И тут его зашатало от подстывшей к горлу тошноты.

Не зря тревожился и фыркал Матрос, не зря. За сараем взблескивали, сверкали в руках ездовых топоры и рубили они там его единокровного брата.

Буйлин и невесть откуда взявшийся Ермошкин, увлеченные своим делом, даже не заметили подошедшего лейтенанта. Хорошо еще, что не во внутренних копались ездовые. Если бы по снегу пластались кишки и другая требуха, не устоять бы на ногах Железнякову.

— Прекратить, — просипел он севшим голосом. Захлебнулся слюной, забившей вдруг рот, отплевался и взревел: — Встать! Смирно!

Пожилые, мешковатые мужики испуганно вытянулись перед ним, опустив вдоль ног топоры.

— Это что? — грозно ткнул Железняков плетью в ведро с нарубленной кониной. — Что творите, Буйлин?

Тут только дошло до ездовых, за что сердится взводный. Лишь понять, в чем виноваты, не смогли. И заулыбались во весь рот, думая, что сейчас все разъяснят.

— Махан, — блеснул зубами Ермошкин.

— Махан — харрашо, — подтвердил Буйлин, разинув рот до ушей.

— Дохлую лошадь? Падаль? — еще свирепее взревел лейтенант. — Сами копыта отбросите, балбесы!

Подошедшие на крик батарейцы хмуро поглядывали то на ездовых, то на ведро, полное мяса. Но ни Буйлин, ни Ермошкин на них даже не оглянулись.

— Нам, мордвинам, махан — что вам теленок, — успокоил лейтенанта один из них.

— Махан — харрашо, — снова подтвердил другой. — Ведро на двоих — паррадок.

Весь дневной переход ехал взводный, задумавшись, то рядом с одним ездовым, то с другим. Слушал их торопливый говорок, переспрашивал иногда и опять задумывался. Торжествующих сержантов гнал на место, отмахивался. Пусть подтвердилось то, о чем они говорили и слухи перестали быть слухами, но неясность оставалась. Как быть с ездовыми: запретить им варить конину или разрешить? Да или нет? Почему да? И если нет, то тоже почему? Надо объяснить. Для начала самому себе.

А убитый конь — не падаль. И на морозе сохраняется, как в леднике.

Вечером у костра, на привале, попробовал Железняков потолковать со взводом о национальной еде. Но сам понял, что особого успеха его лекция не имела.

С ним соглашались, что в башкирских и татарских селах конина — действительно привычная еда. Даже колбасу из нее делают. Соглашались, что мусульмане и верующие евреи свинины не едят, а в батарее такую еду только дай — треск пойдет за ушами. И нечего хаять Буйлина с Ермошкиным, не отказывающихся от еды, к которой привыкли с детства.

Решили гнать предрассудки из батареи поганой метлой. И, если кухня



опять отстанет, от конины не отказываться. Но сейчас, когда их кормят нормально, никто даже не захотел хотя бы попробовать варево из черного ведра.

Пришлось лейтенанту делом доказывать, что и непривычный человек, козь надо, может есть все, хоть змеиное мясо, как восточные люди.

Однако когда Ермошкин поднес ему котелок с бульоном, в котором темнел кусок конины, его опять чуть не вырвало. Но все же и бульон выпил, и мясо сжевал. Все под пристальными, пытливыми взглядами батарейцев. Не разбирая вкуса и только удивляясь жесткости.

— Махан — хорошо, — повторил он похвалу ездовых после ермошкинского угощения, утираясь чьим-то полотенцем.

Но общий приглушенный гогот артиллеристов не оставил сомнений, что они ясно видели все написанное на его лице, когда одолевал конячий супчик: махан — не еда. Таким было решение взвода.

Так и не прижилась зимою в батарее конина. А вокруг ее было навалом. Всюду, куда ни глянь, лежали убитые лошади из кавалерийского корпуса Белова, загубленные немецкой авиацией в январском наступлении на всем его пути.

Весной тысяча сто пятьдесят четвертый полк съел все, что можно было съесть. Склады опустели. Сухари, которые иногда приносили с дивизионного обменного пункта, сразу раздавались бойцам, нигде не задерживаясь ни минуты.

Теперь о конине только мечтали. Ее давно не было. Последних беловских коней подобрали давным-давно. А те, что лежали в неприметных местах — в оврагах да перелесках, разлагались, червивели, в пищу не годились. Но изголодавшиеся люди выскивали и в них куски, что можно было съесть без особого риска.

Совсем плохо было живым лошадям. Если боеприпасы и сухари еще хоть как-то носили на себе, то кто же потащит фураж?

Когда в деревнях Красная Горка, Вязичня и всех остальных не осталось ни одной соломенной крыши, лишь стропила, как зубья, углами торчали над каждым домом, а вся солома с них до последнего клочка была скормлена лошадям, — ездовые пошли собирать по расчетам батареи.

Подходили с протянутой шапкой к каждому артиллеристу и жалобно канючили:

— Отлومي, Вася... Поделись, Коля...

Их стали бояться. Издали, завидев непокрытые головы, прятались, пытались раствориться в весенней хмари, но те все равно возникали будто ниоткуда. Вот только что не было. И на тебе — стоит, сам шатаясь от голода, тынет руку с шапкой.

— Отлومي... Не себе прошу...

Злые злились. Добрые, как Чесноков, как Шкидский, почти плакали. От чего отломить? От чего? Чем делиться? С десятого апреля этой безумно ранней весны вся еда — хорошо если сухарь в сутки. С пятнадцатого — половина сухаря, а потом — четверть. И наконец совсем ничего. А фуража как будто никогда и не бывало в природе.

Злые орали, что и нечего кормить коней: все равно им не жить. Даже командир полка с комиссаром пешком ходят. Уж их-то коней кормили из последнего без отказа. Все одно подвешены теперь на лямках меж деревьев, ушами еще шевелят, да недолго проживут, от силы дня три-четыре.

Красноармейцам все ясно: сами крестьяне и дети крестьянские, видывали такое и дома бывало. Теперь отдай коню последнее — так сам сдохнешь и лошадь тоже не спасешь, все равно неделю спустя в воронке от бомбы закопают. Нет уж, правильнее было бы зарезать тех, что остались, спасти людей от голодной смерти.

Но говорили об этом только меж собой. Даже к взводным с такими просьбами не шли: знали — бесполезно. Перекатывались от батареи к батарее, от роты к роте страшные рассказы о грозном кавказском человеке, молнией сверкавшем в армейских тылах и знавшем только одно слово — расстрелять.

Там расстреляли кладовщика, там повара. В соседней дивизии один из батальонов зарезал обозного коня, который все равно вот-вот бы сдох. И не успели пустить на варево. Отняли, зарыли в землю. А рядом выросла могила комбата, расстрелянного за невыполнение приказа о сохранении конского по-

головья. И взводного расстреляли. И ездового. Поди-ка тут замахнись на коня.

Что правда в этих рассказах, что нет — никто не знал. Но, обрастая подробностями, катились они и катились из полка в полк. Жалели комбата. Ездового тоже. Кладовщика — нет, говорили: так и надо. Поминали Петра Первого, который вроде бы говаривал, что тыловиков можно расстреливать без суда и следствия.

В противотанковой батарее Железнякова до середины апреля ни один конь не сдох. И даже на лямках висели немногие. А ермошкинский Буйвол так и до склада кое-что возил. Как это удавалось Ермошкину, все только диву давались. Каждый день он и Буйлин как-то ухитрялись наскрести по четверти шапки хлебных крошек.

Но сами ездовые среди такого, казалось бы, царского изобилия становились все бледнее и прозрачнее. От сухарей, причитавшихся им самим, неделями не перепало ни крошки ни тому, ни другому: все отдавали лошадям, как родители детям.

Железняков, уже три месяца как комбат — со всеми заботами батарейного командира, этих двоих не выпускал из вида ни на день, приглядывался к ним с особой тревогой. Все батарейцы слабели. На каждом шинель сидела балахоном, а поясные ремни затягивались чуть ли не до самой пряжки. Но эти двое! Уж не раз в траншеях пехоты и рядом со своим наблюдательным пунктом приходилось комбату видеть такие же восковые, обострившиеся лица. Там голод доставал красноармейцев сильнее. Целыми днями они в грязи, засасывающей людей в окопах хорошо если только по щиколотку. Стены сырые, ранние злые дожди, пронизывающая весенняя сырость и холод. В землянке только-только кончил дрожать, пригрелся — выходи то ли стрелять, то ли дежурить.

Бешено завидует пехота артиллеристам: те как-никак на триста — четыреста метров позади, у них и на огневых сухо, и землянки теплей и просторней.

А кому завидовать артиллеристам? Ездовым? Они с лошадьми за рекой? И вот, поди ж ты, первыми в батарее стали дистрофиками Ермошкин с Буйлиным — ездовые. С такими, как у них лицами, в пехоте через день-два ложатся, чтобы больше не встать. Видел Железняков эти заострившиеся носы в траншеях. Днем идешь — еще стоит у пулемета, а к вечеру — на дне окопа, полузасосанный в грязь или вытянувшийся позади бруствера, полуприкрытый шинелью.

Михаил Пеньков, врач, хоть и ветеринарный, но в жизни и смерти разбирающийся, проверяя лошадей батареи, поглядывал, поглядывал в сторону Ермошкина с Буйлиным, потом отвел Железнякова в сторону.

— Ты, Витя, видишь, что у этих мужиков лошади крепче всех, а сами они хуже всех?

Витя видел. Да что он мог поделать?

— Позови.

— Буйлин и Ермошкин, ко мне!

И вот они стоят, колышутся.

— Чем кормите лошадей? — строго спросил ветеринарный врач.

— Ветками, корой, — показал Буйлин на ободранные вокруг дерева, — супчиком...

— Че-е-ем? Каким таким супчиком?

Оказывается, из веток, мха, коры и кустарника Ермошкин варил суп для Буйвола. И тот, видно, из доброго отношения к хозяину это варево ел. Остальные кони, раз окунув в него губы, фыркали, отворачивались, пятились назад.

— Сколько дней сам ничего не ел? — угрюмо спросил Ермошкина комбат и кивнул на Пенькова. — Доктор говорит, неделю.

— Каку неделю? Каку неделю? — зачистил Ермошкин. — Дня три.

— А сухари? Буйволу отдавал?

— Так скотина же. Бессловесная ж. Так жаль же ж!

— В пехоту отправлю, понял? — пригрозил комбат. — Завтра чтоб при мне паек съел.

И сам чуть не ухмыльнулся. Два дня ни сухаря не выдавалось никому. А что будет завтра, неизвестно.

— Да, — закончил осмотр Пеньков. — Еще неделя — и всех коней мы за-

роем. Останется один Буйвол. А за Ермошкиным глаз да глаз — первый кандидат на тот свет.

Вечером на огневых позициях Железняков убедился, что таких кандидатов у него больше.

Даже во взводе Полякова — лучшем взводе — расчет не смог вытащить орудие из укрытия. Двое просто потеряли сознание.

Мартыненко, командир второго расчета, раньше один таскавший пушку, собрав к себе десяток чужих бойцов, даже с ними еле-еле выволок ее на позицию.

— Что, Мартыненко, будем делать через неделю? — спросил Железняков.

— Продержимся, товарищ комбат! — лихо гаркнул тот в ответ, по-прежнему сверкнув глазами.

— А ты что думаешь, Чесноков?

— Продержимся, товарищ комбат, — тихо ответил самый слабосильный боец поляковского взвода.

Все обещали продержаться. И на самом деле были уверены в этом. Но день-другой — Железняков реально оценивал обстановку — и уже вся батарея еле выкатит даже одно орудие. И понимал это не только он один.

— Комбат, — прямо сказал ему взводный Поляков. — Я больше не буду прятать пушки в капониры. Если что, мы не успеем вытащить их оттуда, а немцы уже будут на наших огневых.

Так ослабели артиллеристы, где в расчеты специально подбирали самых здоровенных мужиков. А в пехотных окопах люди просто медленно таяли. Те, кто освободился от дежурства и им не нужно было нести боевую службу, залегали недвижно на нарах в землянках и еле выползали в окоп даже по тревоге. Кое-как прилаживались к ставшим тяжелыми, как бревна, винтовкам в обмятых прорезях бруствера. А отдача после каждого выстрела сбрасывала половину стрелков вниз, в траншею.

Редко в окопах стреляла пехота. А в батальонных тылах под горой, в зарослях у реки, пальба шла такая, будто отбивалось немецкое наступление. Там каждый, завидевший на дереве грача или ворону, хватался за винтовку. Птицы уже не садились на ветки. Но и в воздухе им не было спасенья. Пули гнали их прочь от переднего края. Крупных здесь быстро выбили и съели. Теперь палили по синицам, стрижам, воробьям, сбили высоко в небе даже жаворонка, на свою беду прилетевшего раньше времени.

Бинокли артиллеристов чаще смотрели не в немецкую сторону, а в тыл, за речку Перекшу. Искали там старшину с ездовыми. Оставшись без лошадей, они носили теперь на себе все, что удавалось достать. Все ждали еду. Патронов и гранат в батарее хватало, еще зимой запаслись вдоволь. А суточная еда чуть ли не на сотню людей умещалась теперь в половине вещевого мешка — «сидора».

Очень не любил Железняков теперь, весною, бывать в своих тылах, что стояли позади, километрах в четырех за Перекшей. Туда не доставали пули, да и снаряды рвались только изредка, потому там и расположили тылы, чтобы сохранить коней, боезапас и другое имущество. Но в последние дни смерть все равно гуляла там меж деревьев в сыром и хмуром еловом лесу, где, повешенные на лямках, неподвижно висели кони.

«Лес повешенных лошадей», — сказал кто-то. И, пожалуй, точно. А Железняков знал здесь каждое коня. Не только по кличке помнил — этот под огнем вывез и спас орудие, на этих сам, вместе со взводом, вырвался из-под бомбежки. Теперь, казалось, все они на одно лицо, даже масть у всех одинаковая — бурые все какие-то, линиялые, темные, и ребра у всех торчат, просто скелеты, обтянутые кожей.

По пути в тыл комбат задержался у подножия высоты двести сорок восемь ноль.

Бодрый, сверкающий, весело журчащий светлый поток снежной воды, устремившейся по ложине меж высотой и Красной Горкой, преградил путь.

Пока мыл в нем сапоги да искал место, чтобы перепрыгнуть, наткнулся на обычного весеннего пехотинца. Черный от копоти, весь в заскорузлой окопной глине человек стоял на четвереньках прямо в грязи на краю ручья и красной, замерзшей от ледяной воды рукой полоскал в ней какую-то ветошь, тряпку, потемневшую до черноты.

«Во молодец,— решил было про себя Железняков,— не хочет ходить в грязной рубашке, стирать изловчился».

И еще мелькнула мысль: если у старшины есть мыло, надо, чтобы батареи тоже привели себя в божеский вид.

Но пригляделся, и перехватило горло: понял, что полощет пехотинец.

Чуть тронул грязного человека чистым носком отмытого сапога.

Черная, закопченная сажей маска с огромными голубыми глазами повернулась к нему снизу от воды.

Он подивился яркости глаз. Сейчас у всей пехоты, на кого ни глянь, они оловянные, тусклые, а тут такая синь. Наверно, небо, отраженное ясной водой, сверкнуло на черном лице.

Но уши, высохшие, пергаментные уши, что торчали лопухами, да глубокие провалы щек, делавшие лицо пехотинца узким, как выщербленный топор, показывали, что он на последнем пределе истощения.

— Что делаешь, братец? Подохнешь ведь.

Крикнуть не смог. Сказал тихо.

Кривые дорожки слез зазмеились по черному лицу. А может быть, они и раньше были, не первые это слезы. Но человек даже не попытался встать с четверенек.

— Брось,— еще тише сказал Железняков.— Сейчас же брось. Яд это.

— Товарищ командир,— так же тихо, но жалобно прошептал пехотинец.— Не отымайте, товарищ командир. Прелестное же мясо.

А его красная рука все полоскала, полоскала черные лохмотья конского мяса. И по-прежнему бесстрастно сверкала голубой чистотой вода холодного снежного ручья, стремительно несущегося к реке Перекше мимо двух голодных людей.

Конница Белова. Конница Белова! Кавкорпус, прорвавшийся в середине зимы через Варшавское шоссе и раскидавший в полях близ Варшавки сотни лошадей, сраженных с неба самолетами, которых у тебя не было. Может быть, весной ты спасешь его — черного пехотинца,— конница Белова? Последним куском конины спасешь?

Железняков шагал к лесу, изо всех сил сдерживая kloкотавшую боль, шагал, не сказав ничего больше там, у ручья. И всю дорогу вбивая каблуками в землю, печатая на ней тяжелые слова:

«Прелестное мясо... прелестное мясо».

Будь ты проклята, война. Пусть он умрет. Он все равно умрет. Но пусть ему хоть покажется, что был сыт перед смертью.

А слезы текли и текли, щекотные, соленые, остановить их он не мог, не хотел, да, наверно, и не замечал, до самого леса прощался с погибающим от голода пехотинцем.

И не с ним одним. Нет, не с одним.

Железняков шел в тылу вроде бы за чем-то другим. Но в душе-то он знал, что сейчас будет. Только признаться в этом не мог даже самому себе. Не хотел признаваться. Слов таких вслух сказать не хотел. А знать-то он знал. Шел он спасать батарею. Понимая, хорошо понимая, что и сам может погибнуть и бойцов своих не спасти, не сберечь. Но больше ничего у него не было в запасе. Ничем, кроме этого, не мог он рискнуть. Только самим собою.

Старшина Пустынников с двумя ездовыми дошел до дивизионного обменного пункта, а потом добрался аж до армейского продовольственного склада. Но даже у своих земляков-саратовцев не выпросил хоть по четверти сухаря на артиллериста, ничего не добыл для батареи.

Перво-наперво на складах ничего нет.

И потом запуганные все. Капитана там какого-то ихнего, рассказывают, московский генерал своею рукою что ли шлепнул из пистолета за полмешка сухарей. И еще кого-то. Тот сшустрил и того меньше. Там все рапорта пишут, на передовую просят.

Боятся ее как черт ладана, а пишут. Лучше, говорят, чем в окопе с голода умереть. Про пули теперь и не вспоминают.

Так и не дали старшине ничего. Даже земляки.

Иди, посоветовали, под Юхнов. Там, на шоссе, все есть. Помогут.

Так ведь до шоссе, по нынешним силам и дорогам, дней с десять тащиться. Пока доберешься, всех постреляют за дезертирство. Порядили, по-



думали, пришлось вернуться. И так они чуть ли не трое суток плавали в грязи по пузо.

— У нас только один путь спасти батарею,— сказал Железняков, собрав в просторный шалаш старшины всех его ездовых и помощников.— Один! Накормить людей кониной.

И умолк, давая всем привыкнуть к сказанному.

— Расстреляют, товарищ комбат,— приподнялся минут через пять старшина.— Вас же первого и расстреляют.

Ничего больше не сказал Железняков. Долгое молчание застыло в шалаше.

Потом кому-то пришла первая мысль.

— Если на Буйволе привезти на передовую ящика два снарядов, а самого его пустить попастьись у речки?

— Ну да,— тут же поддержали его.— Там у Перекши уже всю траву зазеленела. С обрыва видно.

— А что? — задумался вслух старшина.— Вполне могло б и немецкой миной достать.

И опять надолго все замолчали. Все понимали, что надо, и хорошо бы спасти батарею от смерти, да каждому своя жизнь тоже не чужая. И вдруг заговорили все разом. Все об одном.

— Прокурор, он не метелки сюда вязать приезжал... Не лько драть.

Прокурор дивизии уже неделю назад или около того обходил с начальником ветслужбы полковой лес подвешенных лошадей.

Потом собрал всех тыловиков у опустевших коновязей и держал короткую речь.

— Не вздумайте коня в котел затолкать. Было уже такое в левофланговой дивизии... Расстрел!..

Выслушал нестройные выкрики, покивал головой, застегнул кожаное пальто на все пуговицы и погрозил пальцем.

— Смотрите! — сказал. Потом сжал кулак и взмахнул им над головой.— Рука социалистической законности не дрогнет!

Все очень хорошо запомнили эту вроде бы беседу. И руку, которая не дрогнет.

Но мысль уже обрастала деталями.

Самое простое было убить.

В этом за целый год войны люди поднаторели.

Но потом... Что будет потом? Когда социалистической законности рука доберется до каждого?

И вдруг дикий вопль всех оглушил и ошарашил.

Кто-то схватился за оружие. Кто-то за сердце. Когда же за стеной шалаша вопль повторился, все узнали голос.

Минуту спустя, спотыкаясь, вцепившись руками за лапник у входа в старшинский шалаш, встал, покачиваясь, ездовой Ермошкин — первый кандидат на тот свет.

Глаза его, обычно узкие и приветливые, ярко светились злобой и были круглыми, как у совы.

— Ня дам! — еще раз крикнул он во всю мочу и крестом раскинул руки.— Ня допущу!

А на большее сил не хватило. Ни стоять, ни идти, ни кричать.

Цепляясь за колючие ветки, он рухнул там же у входа, просипев уже обычным своим голосом:

— Ня дам. Буйвола ня дам. Ня подходи!

И потерял сознание.

— Как же, ня дашь,— бурчали ездовые, его односельчане, переноса Ермошкина обратно в соседний шалаш, где он в последние дни лежал на попоне, не поднимаясь.— И как только услышал? Откуда сил взял подняться?

А Ермошкин, очнувшись, только шептал:

— Буйвол. Бедный Буйвол...

Даже рукой шевельнуть больше не мог.

С утра, еще раз обходя огневые позиции, карабкаясь на высоту двести сорок восемь шесть, пересчитывая тех, кто еще в силе, кого не так уж задавил голод, Железняков беспрерывно думал о тех, кого пошлет на операцию «Буйвол».

Нужны десять человек. Пятая часть огневиков. А откуда их взять?

Ясно, что тыловую группу старшины посылать нельзя. Хотя хозяйственные, ловкие мужики, несмотря на свой преклонный возраст, очень бы пригодились.

Первый же вопрос, что в штабе полка, что в прокуратуре, сразу все поставил бы на свои места.

Зачем тыловики пришли на передовую? Что им здесь делать за четыре километра от лошадей, обозного имущества и хозяйства? Кто приказал им прибыть на Красную Горку?

Вообще ни к чему были все вчерашние разговоры в лесу: никто оттуда не будет участвовать в операции, а знать о ней уже знают они все.

Еще ничего не сделано, а уже ошибка на ошибке.

И это еще далеко до ответов на сложные, профессионально закрученные вопросы следователя. Где им, мужикам из глухих мордовских деревень, тягаться с юристами! Лучше бы им ничего не знать.

Но знают. И это очень плохо. Можно подвести под расстрел не одного комбата, а и других участников операции, когда их поименуют соучастниками.

Железняков и для себя не хотел бы такой судьбы, но готов был собою рискнуть для всех. Не может он допустить, чтоб его батарейцы умерли от голода. Но невозможно допустить и суд трибунала для десятерых. Нельзя действовать в тайне, понимая, что это не тайна вовсе.

На Красной Горке и высоте двести сорок восемь ноль позиции трех орудий. Половина батареи. Отсюда он и возьмет десятерых. Вторая половина батареи и знать ничего не будет.

Он несколько раз проходит по обрыву над Перекшей вдоль домов Красной Горки, до оврага перед высотой двести сорок восемь ноль, и поворачивает обратно.

Еще одна ошибка. Когда послезавтра будет просвечиваться каждый его шаг, сразу выяснится, что никогда до этого он не бродил без дела по деревне.

Но повезло: навстречу ему, опираясь на палку, вышел Федя Листратов. Комбат два. Герой полка, тот, что вдвоем с Новиченко отбил четыре атаки немецкого батальона на деревню. Проходы в феврале при прорыве десанта на Варшавку. Где б он ни появился, на него оглядываются. Понятно, и сейчас на него смотрят и высота двести сорок восемь ноль, и Красная Горка.

Идет, хромает. Плохо зажила рана, полученная в июльских приграничных боях. И январская, здешняя, тоже. Все знает о нем Железняков. Да и Листратов о нем тоже. Почти не осталось в полку тех, кто был в нем с Базарного Сызгана, с дней формирования. На полгода боев только и хватило тех, кто был в самом первом из них. В десанте вообще от полка осталось только двенадцать человек, да уцелели те, кто был ранен до этого.

— О, Витя, как жив со своей «Прощай, Родина»?

«Прощай, Родина» — фронтовая кличка противотанковых пушек, которыми приходится стрелять с таких позиций и по таким целям, что шансы на жизнь в орудийных расчетах вдвое меньше, чем даже у пехоты.

Но шансы шансами, а выучка, хватка и опыт тоже стоят немало. Шансов выжить нет, а в батарее Железнякова за полгода ни одного убитого, чем горд он и счастлив.

— Тебя ищут с утра, Федя.

Подтвердит, коль придется объяснять, зачем бродил по Красной Горке.

Но это послезавтра. А сегодня лишнее раздражение. Ну, что он даже другу врет, что крутится, как уж!

— Не можешь чем поделиться с батареей? Хоть по полсухаря?

Чего спрашивает, чего спрашивает? Каждый сухарь, попадающий сегодня в полк, на виду у всех командиров подразделений. Каждый. Нет в полку неизвестных сухарей.

Мрачно смотрит командир батальона. Для батареи, которую он в каждом бою просит о помощи, для Виктора Железнякова, отдал бы он все. Сколько людей сохранил ему огонь противотанкистов. Все отдал бы им, все, да нет ничего в батальоне.

— Фельдшер говорит, пятеро бойцов умрут сегодня от голода.

Вот он, ответ. Куда уж яснее.

— А в полк отправить, в медсанбат?

Не отвечает Листратов на бессмысленные вопросы. Оба понимают, что от медицины здесь толка нет и не будет. Не лекарства нужны, а хлеб, кру-

па, мясо, картошка. В окрестных полях батальоны давно уже вырыли переживавший в земле и сгнивший весной картофель. Вырыли, отмыли, отжали, а из получившегося крахмала наделали лепешек и съели.

— У тебя как, Витя?

— Трое, пожалуй. Не сегодня-завтра.

Листратов на этой неделе похоронил на Красной Горке четверых. Удивляется. Самые здоровые были. Самые выносливые. Как их свалило, не понять.

— Эх,— скрипит он зубами,— пострелял бы я тыловиков к чертовой матери. Умудрились, гады, фронт без хлеба оставить!

Не до мяса ему, не до каши, командиру стрелкового батальона. Хлеба бы. Красноармейцев бы сохранить. Был бы хлеб, выжили б, продержались.

— Стреляют! — вскипает Железняков.— Говорят, какой-то кавказец лупит там в тылу направо и налево. Толку что?

— Лошади сдохли! — заходится в гнев Листратов.— Не дали прирезать. Людей бы спасли. Неужто не понимают, остолопы?

Оба еще некоторое время возбужденно кричат другу другу какие-то верные, но бесцельные слова. Со стороны кажется, они вот-вот подерутся. Но им не на ком сорвать зло и через некоторое время говорить уже не о чем. Потому что ни о чем другом они сейчас говорить не могут.

— Неужто и у тебя трое? — еще раз сокрушается Листратов и виновато жмет ему руку.— Прости, Витя, ничем сегодня выручить не могу.

Железняков понимает, чем угнетен сейчас комбат-два. Десяток дней назад, когда в батарее еще был кое-какой запас, делился с ним противотанкист. Много ли, мало, а котелка четыре с каким-то варевом посылал ему и тем помог продержаться по сей день.

А в нынешнюю ночь разведчики батальона, знает батарея, лазили к немцам и наверняка приволокли что-нибудь из еды.

Видимо, Листратов не удержался, съел с утра либо хлеба кусок, либо мяса дольку, больше-то вряд ли досталось, но поэтому и трудно сейчас смотреть на совсем голодного друга.

Опять один идет Железняков по Красной Горке, продолжает свои тяжкие расчеты.

Буйвол будет внизу у реки. На гребне высоты, в полутора километрах от него, окопы пехоты. Голодающие стрелки, конечно, будут смотреть только на коня да надеяться, что прилетит немецкий снаряд и завалит его.

Сколько их там, живых, на двести сорок восемь ноль?

Человек двести — двести пятьдесят. Значит, двести пятьдесят свидетелей. И видеть они должны только то, что нужно. И рассказывать тоже. И лучше бы был взрыв, а не пуля. Но не из пушки же бить Буйвола.

А откуда стрелять?

Лучше всего из-за реки, с крутого лесного обрыва.

И этого нельзя, пуля должна прилететь со стороны немцев.

И пролететь там, где она может пролетать. С высот бы над оврагом. Но там огневые станковых пулеметов батальона.

Как, оказывается, много мест, откуда можно бить по противнику, и как мало позиций для незаметного выстрела по Буйволу!

Но хватит болтаться по деревне, хватит!

И вопросы, вопросы, вопросы. Каждому, кто будет рубить коня.

Откуда ты взял топор?

А действительно, откуда? Почему он, почему они все, если специально не готовились к этому, оказались около подстреленного Буйвола. Не ходили же они всегда с топорами.

Куда понес мясо?

Где взял ведро?

Тем более десять ведер. В двух Буйвола не унесешь. Значит, ведро — тоже улика. Ведер не должно быть.

А где должен быть он, комбат? У реки ему делать нечего. Сразу будет ясно, что пришел специально, чтобы все организовать. Вот и подставился. Вот и все наружу.

Но разве можно бросить людей одних, вроде бы сам ты в сторонке, ни в чем не виноват, а они, рядовые, сами?.. Не годится этак-то.

А как годится?

Как, как! Рисковать надо вместе с ними. В бою все вместе и здесь должны быть вместе.

Приказывать ничего нельзя. Учить отвечать на вопросы тоже.

Или можно? Просто нельзя без этого. Только все должно быть просто, бесхитростно, чтобы деревенские ребята не запутались в словах.

Еще в темноте, перед рассветом, старшине оседлали Буйвола. Ездовые, притащившие последние четыре лотка с осколочными снарядами, хранившиеся в оружейных передках, кто как мог попрощался с конем. Его похлопывали, гладили, подносили распаренные в кипятке веточки.

Буйвол пофыркивал, ел неохотно, лотки, прикрепленные, как вьюки, раздраженно охлаждал длинным хвостом.

— Довольно! — оборвал прощание старшина. — Следите, чтоб Ермошкин подольше не узнал.

Хотя вряд ли Ермошкин уже мог что-нибудь узнать. Он почти все время был в полузабытьи, большей частью спал, есть не просил, из шалаша выбирался только раз в сутки.

Когда стало светать, старшина переехал через Перекшу. Еле добрался. У коновязи, рядом с другими лошадьми, Буйвол казался здоровяком. Особенно в сравнении с подвешенными на лямках братьями. На дороге его шатало из стороны в сторону.

Правофланговое орудие с высоты двести сорок восемь шесть три снаряды ударило по пулеметному блиндажу в центре Медвенки. Первый, пристрелочный разрыв встал столбиком дыма, всплеснул огнем. А два никто и не увидел: влетели прямо в амбразуру, и только в бинокль можно было различить — и то лишь тому, кто этого напряженно ждал и тщательно всматривался, — как пошел оттуда дым и закурчавились струйки дымок из каких-то щелей.

Никто не выскочил из блиндажа. Но рядом замелькали вдруг солдатские каски, собрались к блиндажу и разлетелись, засуетились, замельтешили по всей траншее. И сразу шквал пулеметного огня ударил из Медвенки, разбудив всю оборону тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

Теперь уже на высотах двести сорок восемь ноль и двести сорок восемь шесть из всех окопов высунулись каски пехотинцев, занимавших свои места по боевому расписанию. Такого огня немцы давно не вели. Не иначе как наступают и надо их отбивать.

Но огонь продолжался, а немцев в поле не было. И никто не понимал, что происходит.

Этого и ждал Железняков. Того и хотел. На это и рассчитывал. Все должны были смотреть в сторону Медвенки.

Всего полчаса и довелось Буйволу пощипать весеннюю травку, которая только и росла сейчас близ берега речки. Вскочив в седло, Железняков двинул коня вправо, вдоль берега Перекши, к подножью высоты, к ложине между нею и деревней, к правому флангу, откуда стреляла его пушка.

Он ехал верхом, что должно было потом объяснить его присутствие на месте происшествия, которое приближалось с каждым шагом. Ехал и невольно ежился. Винтовки-то ударят снайперские. Однако бить из них будут не снайпера, артиллеристы, и долго ли промахнуться, всего-то на метр, и вместо конской головы влить пулю во всадника. Но ничего другого не придумалось и приходилось рисковать.

Как только голова Буйвола показалась в ложине между Красной Горкой и высотой двести сорок восемь ноль, две пули, одна за другой, сразили коня. Никто в грохоте немецкого шквального огня не услышал выстрелов взводного Полякова из немецкой же снайперской винтовки, еще ночью засевшего в шалаше посередине долины. Две пули попали в голову Буйволу, вырвав уздечку из руки всадника. Третья обожгла Железнякову шапку, когда он падал вместе с убитым конем.

Казалось, все пехотинцы из окопа на высоте смотрели только в сторону Медвенки, на Варшавское шоссе, откуда хлестали немецкие пулеметы и билась по высотам и Красной Горке фашистская артиллерия. Но крики нескольких бойцов, которые, несмотря ни на что, все равно гляделись в тыл, привлекли внимание батальона к тому, что происходило у реки Перекши.

Сначала все с недоумением смотрели на то, как от трех противотанковых пушек убегают артиллеристы. Это было непонятно. Такого никогда не было. Даже подумать, что пушкарки бегут, спасаясь от огня, при всей невероятности такого предположения было нельзя: снаряды противника рвались далеко в



стороне. Люди бежали от тех орудий, по которым немцы не стреляли. А от того дальнего, которое фашисты накрыли мощным кустом разрывов, не отошел никто, ни один человек.

Те же, кто первым обратил внимание батальона на тыл, теперь чуть ли не выскакивали из окопов и размахивали руками.

«Железнякова подстрелили!» — наконец поняли окопы.

Им разом стало понятно, куда бегут артиллеристы. Пехотинцы пригляделись и ясно увидели, как по берегу хромает командир противотанковой батареи, еле высочивший из-под упавшего коня.

Артиллеристы, сбившиеся возле Железнякова, махали руками и почему-то лопатками.

Еще несколько минут царило в окопах недоумение, пока не стало ясно, что артиллеристы, сбегавшиеся под откос, кучей навалились на рухнувшего коня.

— Мя-с-со рубят! — вдруг все поняв, заорал кто-то в окопе.

— Конина! — подхватило несколько голосов.

Железняков, стоя неподалеку от Буйвола, от которого уже отрубили и уволокли большие куски, зорко оглядывался во все стороны и подгонял да подгонял своих батарейцев.

— Не задерживаться! Не разглядывать! — орал он. — Отрубил — и бегом. Чтоб через пять минут!..

Он и вчера понимал, что стоит задержаться — и голодные пехотинцы, налетев, руками разорвут все, что не смогут унести артиллеристы.

Теперь же, глянув в очередной раз на высоту двести сорок восемь ноль, воочию увидел, как выскакивают из окопов стрелки и лавиной катят с вершины вниз. Их не меньше двухсот — определил он опытным взглядом. Глухой рев атакующей пехотной цепи обгонял бегущих красноармейцев.

— Быстрей! — в последний раз прикрикнул на своих Железняков.

И, оглядев их всех, увидел совсем рядом сержанта Кузина в окровавленной по плечи гимнастерке, обеими руками вытаскивающего конские внутренности.

— Кузин! — заорал комбат. — Возьми свой расчет! Останови!

Он понимал, что ошалевшую пехоту одним расчетом не остановить, не задержать тех, у кого в глазах голодная смерть. Но хотя бы на три-четыре минуты рассчитывал.

Кузин ошалело оглянулся, сразу все понял и, намотав на руку клубок кишок, кинулся вверх по склону высоты.

— За мной! В бога мать! — рычал он, созывая свой оружейный расчет.

Пятеро артиллеристов, тоже забрызганных кровью по самые уши, кинулись за ним, не раздумывая.

Лавина неслась на них, не снижая скорости.

Батарейцы оглядывались на бегу, ожидая подмоги. Подмоги не было.

— Стой! Стой! — вскинули над головами окровавленные руки артиллеристы кузинского расчета.

И передний ряд накатившейся лавины внезапно сбился с шага, начал оттапливаться.

Конечно, шестерым никогда бы не остановить атакующую цепь. Но кровь, капающая с них и размазанная по лицам, окровавленные гимнастерки — все это поразило и сбilo с толку передние ряды. А задние натыкались с разбега на сбавивших шаг бойцов, спотыкались, задерживались тоже.

Им представилось, что перед ними стояли израненные, изуродованные люди. Кто бы мог подумать, что не человеческая то была кровь. А нет святей дела на фронте, как броситься на помощь раненому. И не хватать его сразу, не сделать ненароком больше, приглядеться сначала, понять, что к чему.

— Быстрей! — гнал тем временем Железняков тех, кто рубил конскую тушу. — Быстрей!

Опомнившаяся и уже разобравшаяся в том, что перед нею не раненые, пехотная цепь стала справа и слева обходить оружейный расчет, стоящий у нее на пути. Она бы сделала это мигом, да все сбились к центру, каждый невольно стремился быть ближе к месту, где на глазах уменьшалась груда мяса, недавно бывшая конем.

Справа оказались более быстрые и решительные. Они и рванулись в обход.

— Стой! — кинулся вправо и Кузин.

Но Железняков уловил возможность задержать лавину еще на одну-две минуты.

— Кузин! Отдай им кишки! — проорал он последнее распоряжение.

И Кузин, размахнувшись, зашвырнул ком кишок влево, отвлекая в ту сторону большинство сгрудившихся перед ним людей.

Кишки! Еда! Их увидели все, все до единого изголодавшиеся люди. Они ловили их на лету, бежали за ними в прибрежный кустарник, отрывали от них куски, запихивали в карманы и бежали за следующими.

— Всем расчетам вернуться к орудиям! — перекрыл шум свалки голос Железнякова.

И артиллеристы, бросив остатки Буйвола, вырвались из толпы, умчались с берега Перекши, унося последние, вырубленные из остатков куски мяса.

А на месте, где двадцать минут назад рухнул Буйвол, продолжалась добыча еды. В каждую кость впивалось несколько рук, в каждый клочок мяса. Они уменьшались и уменьшались, переходя от одного к другому. И скоро рвать уже было нечего.

— По-олк сми-р-р-но! — раскатился вдруг над берегом зычный командирский голос.

Не разом. Нет, не разом. Но после второй команды и дробы автоматной очереди, запущенной в небо, люди стали приходить в себя.

— Р-ро-та! Смир-р-рно! — повторил команду звонкий мальчишеский голос.

И, раздвигая плечом красноармейцев, гулко зашагал к командиру полка юный младший лейтенант в мокрой солдатской шинели, так же, как и у его бойцов, по самый ворот облепленной оконной глиной.

Значит, были тут и командиры, удивился Железняков. Были! А увидеть их он не смог. Хотя чему ж удивляться, когда даже ротные меняются чуть ли не два раза в месяц. Потери в окопах весной — почти как летом в наступлении. Не захотелось такому юнцу лезть в окопе через грязь по колено, значит, по грудь и высунется над бруствером. Ну, а пуля, как всегда, тут как тут.

Командир полка тридцативосьмилетний капитан Кузнецов быстрыми круглыми глазами миг охватил все происходящее перед ним.

Дал людям время прийти в себя, оправить гимнастерки и шинели, затянуть ремни, а доклад младшего лейтенанта слушать не стал. Уже почти все поняв, обратился прямо к тому, с кем вместе сражался в февральском десанте, когда от их полка осталось в живых всего двенадцать человек. Капитан тогда еще полюбил его за отвагу и отчаянность. Он и потом не раз прославился в зимних и весенних боях. Но, как теперь догадывался Кузнецов, вероятнее всего, был виновником всей здешней кутерьмы.

— Что здесь происходит, Железняков? — нарочито сухо и сурово спросил полковой командир.

— Да вот, — начал было растерянно Железняков. — Кто-то коня убил...

Все вылетело у него из головы. Все. Он, который двое суток готовил операцию «Буйвол», каждого учил, и как действовать, и как отвечать на хитрые казенные вопросы, не нашел слов, чтобы ответить на самый первый, самый простой.

Сказав свои нелепые слова, комбат, похолодев внутри, понял, что вот и ни к чему вся двухдневная подготовка. Если он, московский студент, миг не нашелся, то чего же ждать от мордовской деревни, откуда пришли многие батарейцы, а ездовые поголовно, чего ждать от рядовых колхозников и рабочих. Ясно, что из них, коль дойдет до следствия, все вытянут и вызнают.

Все-то ему ясно, студенту, да не знает он толком ни этих мордовских крестьян, ни рабочих. Ему, двадцатилетнему лейтенанту, хоть он и герой полка, и всеобщий любимец, при его скудном жизненном опыте и не снилось, как ведут себя в тяжелых ситуациях те самые люди, о которых он сейчас думает, что они растеряются больше его.

А капитан, за чьими плечами так много всего, что вчерашнему студенту просто невдомек, после первых слов Железнякова понял все до конца. И то, что произошло. И то, что может быть, если дать растерявшемуся лейтенанту говорить дальше. Еще две-три фразы, которые запомнят стоящие вокруг люди, и уже ничего нельзя будет поправить. Все станет необратимым.

— Как докладываете? — грубо обрывает он лейтенанта. — Что плетете? Научитесь вы когда-нибудь говорить по-военному, точно? Повторите. Пуля, залетевшая со стороны противника...

— Так точно! — вскинулся разом пришедший в себя лейтенант. — Пуля, залетевшая со стороны противника...

Но командиру полка мало того, что понял его Железняков. И он не дает ему договорить.

— Командир роты! Доложите, что натворила тут пуля, залетевшая со стороны противника.

Он впрессовывает эту пулю в сознание каждого, кто здесь слушает. Понимает, что трижды повторенное запомнится всеми и не забудется.

Младший лейтенант уже повторил его фразу, как свою.

— Пуля, залетевшая со стороны противника, сбила ехавшего верхом командира батареи и убила его коня.

— Как это сбила? — мигом закрепил капитан. — Вот он, комбат, живой.

— Вся рота видела, как сбила, — заупрямился вдруг младший лейтенант. — И коня убила. Я сам видел.

Быстрые глаза капитана пробежали с ротного на Железнякова, на пехотинцев, которые согласно гудели, а некоторые поддакивали и кивали головами.

— Из Кирова, ребята? — обратился он к ним, зная, что другого пополнения полк давно не получал.

— Из Кирова.

— Вятские...

Совсем исхудалые и голодные, они все ж составляли землячество, которым даже на войне выжить легче.

— Вятские, вятские, — заулыбался капитан. — Ребята хваткие, семеро одного не боятся.

— А один на один все котомки отдадим, — тоже засмеялся один из них.

— Во-во, — поддержал капитан, продолжая вятские поговорки. — На полу сидим и не падаем.

— Вы не из наших, кировских, будете, товарищ командир? — осмелел, спросил кто-то. — Не из вятских?

— Нет, братцы, это у вас, помнится, корову на крышу затаскивали, чтоб траву там объела? У нас в Донбассе такого не было.

И вдруг капитан резко обернулся к Железнякову.

— А ну-ка дай шапку.

Тот, не понимая, снял ушанку и протянул ее Кузнецову. Он вовсе и не помнил сейчас ни ожога от пули, ни того, как перекрутилась на голове шапка. Но точный глаз капитана уже несколько минут держал где-то в подсознании и опаленный вздыбившийся мех, и надорванный клоч ушанки Железнякова.

Теперь он крутил в руках эту ушанку. И нашел наконец, просунул палец в опаленное отверстие.

— Смотри-ка, действительно. Не контузило тебя, лейтенант?

Все с интересом уставились на шапку и на капитанский палец.

— Во, повезло противотанкисту, — прогудел ближний пехотинец.

— Да, два сантиметра в сторону — и черепушка долой.

Ну, все. Теперь хоть черт, хоть дьявол, всем свидетелям ясно, что они это видели.

— Ведите роту в окопы! — приказал капитан младшему лейтенанту.

— Р-р-ро-та, в колонну по два становись! — раскинул он в сторону руки.

— Письменно донесите командиру батальона все, что тут произошло. Батальон к боевому донесению вечером должен приложить ваш рапорт.

— Есть! Разрешите вести роту?

— Ведите.

— Прравое плечо вперед! Шагом марш!.. Пррямо!..

Взводный Поляков. Ты не снайпер и мог убить своего комбата. Но как же приятно ты промахнулся! Дважды счастливо — не попав, но задев.

— Ты все понял? — свирепо спросил командир полка у командира батареи.

— Все, — поднял тот на него хмурый взгляд.

— Всего от тебя ожидал. Но дурасти! — Капитан, не прощаясь, махнул рукой адъютанту и зашагал на передовую, быстро взбираясь на кручу к Красной Горке.

Первый котелок наваристого супа с мясом старшина передал Буйлину, чтобы тот накормил им совсем уж истаявшего Ермошкина.

Но Ермошкин, едва взглянув на суп, заплакал и не стал есть.

— Буйвол, бедный Буйвол, — чуть слышно запричитал он.

Буйлин пытался уговорить его. Упрямо совал ему ложку в рот. Но Ер-

мошкин с неожиданной силой так оттолкнул его, что котелок, бренча дужкой, выкатился из шалаша, пролив весь суп до капли.

Ночью ординарец Юмагулов тронул за плечо командира батареи.

Железняков, будто и не спал тяжелым сном, разом вскочил, затягивая поясной ремень. Сапоги за всю весну никто ни разу не снимал, так что во-зиться и надевать их не пришлось. Потрогал рукою — на месте ли пистолет — и только тогда открыл глаза.

Открыл и удивился: Юмагулов стоял, одетый по-походному. За плечами висел автомат, шапка, как всегда у него в бою, надвинута на самые глаза. В гильзе на ящике из-под снарядов неярко горел фитиль, освещая автомат и шинель комбата, снятые с гвоздя, гранаты и крышку от котелка с супом и плоским, величиною с ладонь, куском темного, почти черного мяса.

— Командир полка вызывает, — объяснил ординарец.

— Батарею кормили? — спросил Железняков, быстро надевая шинель и кивнув на мясо в крышке.

Все получили ровно по столько же. Старшина за полночи все организо-вал. Мясо сварено в деревенских чугунах, нарезано и в чугунах же зарыто в землю так, что никому не найти. Бульон в ведрах и термосах. Артиллеристы выпили по две кружки. Остальное, как прикажет комбат. Термоса на всякий случай тоже зарыли.

— Пошли! — удовлетворенно сказал Железняков, закидывая за спину ав-томат, без которого он ночью никогда не ходил.

Жуя на ходу и чувствуя, как странное, то ли забытое, то ли просто ни-когда не изведенное, ощущение удовольствия и силы вместе с какой-то болью заполняет его, плывет сверху вниз, он продолжал расспрашивать:

— Где зарыты чугуны? Как разыскать их, если убьют того, кто знает ме-ста?

Всех разом не убьют: знают четверо. Об этом уже думали.

— Ермошкин?

Ермошкин есть Буйвола не стал. Отказывается напрочь. Плачет. Созна-ние теряет, а приходит в себя и опять плачет. Ребята думают, что он тронулся. Железняков скрипнул зубами. Спать нельзя было. Не надо было спать. Но днем он пойдет к Ермошкину. Он заставит.

Юмагулов, едва различимый в темноте, взмахнул рукой. Комбат уловил это по неясно мелькнувшей тени и слабому ветерку, чуть коснувшемуся лица.

— Не заставляю? — удивился он.

Молча пройдя шагов пятнадцать, Юмагулов тихо сказал:

— Заставить нельзя.

Еще через пять шагов добавил:

— Уговорить тоже. Он упрямый, мордвин.

И сколько вас таких в батарее. Что ж, никого и не заставить, и не уговорить?

Юмагулов дальше шел молча. И в этом было несогласие, упрямое несогла-сие. Уже у самого штаба полка он снова убежденно повторил:

— Нет, заставить нельзя.

— А на смерть идти?

— На смерть идти не заставляют. Сами.

— Все? Сами?

Дальше говорить не пришлось: шли уже меж землянок штаба полка.

Перед блиндажом командира полка Железнякова встретил адъютант Куз-нецова лейтенант Кабиров. Он молча пригнулся к лицу комбата, разглядывая его во тьме, и только тогда протянул руку.

— Иди, — подтолкнул он его к ступенькам, ведущим вниз. — Ждет.

— А ты?

— Я буду здесь, чтоб никто не появился.

— А часовой?

— И часового чтоб не было.

— Во, новости на фронте. — Железняков затопал вниз по ступенькам, вы-стеленным досками. Гулко и звонко раскатились в темноте его шаги.

— Тише, — зашипел сверху Кабиров.

— Не ори, — тихо одернул вошедшего в блиндаж комбата Кузнецов, об-рывая его доклад. — Не до формальностей, брат.

Он поднял трубку и покрутил ручку полевого телефона.



— Сколько?

Услышал короткий ответ. Снова ответ был краток. И снова. И снова.

— Одиннадцать человек на грани жизни и смерти, — сказал Кузнецов, резко отодвигая телефон. — Все ясно?

Чего же неясного? Железняков знал это и раньше. Не так точно, но в общем-то знал. Все в полку знали, не только он.

— Я не мог их спасти, — глухо сказал командир полка. — Не решился.

Недолго, но тяжело молчали оба. Знали друг друга давно. Четыре месяца. Все время в боях, в огне. Без колебаний и сожалений ходили в такие передраги, где надежда на жизнь — ноль. Казалось, не боялись на свете ничего, со смертью все время играли в салочки и прятки.

Уже забывался даже знаменитый, известный всей пятидесятой армии десант тысяча сто пятьдесят четвертого полка, где из шестисот десантников в живых осталось только двенадцать.

Чего могли испугаться Кузнецов с Железняковым? Это знали они сами. И полк. Весь тысяча сто пятьдесят четвертый знал — ничего они на свете не боялись.

А то, что случилось с ними сейчас, знали только они.

И Железняков был потрясен.

Помнил свои сомнения и колебания, колотившие его все два дня, что готовилась операция «Буйвол».

Смерти, что ли, боялся? Расстрела?

Едва ли. Не верил он всерьез, что расстреляют. Не верил — и все.

Жизни испугался герой переднего края.

Жизни, которая рушилась бы под следствием, в трибунале, штрафном батальоне.

На одну линию еще раз вставляли собственная жизнь и смерть других.

В бою у него никаких сомнений быть не могло. А жизнь, оказалось, не имела только прямых решений.

Никому и никогда не признался бы он в этой слабости. Хватит, думал, того, что смерти в бою не боялся и был в этом для всех образцом.

А Кузнецов, чей героизм в боях, он знал, втрое выше его, железняковского, мужества, не побоялся признаться, что ему не хватило решимости. Смелости не хватило ему — из героев герою.

— Спасибо тебе, что отважился на риск, — тяжело поднялся капитан.

Десять минут спустя Железняков с Юмагуловым бежали к батарее. Четко обрисовал комбату Кузнецов. С рассвета он не сможет сделать в сторону ни шагу. На нем будут висеть политотдел, прокуратура и особый отдел. Он будет отвечать на вопросы, объяснять и рассказывать. За ним будут ходить всюду. Даже ординарца никуда не выпустят одного.

Он должен выделить сейчас людей неприметных, но верных, надежных и решительных. Уже идут в ночи на командный пункт батареи такие же люди из батальонов и медсанроты.

Сейчас же ведра с бульоном, о котором рассказал Железняков командиру полка, нужно передать им. И по два котелка вареного мяса. Командиры батальонов лично будут распределять дары, которые свалятся на них с неба.

— Весь полк мы твоим Буйволом не накормим. — Кузнецов обнял на прощанье комбата. — Но людей от смерти спасем.

Медленно подошел он к лампе из гильзы от снаряда, в которой неярко горел фитиль, и прибавил огня.

В ярко вспыхнувшем свете опять вплотную приблизился к Железнякову, прямо посмотрел ему в лицо и еще раз крепко, до боли, сжал руку.

— Действуй, комбат. И, на всякий случай, прощай. Много завтра может случиться с нами.

Ни одного человека не отдал больше голодной смерти тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Никто за неделю, пока не подсохли дороги и наладились снабжение, не умер ни в окопах, ни в батарее.

И только Ермошкин так и не встал.

Его похоронили в деревне Красная Горка, под высотой двести сорок восемь ноль десятого мая тысяча девятьсот сорок второго года.

## У п а в ш а я т е н ь

\* \* \*

Я не жил в эпоху войны,  
не в пору гонений неправых,  
не в горькое время вины,  
на личных настоенной травах.

От пыли полуденной сер,  
в припадках то зла, то роптанья  
я жил, как замотанный зверь,  
заботами о пропитанье.

И дни мои сбились в одно  
пугливое серое стадо,

я с мертвою болью в окно  
следил за живучестью сада.

И слово искало порог  
ступить и исторгнуться вещью,  
но горло могучие клещи  
сжимали, и зверь становился  
жесток...

Уж лучше б я был недвижим  
и слеп, чем запекшейся речью  
сращенный с тоской человеческой  
задуман настолько живым...

1979

\* \* \*

Между тем эта вымышленная жизнь  
не хуже твоей, не хуже моей,  
с теснотой по-коровьи толпящихся дней  
(наподобье национальных меньшинств),

со свежавыкрашенным в хате полом,  
где бухгалтер ходил, прятал ключи,  
жил — голый череп в очках — долго  
с женой и двумя дочерьми,

там не меньше пылает солнце,  
чем здесь, и коза пасется,  
и приезжего жениха кормят обильно...  
(Помнишь? — спрашиваю сестру. — Помню: пыльно).

О, возможно, на то и старость,  
чтоб увидеть их счастье как шум и ярость...  
но в спасительном свете, спасительном свете, и не иначе...  
(мы там жили еще на даче),

там ходили с тазами они вчетвером  
в баню и возвращались, отмытый запах  
клубы с дымчатым табаком  
проникал в их ноздри, и в черных накрапах,

чуть припудренный желтой пылью,  
шелковистый мак источал свой цвет...  
Помнишь? Помню — идут между матерью и отцом  
и смеются, не зная, что не было их и нет.

1983

\* \* \*

Я возьму светящийся той зимы квадрат  
 (вроде фосфорного осколка  
 в черной комнате, где ночует елка)  
 непомерных для нашей зарплаты трат,  
 я возьму в слабеющей лампе бедный быт  
 (меж паркетинами иголка),  
 дольше нашего — только чувство долга,  
 Богом, радуйся горю, ты не забудь.

Близко, близко поднесу я к глазам окно  
 с крестовиной, упавшей тенью  
 на соседний дом, никогда забвенью  
 поглотить этот желтый свет не дано.  
 И лица твоего я увижу овал,  
 руку с легкой в изгибе ленью,  
 отстранившую книгу, — куда там чтенью,  
 подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,  
 торопящийся в свою роту,  
 подберу в подворотне, подобной гроту,  
 ледяное возьму я мерцанье глыб,  
 со вчера заваренный я возьму рассвет  
 в кухне... стало быть, на работу...  
 отоспимся, радость моя, в субботу,  
 долго нет ее, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь  
 офицерской вполне шинелью,  
 и когда потянется к рукоделью  
 снег в кругах фонарей и проснется дочь,  
 испугавшись за нас, — помнишь пламенный труд  
 быть младенцем? — то, канителью  
 над ее крахмальной склонясь постелью,  
 вдруг наступят праздники и все спасут.

1990

\* \* \*

О вечереет, чернеет, звереет река,  
 рвет свои когти отсюда, болят берега,  
 осень за горло берет и сжимает рука,  
 пуст гардероб, ни единого в нем номерка.

О вечереет, сыреет платформа, сорит  
 урнами праха, короткие смерчи творит,  
 курит кассир, с пассажиркою поздней острит,  
 улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища  
 центры в обширных, как скука, провалах плаща,  
 эта страна мне не в пору, с другого плеча,  
 Впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве поверхность почище, но тот же подбой,  
 та же истерика поезда, я не слепой,  
 лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой,  
 жизнь — это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,  
 дремлет старик, прохуdivшийся корпус креня,

то ли ребенка замучила скрипкой родня,  
то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

1990

\* \* \*

Вот  
и Нила разлив,  
крокодилъского Нила,  
крокодилъского Нила разлив.  
На окраине Фив  
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,  
очи полузакрыв.

Ты  
прекрасна, ты миф,  
одаряющий щедро  
благодарные полосы нив.  
Но поблизости Фив  
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,  
слышишь арфы призыв?

Не  
дожив до войны  
(слава богу Амон!),  
пару лет не дожив до войны,  
я загробной страны  
дуновению внял и поддался холодному гону  
той змеиной волны,

той  
волны, исподволь  
абиссинскою кровью  
гор увитой... Но так не неволь,  
распусти мою боль,  
мой клубок жизнелюбия, крова, прокорма, здоровья,  
и не сыпь эту соль!

1980



# Лики бессмертной власти

РОМАН

## ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

XXXVIII

Есть два способа сохранения исторической памяти. С одной стороны, это летописи, документы, архитектурные и иные памятники старины, позволяющие людям с нынешних высот проникать в самую глубь минувших тысячелетий и с той или иной степенью достоверности выстраивать всю последовательность происходивших событий, иначе говоря, рассматривать все с точки зрения науки, базирующейся на определенных, очевидных и неоспоримых будто бы фактах, а с другой — когда та же история, те же события записываются не на глиняных черепках, папирусах или каким-либо другим, современным способом, но наносятся на человеческие гены, на гены общества, народа, приспособлявая таким образом (стихийно, бессознательно) данный народ или общество, как, впрочем, и каждого отдельного человека, к социальным и нравственным условиям окружающей их жизни. Сей генетический код (повторяю: человека, общества, народа) — это все та же, только не прочитанная еще летопись; и даже, может быть, в сто крат достовернее, чем то, что используется исторической наукой. Мы обычно стараемся вывести характер народа из исторических условий его жизни, большей частью придумывая эти условия и подгоняя их по своему произволу под тот или другой определенный шаблон, нужный правителю и заказанный им, тогда как не лучше ли, не вернее ли было бы исходить из обратного, то есть из характера народа выводить историю и уже на основе этих полученных данных строить настоящее и будущее. Французы, к примеру, имеют свою и довольно определенную черту характера, англичане — свою, немцы — свою, и так с каждым народом. У русского народа тоже есть своя национальная черта, но в то время как у всех других народов с этой национальной чертой все более или менее ясно, то мы почему-то упорно продолжаем говорить о себе, что душа наша столь загадочна, что умом русского человека не понять, а если он непонятен, значит, опасен для соседей, то есть других народов и государств, и для правителей, которые и стараются держать его в нищете и невежестве, чтобы в некую пору не осознал бы вдруг человеческого достоинства в себе и не предъявил счет; к тому же загадочность сия, давно и сознательно вбиваемая нам в головы, дает простор для самых неожиданных и противоречивых относительно народа толкований и зачастую лучших мыслителей втягивает в ненужные, бессмысленные и засасывающие, словно трясины, диалоги и споры.

Я вовсе не склонен вступать здесь с кем-либо в полемику, тем более что романная площадь и не позволит мне сделать это; но для общего понимания книги, понимания событий и личностей, представленных в ней,

да и вообще истории, как она складывалась для нашего народа и государства, полагаю, что нельзя обойти этот вопрос вопросов и не попытаться хотя бы концептивно (и без претензии, разумеется, на бесспорность) осветить его. То, с чем столкнулся митрополит Афанасий, выехав в этот вечер из Кремля и направившись к Арбатской церкви, — крайней озлобленностью толпы, а через мгновение столь же крайним, безудержным раболепством, — не могло, испугав и насторожив митрополита, не вызвать в нем желания разобраться в национальной черте русского народного характера. Но тут следует оговориться, что явление это — сожительство насилия и жестокости с раболепством, что и ныне (и в сто крат обостреннее!) можно наблюдать в народе, — не было чем-то единичным, обособленным, с чем столкнулся лишь митрополит; оно проявлялось и в быту, в мелочах, как проявляется и теперь, и особенно при людских скопищах, когда у народа появлялась пусть иллюзорная, но все же возможность хоть что-то отстоять для себя; но всякий раз — народ не просто давал обмануть себя (по присущей ему бесхитрости, как принято считать), но всячески способствовал этому, и, естественно, подобные действия вызывали не только у людей духовного звания или правителей, коим это нужно было для своих целей, но и у представителей иных сословий потребность обратиться к истокам характера народа. К ним обращались и Курбский, когда писал Иоанну, и Иоанн, когда отвечал Курбскому, и еще — многие и многие, кому небезразличной оказывалась судьба отечества. Но можно ли считать, что лишь тем, что донесли до нас исторические источники, ограничивались размышления сих знаменитых и незнаменитых личностей и не было ли так, что сокровенное, не совпадавшее с канонами и укладом жизни, но открывавшееся им, так невысказанным и ушло в могилу? Мне почему-то кажется, что так оно и было, и есть тому тысячи подтверждений, что предшественники наши, наши отцы и деды, в той своей глубокой старине были, может быть, куда ближе к истине, чем мы теперь, в том числе и Иоанн, и митрополит Афанасий, которого мы оставили сейчас возвращающимся (продрогшим и со своими большими ногами) в Кремль.

Если говорить об общеславянской национальной черте характера, то к ней следует отнести не столько воинственность, настойчиво (и в столетиях!) приписываемую этим народам, хотя, в сущности, воинственностью не обделен никто, сколько тягу к мирной, самобытной обустроенности и с безмерной верой в торжество добрых начал. Но, видимо, в самой большей степени это следует отнести к русским людям, которые, умея хорошо защититься оружием от оружия, оказываются бессильными перед так называемым мирным насилием, то есть укладом жизни, какой навязывается им и в котором невогноту становится им жить. В таких случаях они не берутся за мечи, а тихо снимаются со своих мест, с исконных, обжитых земель, и отправляются в поисках новых пристанищ. Так гласят легенды, но есть тому и документальные свидетельства, согласно которым предки наши, уходя от так называемых «мирных» притеснений, сначала двинулись на Дунай — поодиночке, семьями, племенами, — а затем, когда сии «мирные» условия вновь настигли их, потянулись дальше на восток и на север и, переехав через Карпаты, расселились по степям нынешней Украины, а потом бежали дальше, к Соловецким островам, за Урал, в Сибирь, к Аляске. И, может быть, более чем подтверждением этой неагрессивности, уступчивости и способности к самопожертвованию служит нынешнее опустение центра России, обезлюдение тех наших исконных земель, на которых жили, трудились и которые столь героически защищали от нашествий наши отцы и деды. Да, хорошо ли, плохо ли, но такова наша исконная черта, таков изначально заложенный в нас генетический код — не терпеть насилия кровавого, биться, но уходить от бескровного, которое в конечном счете еще страшнее, чем кровавое, и — не эта ли слабость, иначе не назовешь (в жесточайших условиях прошлого и современного мира), как раз и служит причиной наших прошлых и нынешних бед? Но категоричный вопрос не означает, что нужно столь же категорично отвечать на него. Дело не в этом. Генетический код у народов, как и у отдельного человека, не есть что-то неизменное, застывшее или замороженное в веках, он постоянно, хотя и невидимо будто, совершенствуется, приспособлявая нас к условиям, какие создаются жизнью, и в то время как

у одних народов все заметнее и заметнее начало проявляться стремление к свободе, независимости и демократическому устройству общества, пусть хотя бы на том раннем, изначальном уровне (тут важен был, видимо, первый толчок, а затем шло уже взаимное самоусовершенствование кода и жизни), то у нас — движение приняло прямо противоположное направление, и генетический код под влиянием уже нашей самобытности совершенствовался не в сторону осознания свобод, достоинства и чести, а в сторону смирения и раболепства перед властью, в какой бы форме она ни выступала, в светской или духовной. С приходом византийской церкви, особенно умевшей подавить в человеке все естественное и живое, что есть в нем, и поставить его в строй смиренных и послушных, процесс и вовсе принял необратимый характер. Возглавляемая теми же князьями (кому не досталось светской власти), лишь облачившимися в одежды святителей, церковь с невиданной еще дотоле силой принялась обрабатывать народ в духе смирения и терпения, раболепного преклонения перед алтарем и тронном, оставляя как некую Божью милость каждому смертному лишь ту внутреннюю свободу (вернее, осознание ее), при которой сколько бы ни обирали этого смертного, сколько бы ни притесняли, доводя его до полной нищеты и бесправия, у него никто не волен отобрать (а) веры в Бога, и (б) возможность обращаться к нему с молитвами и славить его. Я понимаю, что беру лишь одну сторону вопроса, тогда как есть и другая, отмеченная деяниями благородными. Да, есть, но деяния те соотносятся с главным, как покрывало с содержанием, спрятанным под ним; и коль скоро религию отменить нельзя, да и бессмысленность сего дела очевидна, то все же следовало бы теперь, по прошествии веков, снять наконец покрывало, ослеплявшее нас, и обратиться к сути. Церковь — это одно, а личности, представляющие ее и полагающие себя посредниками между Богом и народом, — это другое; личности эти редко когда служили народу, но все больше — власти (как это происходит теперь), находя с ней согласие и устраивая за счет этого свое благополучие. Это замечено было даже Иоанном, возмутило его, хотя он и не предпринял ничего, чтобы изменить положение. Но я убежден, что церковь нуждается в реформах; она нуждается в них столь же остро, как и общество в целом, и, может быть, только с проведением их, то есть переменою всех ныне действующих условий жизни, начнет не ухудшаться, а улучшаться наш генетический код.

Но вернемся к митрополиту Афанасию. Он подъезжал к Кремлю и удовлетворенным — тем, что удалось успокоить толпу, то есть обратить ее к ее привычному состоянию смирения («Бог и только Он знает и может все, а нам, смертным, завещано лишь, молясь, терпеливо ждать участи!»), и напуганным и озадаченным — той хотя и недолгой, но оттого не менее страшной озлобленностью, с какой толпа, встретившая его у Арбатской церкви, готова была расправиться с ним. Он и понимал людей и в то же время не понимал их; не понимал потому, что в глубине души не мог переступить через догмы — и церковные да и светские, житейские, — которыми и до него, и при нем определялся порядок жизни и которые, несмотря на всю их несовершенство, более чем осознававшуюся митрополитом, особенно теперь, когда он был в сане Первосвятителя и когда весь тяжелейший груз державы вдруг, нежданно-негаданно свалился на него, то есть несмотря на всю противоречивость и несоответствие их с самыми простыми, естественными потребностями человека, оставались для него единым и нерушимым канонном жизни. «Господи, прости их», — вновь и вновь возвращаясь к пережитому, произносил он, мысленно, как перед алтарем, перстами накладывая на себя крест. Он искал объяснение, тогда как оно было столь же простое и ясное, как бывает ясным небо в солнечный день. Потребность свободы, то есть те изначальные и не до конца еще стершиеся гены, хотя и слепо, безрассудно, но воинственно настроили толпу; но едва прозвучало слово «Первосвятитель», едва народ увидел митрополита, олицетворявшего хотя и церковную, лишь над душами, но власть, сейчас же — еще решительнее, чем гены изначальные, сработали гены раболепства, достаточно уже за века окрепшие в людях, и совсем уже иное и страшное безрассудство бросило их к ногам митрополита с одним лишь желанием пригубиться к священной одежде его. Так, впрочем, было и до, и после Иоанновой эпохи; и, к сожалению, с не меньшим



ослеплением повторяется в наши дни. Но удивление, скорее возмущение вызывает не это, а другое — что люди, понимавшие все подобно митрополиту Афанасию и имевшие возможность своею деятельностью изменить к лучшему начавший уже искажаться нравственный облик русского человека, не только ничего не предприняли к этому, но, напротив, лишь шире растворяли шлюзы для подавления в народе даже самой элементарной потребности жить с достоинством и уважать себя. Удовлетворение все глубже охватывало митрополита оттого, что он сумел успокоить народ; он начал испытывать чувство даже некой гордости, что в сей трудный (и смутный!) час сумел столь честно и бескорыстно послужить своему отечеству.

### XXXIX

В Кремле, в митрополичьих палатах, дожидались его два инока из Чудова монастыря — Прокопий и Никодим. Благочестивые, усердные к молитвам, к изучению святых писаний, к наукам вообще, они давно уже были замечены митрополитом, и он не то чтобы опекал их, но, видя в них будущих ревнителей веры, то есть преемников, которым вручено будет дело церкви, а значит, и дело народа, приглашал на беседы, которые затягивались иногда до полуночи и казались небесполезными и митрополиту, и инокам. Ему не хотелось, чтобы эти молодые послушники, решившие посвятить свои жизни служению Богу, подпали под влияние чудовского архимандрита Левкия. Мир не может обойтись без истинных носителей справедливости. Но что такое справедливость, если она не восходит своими идеалами к Богу, и от кого еще, если не от служителей ЕГО, должна исходить к людям? Так полагал Афанасий, вполне убежденный, что нет и не может быть по крайней мере для лиц духовного звания другой истины, и, стремясь к ней сам (всю, как ему казалось, сознательную жизнь, то достигая высот, то вновь словно лишь начиная движение к цели), старался внушить ее богобоязненным и смиренным инокам. Он тянулся к ним еще потому, что оба они, особенно Прокопий, сызмальства лишившийся отца и матери и росший сиротой при одной из подмосковных деревенских церквей (оттуда и был приведен в Чудов монастырь местным протоиереем, заметившим в мальчике способность и усердие к грамоте и познанию мира и Бога), — оба напоминали митрополиту его собственную судьбу и вызывали и горестные, и приятные воспоминания. Любой человек, если к преклонным годам ему удастся достичь определенного положения в обществе, оглядываясь на прожитое, редко когда жалуется на него; напротив, бывает готов вновь пройти через все испытания, какие были уготованы ему жизнью и помогли обрести характер, душевную стойкость и силу. Но, чтобы проявить себя, далеко не достаточно только одного желания; необходим простор для действий, и старый митрополит более, может быть, чем кто-либо другой знал, что подобный простор разве что самодержцам даруется по рождению, но что все остальные должны трудом и усердием обрести его; и эта, казалась бы, столь же простая, но часто забываемая людьми в суете дел истина тоже являлась одной из главных тем его нравоучительных бесед.

Инок Прокопию не было еще и двадцати от роду, но Никодим (в миру Стефан Полесский, отпрыск обрусевшего литовского дворянина, в Иоанново малолетство пострадавшего от самоуправства Шуйских), — Никодим был уже в тех годах (около тридцати), когда потребность к самостоятельности поднимается в человеке до той черты господства, за которой идет уже не восприятие, а отторжение чужих внушаемых истин. Он был более начитан, остроумен, чем Прокопий, и приходил к митрополиту, в сущности, не за тем, чтобы набраться поучительных истин; ему хотелось выдвинуться, и он видел (по состоянию тогдашней жизни вообще и духовенства в частности), что достичь этого только своими стараниями и умом было невозможно или почти невозможно; но он точно так же видел, что имелся другой путь, более надежный и скорый, — через людей влиятельных, сблизившись с ними и потакая их слабостям, — и отдавал предпочтение именно этому, второму. Кроме того, чем старше он становился, тем острее чувствовал себя обойденным жизнью, как если бы и в самом деле что-то основательное (по его дворянскому происхождению) было недодано ему, и он почти болезненно испытывал желание восстановить поправную для

него справедливость и взять свое. Но он никогда и ни перед кем не открывался в этих своих сокровенных мечтаниях и держался так, что ни простодушный и доверчивый Прокопий, ни, разумеется, митрополит Афанасий, ценивший по старческой своей сентиментальности в иноках не то, что в них было на самом деле, а лишь воображенное, что хотелось ему видеть в них, не могли даже отдаленно заподозрить в Никодиме сих дурных качеств.

Иноки со смиреннием сидели в передней, когда митрополит Афанасий, все еще возбужденный после случившегося с ним и поддерживаемый с двух сторон святителями, появился в дверях. Он с удивлением остановился, глядя на них, на то проворство, с каким иноки, поднявшись и перекрестившись, поклонились ему. Еще до Иоаннова отъезда он назначил им этот вечер для беседы, и хотя обстановка с того времени достаточно изменилась и митрополиту было не до иноков и не до беседы с ними, но, не отказав сразу и не проводив их, он не мог затем уже не принять их и не заняться ими. Он пригласил их сначала на молитву, потом на ужин и чай и лишь после этого, освободившись словно от обременявших его обязанностей (но он и в самом деле ел неохотно, без аппетита, будто по принуждению, так как надо же было хоть что-то пожевать и проглотить), провел в гостиную и, как и всегда, усадил на скамье перед собой.

Он не любил торопливости и не спешил начинать разговор; прежде попросил укрыть свои больные ноги и, пока послушник, прислуживавший ему, укутывал их в меховые шкуры, пристально вглядывался в лица иноков, как если бы видел их впервые или что-то очень важное должен был прочитать в них. Митрополиту казалось, что никто теперь не мог думать о чем-либо еще, кроме как об Иоанновом отъезде, об угрозе беспорядков в городе и вообще о державе, вдруг в одно утро очутившейся на пороге междоусобиц и смут; он невольно, как это и случается с людьми в его возрасте и положении, свои волнения и заботы переносил на иноков и по выражению их лиц старался понять (еще до разговора с ними), насколько глубоко и основательно происходившие события затрагивали их и оценивались ими. Когда скидывал взгляд на Никодима с его черной курчавившейся бородкой и черными, волнисто спадавшими на плечи волосами, чувствовал, что натыкался словно бы на некую непроницаемость, которую замечал в нем и раньше, но не придавал значения или, вернее, придавал как послушанию и одобрял его, когда же переводил взгляд на Прокопия, на его светловолосый, простоватый, открытый облик (едва наметившиеся золотистым пушком борода и усы лишь острее выдавали в нем подростковую доверчивость), перед митрополитом вдруг словно бы открывался совсем не монашеский, не связанный с воздержанием и аскетизмом мир интересов, страстей и желаний, который, если бы можно было положить на чаши весов святость и жизнь (в том проявлении, в каком она только и приемлема для всякого живущего существа), перетянул и затмил бы собой все, что лежало за пределами этого жизнеутверждающего мира и противостояло ему. У митрополита Афанасия, впрочем, и прежде не раз при общении с юным светловолосым Прокопием возникало это же ощущение мостика, живо соединявшего его то с детством, прошедшим в деревне и памятным именно деревенскими радостями, то со всей будто неохватной жизнью народа, которая в митрополичьих палатах давно уже была лишь предметом для разговоров и словесных забот и, представлявшаяся в воображении, ничего общего не имела с реальностью. Но Афанасий подумал не об этом, вернее, он ни о чем не подумал, а с некоей обострившейся ясностью представил себе мир своего деревенского детства и с еще большей ясностью — жизнь людей, тех самых, с которыми столкнулся, подвезжая к Арбатской церкви. и, впервые, может быть, ощутив себя столь неотрывно связанным с жизнью народа, тяжело, с горечью вздохнул и прикрыл глаза. Прокопий и Никодим переглянулись, послушник, укутывавший митрополиту ноги, оглянувшись еще раз на свою работу, вышел из гостиной, но старый митрополит оставался в неподвижности и не открывал глаза; сотни самых разных событий, участником и свидетелем которых он был в те или иные годы своей тихой, скромной, как он считал, жизни, сгрудившись и налегая друг на друга, вставали перед ним, и в этом вавилонском скопище, в котором, казалось, не было ни начала, ни конца, ни середины, он и искал и не находил ответа на мучивший его вопрос: есть ли в конце концов вообще та

желанная справедливость, с помощью которой можно было бы все между людьми расставить по своим местам, и если есть, отчего же тогда так непосильны для человека ее поиски?

Жизнь в сути своей должна быть целостной. Но митрополиту Афанасию (и не в первый уже раз теперь) она представлялась не то чтобы двойственной, но разделенной на ветвь народа и ветвь власти, нависающую над народом и подавляющую его, и в то время как он старался убедить себя, что служит народу, всеми своими не только делами, но и помыслами служил власти, оберегая и возвеличивая ее. Когда он вел службу в Успенском соборе или в соборе Благовещения в Кремле в присутствии царя, царицы, бояр, воевод и князей, в душе его наступало согласие, потому что между богатством иконостаса, золотом окладов и риз и одеждой царя и дворян с их сытыми, довольными лицами не было того кричащего различия, какое сейчас же предстает в церквях простых, где великолепием окладов и риз лишь подчеркиваются нищета и убожество прихожан. Митрополит видел это различие и всякий раз после службы (подобно нынешней, в Арбатской церкви) подолгу не мог успокоиться, уединялся и предавался молитвам, пока (от бессилия уже) душевная тревога не отпускала его. Теперь же ему нельзя было уединиться; перед ним сидели иноки, приглашенные им и ожидавшие, когда он заговорит с ними, и, не столько осознавая, сколько чувствуя это, он подгонял мысли, чтобы поскорее завершить свои поиски и освободиться для иноков.

Но воспоминания так цепко держали Первосвященителя, что он не в силах был оторваться от них. Его привлекали простота и непритязательность народной жизни, выводившейся им из тех детских деревенских радостей (открытие вокруг себя мира, общение с ним и познание его), о которых так живо напомнил ему всем своим простовато-добродушным обликом Прокопий и которые, соединяясь со сложностями бытия, по-новому будто представшими теперь перед митрополитом, как раз и вырисовывались в некую обнадеживающую и, разумеется, утопическую по сути модель людского благополучия. «Чего бы еще надо было людям?» — думал он. Но людям надо было многое, он понимал это; и понимал, что все, все, в том числе и Иоанн, люди и что сам он, Афанасий, достигший сана Первосвященителя, к чьей одежде, словно к чему-то действительно святому готовы пригубиться теперь все, — что и он едва ли смог бы удовлетвориться тем деревенским прошлым. Но такова жизнь, и на все, видимо, есть воля Божья, решил наконец он и, словно шубу с плеч сбросив с себя тяжесть дум, болезненно повернулся в своем любимом, с высокой спинкой кресле, в котором старческая фигура его с укутанными ногами казалась непомерно маленькой, хилой, и обратился к инокам с удивившим их вопросом: на месте ли, в Москве ли, в здравии ли пребывает их настоятель архимандрит Левкий?

Иноки переглянулись. Они не знали, где Левкий, а только видели, как в день Иоаннова отъезда утром, чуть свет, запрягались для архимандрита сани и как затем сам он, набросив на себя барский тулуп, сел в них и выехал за монастырские ворота.

— Должно, с царским обозом, — высказал предположение простодушный Прокопий.

Никодим угрюмо, отстраненно молчал, и митрополит Афанасий, так и не сумевший до конца сбросить с себя груз раздумий, опять и уже с какой-то будто испытующей недоброежелательностью принялся смотреть на иноков.

## XI

С Иоанном в эту первую ночь в Коломенском произошло странное, удивившее и поразившее его явление. К нему в гостиную вдруг вошел иерей Сильвестр — не во сне, нет, а словно бы наяву, как привидение; вошел, сел в кресло напротив и принялся смотреть на Иоанна не то с жалостью, не то со снисходительностью, не положенной не только холопу против царя, но и любому духовному лицу по отношению к царской особе. Иоанн хотел было спросить иерея, откуда тот взялся и как посмел войти сюда, но — голоса не было, он раскрывал рот и не мог издать звука, и от этого бессилья, какое охватывает людей лишь во сне, в испуге очнулся и посмотрел на кресло перед собой. В нем никого не было. В камине живо ох-

ватывались огнем только что, как видно, подброшенные туда березовые поленья. Ровно и даже вроде бы весело светили оплывшие свечи, лишь добавляя жизнерадостности в общую атмосферу гостиной. Иоанн осмотрелся и, словно не доверяя себе, опять взглянул на кресло. Оно было пусто, как безлюдно, пусто, казалось ему, было во всем дворце. Мария, которую он ждал, так и не пришла к нему. Может быть, если бы она знала о его желании, все обернулось бы по-другому; но она не знала и, имея свое и отличное от Иоаннова представление о супружестве и о семейном уюте, не решалась пойти сама, а ждала, чтобы позвали, доверяясь своим традициям и привычкам; у нее, как и у Иоанна, было свое оправдание, своя правда, через которую она не могла переступить, но — что было Иоанну до этой ее правды? Он чувствовал лишь, что между ним и царицей постоянно возникал некий холодок в отношениях, который, сколько ни прилагалось им усилий, он не мог преодолеть. Это и огорчало, и озадачивало, и раздражало его, и, перенесясь теперь мыслью к царице, он на время забыл о Сильвестре. Подумав, что Марии уже не дожидаться и что пора идти в спальню, он намерился было встать и пойти, но от камина так веяло теплом, так было уютно сидеть в кресле и наслаждаться тишиной и покоем, что не мог разрушить сего блаженства и через минуту-другую опять погрузился в дремотное небытие. Но едва смежились глаза, как перед ним вновь явился Сильвестр — живой, зримый, с шорохом шагов и с усмешкой на лице, полной не то жалости, не то снисходительности, — и сел в кресло. Иоанн даже похолодел от какого-то будто глубинного страха, начавшего, как сырость от стен, пронизывать его. Он хотел возмутиться и крикнуть, но — горло удушливо перехватилось, и он в ужасе проснулся и посмотрел на кресло. Оно было пусто.

Душевные мучения приходят к людям независимо от их чинов, званий и положения и терзают их. Перед сим явлением, как и перед смертью, все равны. Наступает час, и все содеянное (или замысленное) человеком возвращается к нему этим изматывающим, иссушающим плоть беспокойством, от которого ни уйти, ни спрятаться, пока не совершится покаяние и не очистится совесть. Но покаяние — дело столь же как будто простое, сколь и непосильное, и, прежде чем осознается необходимость его, в человеческой душе возникает противоборство сил, иногда быстрое и решительное, когда либо торжествует совесть, либо одерживает верх зло, становясь еще более жестоким и беспощадным, а иногда — затаенное, как с переменным успехом война, в которой стороны поочередно то побеждают, то терпят поражения, истощаясь в людских и во всяких иных ресурсах. Затаенное Иоанном противоборство с боярами и духовенством, то есть то внешнее, на чем выстраивалась политическая основа его царствования и что неминуемо (по логике подобных устремлений) должно было привести к противоборству с народом и державой вообще, — дело это, нуждавшееся в определенных и веских оправданиях, не могло не отразиться (и прежде всего!) на самом Иоанне и не вызвать в нем те душевные терзания, от которых не то чтобы не имеется средств остановить их (откажись от злых намерений и деяний, осуди их и все), но обычно — недостает ума и воли, чтобы предпринять нужное. Иоанн еще не понимал, что начинало происходить с ним, в какую полосу жизни он втягивался; но опасение, что может остаться один на один со своим бестелесным мучителем, то есть Сильвестром, который как противовес замутненной царской совести чистым и незапятнанным вставал перед ним, — опасение уже теперь заставляло Иоанна как бы замирать и съеживаться в предчувствии некоего готовившегося ему удара. Ему не хотелось верить в опасность, но он испытывал ее; он вдруг ясно увидел себя в том положении, когда обычными средствами, какими всегда защищал себя, не мог защититься; не мог, вызвав стражников, приказать им вывести из гостиной привидение и впредь не впускать его; никого не обнаружив, стражники решили бы, что с царем что-то произошло, и догадка их неизвестно еще какой молвой могла обернуться в народе. Нечто схожее подумали бы и придворные вельможи, и духовенство, решишь Иоанн рассказать им о явлении к нему Сильвестра, да и царица, с которой и вовсе ничто духовное не связывало его, и беззащитность эта, когда есть власть и нет возможности применить ее, оборачивалась в нем тяжелейшим, словно про запас, гневом, которому рано или поздно суждено будет прорваться и натворить бед. Но терзания Иоанна только

начинались, он был еще относительно спокоен; чуть приподнявшись, он лишь в очередной раз оглянулся вокруг себя, не происходит ли наяву то, что являлось во сне; но ни в кресле перед ним, ни в гостиной никого не было; все, все, весь деревянный Коломенский дворец и само Коломенское с церковью Вознесения и пировавшими в соседнем с ней доме царскими любимчиками — все было погружено во мрак зимней ночи, и мир покоя и общей будто бы умиротворенности невольно передался Иоанну и успокоил его. Уходить от каминного тепла ему не хотелось. Но когда, задремав, он вновь увидел перед собою Сильвестра, и когда затем все повторилось еще и еще раз — со всеми живыми подробностями движений, как иерей усаживался в кресле, его взглядов, усмешек да и всего выражения лица, по которому более чем ясно было, для чего он явился сюда, — Иоанн не хотел более испытывать терпения; решительно поднявшись, но с робостью оборачиваясь, он двинулся из гостиной, надеясь уйти от неприятных видений; но, как и многие до него и после него, он ошибался, полагая, что душевное беспокойство можно, словно одежду, сбросить с себя; нет, не случайно в народе говорят, что от себя не уйти, и все только что угнетавшее его невидимо потянулось за ним в спальню, отячая и невольно заставляя его по-стариковски сутулиться и волочить ноги.

В передней, через которую ему надо было пройти, он неожиданно увидел какого-то спавшего на скамье то ли игумена, то ли монаха. Иоанн с изумлением остановился. «Это еще кто тут?» — подумал он и подошел ближе, чтобы рассмотреть спавшего. По заостренному к носу личику, козлиной бородке с крошками пищи, прилипшей (по известной неряшливости) к ней, но скорее даже — по маленькой с зальсынами головке, какую человек, неестественно подвернув ее, упирался в стену, Иоанн узнал настоятеля Чудова монастыря, архимандрита Левкия, спутника своих совсем еще недавних как будто увеселений. Он видел Левкия среди встречавших, видел его в церкви на торжественной литургии, а потом — где-то еще мелькало перед глазами его лицо, и потому Иоанн не удивился, что сей святитель был здесь; в возбужденном сознании царя возникло другое — он соединил явление перед ним Сильвестра с этим спавшим архимандритом, и хотя никакой связи тут не было и не могло быть, но Иоанн с каким-то будто злорадным ликованием, словно и в самом деле сумел разгадать и упредить обман, смотрел на спавшего, не моргая и поражаясь простоте объяснившегося. «Левкий, Левкий... Ну да, заходил он!» — убежденно воскликнул Иоанн, не задавая себе никаких иных, способных разрушить все вопросы, и пытаясь подменить облик Сильвестра, только что с ясностью представавший перед ним, с обликом этого чудовского архимандрита, на которого смотрел. Левкий, разумеется, не для того оставался здесь, в прихожей, чтобы заснуть; но отец и сын Басмановы и князь Вяземский, пировавшие в доме у церкви и приходившие к нему, чтобы узнать, не удалось ли святителю повидаться с царем и пригласить на веселье, принесли вино, закуски и угощали архимандрита; в конце концов чудовский иерарх, изрядно захмелев и обессилив, повалился на лавку и спал теперь мертвецким пьяным сном перед самодержцем.

Иоанн усмехнулся (более в душе) и пошел было прочь, но затем, отойдя несколько шагов, остановился и оглянулся. Он чувствовал, что ему надо было еще что-то сделать — прогнать, наказать или по меньшей мере разбудить архимандрита и спросить, для чего тот здесь; но по отношению ли к Сильвестру, которого Иоанн одновременно и уважал (по старой еще памяти), и боялся, и ненавидел, как только люди сильные умеют ненавидеть соперников по уму, благородству и негибкости воли, или просто потому, что все еще не мог отойти от пережитого в гостиной, как если бы и в самом деле его уже теперь как самодержца готовились призвать к ответу, — Иоанн лишь посмотрел на серебряный крест, свисавший с груди архимандрита и только что будто замеченный, словно в нем, в этом кресте с распятием, и заключалось все, и затем, так и не предприняв ничего, двинулся дальше. Если бы на свете действительно были чудеса, то Левкия от царского гнева спасло именно чудо; и хотя ни на другой день, ни позднее Иоанн не упрекал архимандрита и не устраивал гонений, но всякий раз при встречах отворачивался, морщился и не желал говорить с ним.

В спальне, едва Иоанн вошел в нее (он спал отдельно от царицы), холопы сейчас же принялись раздевать его.

## XLI

Зимние ночи всегда невообразимо длинны, и эта (с уготованными в ней мучениями) только еще, в сущности, начиналась для Иоанна. Несмотря на то, что он уже лежал в постели, что свечи были погашены и холопы, укладывавшие его, притихли за дверью, Иоанн не мог заснуть. Он как будто чего-то боялся, хотя и не знал, чего, и широко открытыми глазами сверлил темноту, словно там, за этим непроглядным пространством, как раз и тайлось разъяснение. Утром на бессонницу его ему скажут, что сменилась погода, что вместо мороза пришла оттепель, снег размяк, осел и что подобные перемены всегда скверно действуют на людей; утром — он и в самом деле поверит в такое утверждение, потому что всякому человеку, в том числе и царю, самодержцу, всегда приятно сознавать или, вернее, видеть вину не в себе, а в других и тем успокаивать и тешить себя. Но до утра надо было еще дожить, да Иоанну и в голову не приходило, что на дворе оттепель; он был одинаково в тепле что в гостиной, что в спальне, и жизнь своя и державы, как он представлял ее, не делилась для него на времена года, смену дней, недель, месяцев; напротив, он, как никогда, видел все в целостности — и в пространственном, и во временном отношениях, и если и соизмерял с чем-то, то лишь с вечностью, которая одна только и могла быть в его понимании истиной и хранительницей всего. Он беспокоился не за державу, нет, как было это с митрополитом Афанасием; он беспокоился за себя, видя в державе лишь собственность, которую могли отнять, украсть или спалить, как дом, в его отсутствие; и в этом плане — хотя отъездом из Москвы он и намеревался показать всем, что отказывается от державы, которой будто бы не позволяют управлять ему по его разумению, но сама мысль о возможности потерять ее и лишиться власти — самая эта мысль приводила его в душевный трепет.

Люди обычно либо не умеют, либо боятся просто и ясно взглянуть на дело, которое занимает их, потому что, представ оголенным, очищенным от наслоений, привносимых в него и способных лишь усложнить и запутать все, оно может открыться совсем иной и далеко не привлекательной сутью. Пока человек в одежде или под покрывалом, мы можем только догадываться о красоте или уродстве его тела; но стоит снять одежду или сорвать покрывало, как все предстает в том натуральном виде, когда не догадки, а реальность обретает смысл. Иоанн не то чтобы не хотел или не мог, но именно опасался (в силу означенных выше причин, что все может оголиться) прямо, ясно и просто взглянуть на узел волновавших его проблем. Сорвав покрывало, он мог бы увидеть совсем не то, что хотелось, и что, пока было под покрывалом, казалось и важным, и справедливым, и даже будто более чем оправданным относительно и ушедших, и грядущих веков; перед ним открылась бы та до банальности простая и очевидная в корысти своей схема, или цель, если точнее, от которой он откачнулся бы, как от уродца, подававшего ему. Еще из великокняжеского своего малолетства, наблюдая за противоборством и самоуправством бояр, толпившихся у трона, Иоанн вынес заключение, что, собственно, права на власть как такового (имеется в виду абсолютного и непререкаемого) нет, что оно условно и его надо защищать от множества и множества претендентов, то есть представителей тех родовитых семейств, которые только и помышляют и втайне, и наяву извести царскую ветвь и возвыситься самим. В таких условиях, чтобы править спокойно, нужно физически устранить претендентов. Но, во-первых, даже для самодержца не всегда просто и легко сделать это, так как для оправдания подобных действий перед обществом требуются обоснования (да и силы, на которые можно было бы опереться), и, во-вторых, и, может быть, главное — меры сии обычно носят затяжной характер и не дают искомым результатов. Пока ищутся обоснования и чинятся расправы над одними, вырастают и укрепляются другие — с теми же намерениями и еще более утонченной сетью интриг, и Иоанн в конце концов встал перед выбором: либо, подняв меч, сразу отсечь головы всем и таким образом отбить даже самую потребность к неповиновению, либо обречь и себя, и наследников на вечное и не менее кровавое (с боярами) противоборство, в котором еще неизвестно, за кем будет верх. Да, суть его волнений и поисков состояла именно в этом, он выбирал, на что решиться, и не раз и не два мысленно уже заносил свой беспощадный

карающий меч над головами бояр (пока что — над их головами, но не над народом, которому льстил и с которым заигрывал, чтобы, получив в нем опору и окрепнув, затем учинить расправу и над ним); он и теперь словно бы чувствовал в руках этот меч со стекавшей по жалу его липкой боярской кровью, но — как раз к сей простой и очевидной в замысле своем истине и не хотел притрагиваться, не хотел открывать ее перед собой, то есть сдергивать покрывало, лежавшее на ней; ему нужна была не правда, а нужна была ложь, которая могла бы предстать правдой и обелить его перед нынешним и грядущим поколениями, и весь смысл его душевных терзаний как раз и заключался в поисках этой нужной правды.

Трудно сказать, явление ли Сильвестра подтолкнуло его к сим тревожным, изматывающим раздумьям, когда, лежа в темноте и чувствуя себя словно погруженным в густой, безграничный и вечный мрак, не мог заснуть и бодрствовал душой, или, напротив, таившиеся лишь в глубине и теперь пробудившиеся мысли, вызвав к жизни Сильвестра, открыли для себя этот нужный простор, на котором только и могли разгуляться, составляя самые различные и неожиданные (для оценок и выводов) связи между событиями, казалось бы, давно устоявшимися и получившими свое место в истории, — ни Иоанн, ни летописцы его не оставили должных свидетельств. Да и можно ли предположить, чтобы человек, подобный Иоанну, мог хоть с кем-либо поделиться своими душевными терзаниями? Слабость человеческая, присущая простым смертным, не может быть присуща самодержцам. Иоанн не мыслил себя иначе, как только — помазанником Божиим, и если что-то задумывал и исполнял, то так было угодно Богу; если сомневался и мучился, то тоже — от Бога, посылавшего свои великие испытания. Позднее всю свою коломенскую бессонницу Иоанн так и определит, что Господь послал ему испытание; он даже с гордостью скажет любимчикам, что не сломался, выдержал и что вообще велик и силен человек не телом, а духом; но то, что будет происходить потом, было пока отдалено от Иоанна и неясно ему, он лишь готовился вступить в бестелесный и вязкий мир видений, и первый шаг, который предстояло ему сделать в эту бессонную в Коломенском ночь, давался ему с трудом и мучениями. Каждую минуту, куда бы мысли ни уводили его, он вдруг словно бы замирал перед шорохом шагов входившего в спальню Сильвестра. Но шаги затихали, и Сильвестр не появлялся. Он никогда не бывал в спальне прежде, не желал входить и теперь, как ни старался Иоанн силою воображения вызвать его. Бывший иерей Благовещенского Кремлевского собора, заточенный по воле Иоанна в Соловецкую обитель и тихо, безгласно умиравший там в келье, он еще явится и не раз перед Иоанном; явится не тогда, когда нужно царю, а в те, может быть, самые неожиданные и неудобные для царя минуты, когда хоть кому-то от мира простых людей требуется постоять за правду, то есть, сорвав покрывало с тайны тайн всех и всяких тронных деяний, открыт перед самодержцем всю ужасающую суть его зловещего замысла. Но Иоанн не хотел ждать. Видя неизбежность подобной встречи и разговора с Сильвестром (разумеется, на уровне духа, но не на уровне материи), Иоанн не желал оттягивать время; он не то чтобы готов был к защите, но готов был к нападению (как в свое время сделал это в пространнейшем ответе Курбскому) и беспокоился лишь, чтобы не иссякла готовность и не растратились в одиночном умствовании нужные доводы.

Он то приподнимался и сидел на постели, вглядываясь в темноту ночи, то вновь ложился на спину, смотря по тому, о чем в тот или иной момент вспоминалось ему, и пласт за пластом, начиная с малолетства, выстраивал свою страдальческую будто бы, как он представлял ее, и требовавшую отмщения великокняжескую и царскую жизнь.

## XLII

Нельзя утешаться мыслью, что цари по лености или беспечности не знают или недостаточно осведомлены о своей родословной, об истории и традициях народа, коим выпало им руководить, истории страны и других народов и государств; когда делаются попытки объявить кого-либо из властителей всего лишь невеждой и неучем, то не обман ли это, не желание ли, опорочив носителя власти, то есть приписав одному лицу все дур-

ные начала в государстве и обществе, сохранить незыблемой самую основу власти? Суть власти, ее законы, если хотите, ее бессмертие, в чем оно заключено и что каждый помазанник, венчаясь на царство, должен знать и выполнять, впитывается ими с молоком матери. Отвечая Курбскому на его обвинительное послание, Иоанн писал, что царство Российское «началось по Божьему изволению от великого царя Владимира, просветившего Русскую землю святым крещением, и великого царя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго великого государя Александра Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами вплоть до отомстителя за неправды — деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас пребывает, смиренных скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил он доньне, чтобы десница наша обгарялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по Божью изволению и по благословию прародителей и родителей своих как родились на царстве, так и воспитались и возмужали, и Божиим повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословию прародителей своих и родителей, а чужого не возжелали». Разумеется, здесь, в Коломенском, когда Иоанну не спалось и он, лежа в темноте с открытыми глазами, искал оправдание своим деяниям и замыслам (уже не перед Курбским, а перед историей), он не опускался до столь глубоких пластов; что представлялось бесспорным ему, — его право на власть, — не могло вызывать сомнений у других, он более чем ясно сознавал это и, сознавая, вновь и вновь закипал гневом против притязаний бояр и духовенства. «Да понимают ли рабы сии, кто они есть?» И хотя память Иоанна начиналась с похорон матери, но и все предшествовавшее ее смерти и похоронам, как и венчание на царство и само царствование отца, великого князя Василия (о чем Иоанн знал лишь по рассказам), теперь широкополотно и с живостью поднималось в сознании и как оправдательный документ проходило перед ним.

Но не чувствующий за собой вины или хотя бы не буруемаемый сомнениями человек не будет оправдываться, тем более с такой настойчивостью и горячностью, с какой это делал сейчас Иоанн. Если посмотреть с точки зрения существовавших тогда законов, право его на царствование было не столь уж и бесспорным. Главным наследником признавался старший сын, а по его смерти его дети; и по этому узаконенному праву после Ивана III на престол должен был взойти его внук, Дмитрий, а не Василий, который был младшим сыном (от второго брака, от Софьи Палеолог); но взошел именно Василий, то есть не от ветви русской, а от ветви греческой, поправ таким образом исконное право старшинства, и многие свидетели той жестокой борьбы двух ветвей, двух начал, были еще живы и так ли, иначе ли вкрапливали в общественное мнение вокруг Иоанна (имея в виду, разумеется, его отца, Василия) свое пристрастное слово. Борьба между двумя наследниками началась еще при жизни Великого Князя и усугублялась тем, что Великий Князь колебался, кому отдать предпочтение, внуку ли, за которого стояла партия Елены, царской невестки и матери Дмитрия, или Василию, выдвигавшемуся стороной Софьи, то есть греческой и не во всем приемлемой для русских вельмож. Пересиливала то одна, то другая сторона, действуя путем всевозможных оговоров и интриг, и Великий Князь, назвав сперва своим преемником Дмитрия и возложив на него венец Мономаха, затем к концу жизни изменил решение и склонился на сторону Василия и Софьи, а защитников Елены, князей знатных и немало послуживших и ему, и отечеству, осудил на смертную казнь. Князю Симеону Ряполовскому, как сообщают летописцы, отсекали голову на Москве-реке, а князя Ивана Юрьевича Патрикеева и старшего сына его, боярина Василия Косого, постригли (после заступничества митрополита Симона и архиепископов) в монахи.

Историю эту поведал Иоанну сам Василий Косой (в пострижении Василий), когда юный царевич, объезжая российские монастыри, оказался в обители святого Кирилла Белозерского. Напоминавший древнего старца, хотя и пребывавал не в преклонных еще годах, надломленный душевно еще



более, чем физически, и ничего уже не желавший, кроме как тихо, в благочестии умереть, старец Вассиан принял Иоанна в своей мрачной, с одною лишь свечой, горевшей на дощатом столе, келье, в которой прошла почти вся его обесмысленная теперь жизнь; он даже, как это казалось современникам, не вполне понимал то значение, какое имело или могло иметь появление юного наследника престола и будущего самодержца для судьбы державы, и говорил не то чтобы с неохотою, но с тем глубоким равнодушием, как могут говорить только окончательно (и давно!) смирившиеся со своим положением люди. В его словах не было ни упреков, ни обиды, ни сожаления, так как он верил, что на все есть воля Божья и что только послушанием и молитвами человек может очиститься от скверн и добиться прощения; и лишь когда заговорил о самой казни, как отсекали голову князю Симеону Рязоловскому на льду Москвы-реки (еще не постриженный в монахи, он вместе с отцом был приведен на лед к месту сей страшной расправы и видел все), глаза вдруг оживились былыми страстями, и затем снова, стоило Вассиану взглянуть на икону пресвятой Богородицы, висевшую в углу кельи, все остепенилось и угаšlo в нем.

Но Иоанн совершенно по-иному, чем подавалось ему, воспринял рассказ, и спокойствие старца, напротив, лишь обострило интерес к той жесточайшей борьбе сторон — консерватизма и новизны, коренного и привносимого, — от исхода которой, без преувеличения можно было бы сказать теперь, зависело не только многое и многое в тогдашнем становлении державы, но и в судьбе самого Иоанна. Он вполне мог бы оказаться не на престоле, а лишь в числе тех горе-претендентов (от царского семейства), коих обычно всегда достаточно вьется у трона и которых, опасаясь, либо унижают и притесняют, либо вовсе убирают с дороги. Стараниями родителей Иоанн счастливо избежал сей участи, но самая возможность ее — нетрудно вообразить, как она поразила юного царевича. Он не то чтобы вот так же ясно представил себе, чем бы все обернулось для него, и не то чтобы засомневался в своих правах, нет, содеянное дедом и отцом не подлежало пересмотру; но ради спокойствия своего и ради большей уверенности, он чувствовал, следовало бы ему детальной разобратсь во всем, и спустя год он снова отправляется в обитель святого Кирилла Белозерского, чтобы повидаться с Вассианом. Но старца уже не было в живых, он был скромно похоронен на монастырском кладбище, и холмик над ним еще не успел зарости травой, когда Иоанна подвели к нему. Сопровождавшие юного царевича недоумевали по поводу этого странного интереса к бывшему опальному боярину, иноку Вассиану. Возможно, борьба двух начал, которая затем на столетия будет положена в основание всей нашей общественной и государственной жизни, отвлекая народ и власти от дел совершенствования и направляя усилия на эти, в сущности, бессмысленные, бесплодные распри, представлялась им всего лишь очередной семейной, в царском доме, драмой; но Иоанн уже тогда, в юные свои лета, сумел уловить историческую основу сих событий и, предугадывая их значение, как раз и стремился достичь истины. Истина же состояла в том, что Дмитрий имел больше прав на престол, чем Василий, и права его подкреплялись еще и высокородством и славой (по материнской линии) тверских князей, считавшихся потомками Всеволода Великого; но за Василием, сыном Софьи Палеолог, как нечто более значительное, выдвигались атрибуты византийской императорской власти, по рождению уже числившиеся за ним, и в представлении Иоанна, как и многих его современников, титулы эти, эти атрибуты власти казались неизмеримо весомее и перетягивали все. Иоанн и в себе чувствовал это некое византийское начало и не только безоговорочно был на стороне отца и деда, но и гордился ими и с восхищением думал о них.

Однако что же все-таки заставляло его не раз и не два (и уже гораздо позднее) возвращаться к этим исходным как будто бы для него событиям и, главное, здесь, в Коломенском, в первую же бессонную ночь возбудило столь явный интерес к ним? Только ли из остроты юношеских впечатлений или по какому-то глубокому и не вполне еще, может быть, осознанавшемуся им смыслу, словно и в самом деле нечто очень важное и основополагающее для решения государственных дел все еще неразгаданным таилось в них? Известно, что расправа над родовитыми тверскими князьями, особенно над Симеоном Рязоловским, одним из потомков Все-

волода Великого, было оценено в народе однозначно, как злокозны чуждой всему русскому чужеземной царицы Софьи с ее приверженцами, и потому к ее сыну Василию, взошедшему на престол, было настороженное и далеко не однозначное отношение. Он не пользовался должной поддержкой и должной популярностью, и Иоанн не без основания опасался, что непопулярность хотя и косвенно, но падет и на него, и хотел предпринять меры, чтобы не допустить этого. Он чувствовал, что ему надо принять сторону народа, по крайней мере хотя бы декларативно заявить об этом (что, кстати, как увидим далее, и было сделано им и дало повод многим определенного толка историкам своеобразно, если не сказать больше, оценить царствование Иоанна) и чтобы изменить традиционной отцовско-дедовской политике, какую Иоанн с еще большей жестокостью собирался проводить, но переменить площадку, с какой предстояло действовать (он более чем ясно видел необходимость подобной замены), чтобы, главное, подавить противоречие в себе самом, он и хотел найти нужное обоснование. Обычная природная сообразительность подсказывала ему, что ответ лежал в деяниях отца и деда, и, как это всегда и бывает в таких случаях, человек обращается не ко всему, что происходило и чего не объять, а лишь к главному, как узел, стягивающему на себе все. Таким главным в деяниях отца и деда как раз и являлась для Иоанна казнь Симеона Ряполовского.

### XLIII

На исходе стыллой февральской ночи, когда поземка, наметая сугробы и перегораживая ими дороги, сквозняком пронизывала Москву, из Боровицких ворот Кремля, пробиваясь через эти сугробы, выехал небольшой, из трех-четырёх упряжек, санный обоз и, обогнув Водовзводную башню с обледенелыми возле нее мостками, начал спускаться к реке. Оттепель еще не наступала, всю предшествовавшую неделю держались морозы, и лед на Москве-реке был крепок. Достигнув середины реки, упряжки остановились, и холопы и стражники, выйдя из саней, сейчас же принялись за дело. Установив четыре (по квадрату) факела, одни принялись пешнями готовить прорубь, другие — прямо перед прорубью сооружать помост из привезенных бревен и досок. Никто еще не знал, что и для чего готовилось ими, горожане, закрывшись в домах, мирно досматривали свои зоревые сновидения, кое-где в церквах начали готовиться к заутрене, и ночные сторожа, прятаясь по закуткам от поземки, вдруг, словно спохватившись, звучно оглашали улицы своими трещотками. Не спали только князь Симеон Ряполовский да князя Патрикеевы — отец с сыном, которым было уже объявлено о воле царя, да митрополит Симон с архиепископами, приготовившиеся опечаловать отца и сына Патрикеевых перед царем. Святители молились в церкви Успения, дожидаясь, пока пробудится царь и выйдет к заутрене. Они были в позолоченных рясах, клобуках и с крестами в руках, то есть представляли во всем своем церковном великолепии, полагая, и не без основания, что величие духа, подкрепленное величием одежд, не может не произвести впечатления на царя и не умиловит его. Не знаю, может, и не стоило бы здесь прибегать к обобщению, в коем всегда что-то преувеличивается, а что-то преуменьшается, но так уж, видно, устроен человек, что не может удовлетвориться частностями; в то время как народ, ничего не ведая, готовился лишь к встающему дню, чтобы заняться своими обычными житейскими делами, в царских палатах за кремлевскими стенами ему уготавливалась неведомая и жесткая судьба: одна Русь, корневая, со всем своим устоявшимся укладом, представавшая перед историей в облике приговоренных тверских князей, должна была погибнуть, другая, представленная в облике Василия, его матери, царицы Софьи, с приверженцами, восторжествовать, накладывая на все свой отпечаток, и третья, только и получившая за вековую и верную службу свою великим князьям право опечаловать, готовилась, как униженный проситель с протянутой рукой, осуществить свое заступничество перед всеильным и не подотчетным никому Божьим помазанником.

Да, таким представляется мне то время, хотя я и далек от мысли, что в событиях тех было нечто особенное, роковое для общей судьбы народа и государства; почти в каждом столетии с нашим народом происходило нечто подобное, круто, иногда даже непоправимо круто изменявшее весь

устоявшийся уклад жизни, как это было с появлением Рюриковичей, крещением Руси и всеми последующими (такого масштаба) событиями вплоть до октября семнадцатого, когда на не успевший еще отдышаться от урагана веков российский люд обрушилась новая кровавая, разрушительная волна все с той же одной и благородной будто бы целью — сломать старый и установить новый социальный порядок, основанный на торжестве вроде бы самых заманчивых и порождающих лишь утопические мечты понятий свободы, равенства и братства. Все, все в жизни повторяется, рознься разве что широтой и грандиозностью замыслов и трагичностью последствий, как несравнимы, к примеру, упомянутое уже крещение или сама Иоаннова эпоха, положившая опричнину на тело державы, так что и поныне никто не в силах отменить ее, с этой описываемой здесь борьбой за престол двух наследников, Дмитрия и Василия, обозначивших и борьбу двух жизненных начал. Но то, что всегда так ясно просматривается издали и чему с той или иной точностью историки, да и не только историки, обычно дают оценку, остается недоступным для восприятия современников; и не потому, что толсты или высоки кремлевские стены и неподступны кабинеты с бронированными дверьми и охраной возле них, за коими сегодня, не считаясь с волею людей, решается их настоящее и будущее; страшное здесь в другом, в том, что зависимость миллионов от произвола одной правящей личности, как она была положена от века, остается неизменной и поныне, и всякая попытка изобразить Иоанна другим, чем он есть, то есть вынуть его из этого постоянно вращающегося круга, только бы искажила истину. Мысленно обращаясь теперь к деяниям отца и деда, он присматривался к ним и разбирал их не с точки зрения нужд и выгод народа, а исходя лишь из своих, чтобы, с одной стороны, еще более укрепилась бы его единоличная власть, а с другой — все содеянное уже им получило бы (в умах потомков) благородную оценку. Ему неважно было, что в то морозное февральское утро происходило с дедом, Иваном III, с юным Дмитрием и Еленой и не менее юным Василием и Софьей, торжествовавшей победу; если что и беспокоило их, то он знал, как умеют царствующие особы скрывать чувства и представлять гордыми и уверенными в себе. Не удостоивалось его внимания и духовенство, собравшееся во всем своем обрядовом великолепии в церкви Успения, потому что — более чем представлял, как происходит опечалование и как умеют просочиться в царскую душу и растопить ее сии не способные будто бы шагнуть за рамки библейских истин святители, и еще менее интересовал его тот спавший московский люд, именем которого (и во благо будто бы ему) и должна была совершиться расправа над тверским князем. Нет, Иоанна интересовало не это глубинное, чем обычно определяются события подобного рода и что так ли, иначе ли, но неминуемо должно отразиться на судьбе народа и державы, а лишь внешнее, что поражает людей и затем остается в их памяти — на столетие ли, на века ли, оборачиваясь в них генами боязни и послушания, столь ценимыми властью в народе и столь потребными ей в нем. Странно, да, может быть, странно, но он словно бы с высоты зубчатой кремлевской стены видел перед собой скованную льдом реку, людей и факелы, освещавшие эти сторбленные работающие фигурки, и по мере того, как занималось утро, высвечивая помост и прорубь, могильно ямой зиявшую перед помостом, нарастало в нем ожидание минуты, когда не малиновым, к заутрене, а набатным, созывающим людей звоном все огласится окрест.

Может быть, оттого, что окна были наглухо закрыты изнутри шторами, а снаружи ставнями, в спальне, казалось, было густо от темноты, и в те мгновения, когда в сознании Иоанна вдруг наступало прояснение, — даже в этой непроницаемой темноте он начинал испуганно озираться, как если бы вокруг кровати, столпившись, и в самом деле стояли недоброжелатели, пришедшие известить его. Он не видел их лиц, но ему казалось, что видел их тени и слышал их дыхание и, приподымаясь, протягивал руку и шарил ею перед собой. «Позвать стражу, холопов, крикнуть, чтобы зажгли свечи», — поочередно возникало в сознании; но что-то еще более пугающее продолжало удерживать его, и, убедившись в конце концов, что в спальне никого нет, он снова откидывался на подушку, и снова — словно лишь прерванная на время картина предстоящей казни князя Ряполовского во всех только что виденных им подробностях разворачивалась перед

ним. Помост был готов, прорубь зияла, факелы либо догорели, либо были погашены. Но стражники и холопы не уезжали; они, видимо, должны были сдать кому-то свою работу или, как и он, Иоанн, издали, с высоты кремлевской стены наблюдавший за ними, с нетерпением дожидались, когда траурно-набатно ударят колокола, и весь ужасающий механизм расправы с осужденным, судьями и палачом, держащим перед собою топор, придет в движение, и люд ахнет вместе с тем, как отрубленная голова полетит в прорубь, а из шеи хлынет на помост и на лед, окрашивая его, княжеская невинная кровь. Не ходом маятника, а стуком сердца отсчитывается в такие секунды время; тишина гнетет, нависает, словно тяжесть, и р-раз — Иоанн даже будто обернулся со своей наблюдательной вышины на церковь Успения, собор Благовещения и колокольню, с которой пока-тились на чистый, не запятанный еще кровью лед удары набата.

#### XLIV

Колокольный звон, то затихая, то усиливаясь, еще прокатывался над рекой, помостом и прорубью, могильно зиявшей на запорошенном поземкою льду, когда первые и редкие пока обывательские толпы начали стекаться к реке под кремлевскую стену. Всем было ясно, что собирались кого-то казнить, что намечалась расправа, но над кем, люди недоумевали и, крестясь, пытались выяснять друг у друга, кто же этот несчастный и что совершил, действительно ли злодейство против царя и народа, решив изменить православию и переметнуться ко всякого рода безбожным «агарянам», коими с востока, запада и юга, как это воспринималось тогда, была обложена Русь, или лишился жизни безвинно, лишь за лихость и самовольство, проявленные перед царем, что по тем временам, как, впрочем, и теперь, считается недопустимой дерзостью. Во всяком случае, судя по приготовлениям, обезглавливать собирались не просто вора и нехрестя, для которого не стали бы возводить помост, а, связав, бросили бы в прорубь, затолкали баграми под лед — и дело с концом; нет, наделенным благами при жизни надлежит и с определенной торжественностью умирать, и по этому житейскому доводу сейчас же возникло в народе, словно оглушив его, предположение, что собираются казнить кого-то из царевичей, то ли Дмитрия, то ли Василия, претендовавших на престол. Народ более стоял за Дмитрия. В памяти людей было еще живо, как Государь всея Руси Иван III в блеске всего собравшегося двора, бояр, духовенства вошел с пятнадцатилетним внуком Дмитрием в Соборную церковь Успения и, посадив его между собой и митрополитом и прослушав молебен, произнес: «Отче Митрополит! Издревле Государи, предки наши, давали Великое Княжество первым сынам своим; я также благословил сына моего первородного Иоанна. Но по воле Божией его не стало; благословляю ныне внука Дмитрия, его сына, при себе и после себя Великим Княжеством Владимирским, Московским, Новгородским, и ты, отче, дай ему благословение». Дмитрию велено было ступить на амвон, и после благословения Государь, приняв венец и Мономаховы бармы из рук Первосвятителя, возложил их на внука. Москва торжествовала. Три дня, не прекращаясь, шли празднества; три дня по церквам проходили торжественные богослужения; на вынесенных перед дворцом царских столах не убывало угощений, и юный Дмитрий в великокняжеском облачении собственноручно ковшом разливал питье (что как раз более всего и запоминается в народе и определяет, к сожалению, к великому сожалению, его мнение о том или ином властителе); счастлива была Елена, счастлива была тверская княгиня Анна, князь Рязановский и князь Патрикеевы, гордившиеся древностью своих знаменитых родов. Не забыт был и Иоанн, отец Дмитрия, в память его прошли поминальные молебствия, и отцы церкви, посоветовавшись, готовы были канонизировать его в святые.

Об этом и вспоминая теперь собравшийся под кремлевской стеной напротив помоста мастеровой и торговый московский люд. И как это всегда бывает при подобных случаях, толпа невольно и всё сильнее самовозгоралась тем страшным чувством (его иногда еще подменно именуют патриотическим, смешивая понятия совершенно разные и несовместимые), которое, захватив, способно повести людей на любые неразумные деяния. «Не дадим! Не позволим роду греческому управлять нами!» — хотя и роб-

ко, но уже раздавались голоса в толпе. Они основывались на том, что сын Софьи Василий не провозглашался всенародно Великим Князем, и ни в церкви Успения, ни где-либо еще на него не возлагались ни царский венец, ни Мономаховы бармы; он только (и то с робостью) был объявлен Великим Князем Новгорода и Пскова, и на возмущение псковитян, требовавших Дмитрия, Иван III с дерзостью ответил: «Разве я не волен в моем сыне и внуке? Кому хочу, тому и дам Россию. Служите Василию!» Но даже и об этом народ почти ничего не знал, а если и знал, то лишь понаслышке, и тем более — был недоволен и Софьей, и Василием. Так по крайней мере рассказывал Иоанну инок Вассиан, и так представлял себе все сейчас Иоанн; и пока, напрягаясь воображением и мыслью, следил за возникавшим в толпе волнением, все должное происходить на льду происходило своим чередом, к реке спустились стрельцы, конные ратники и выстроились в каре перед помостом, а за ними по проторенной уже от Водовзводной башни колее вели закованных в цепи князей Патрикеевых и Ряполовского. Измученные дознаниями, то есть пытками, и под пытками же оговорившие себя, они уже не напоминали князей. Однако в народе их сейчас же узнали, и толпа, ожидавшая одно, но получившая другое, замешалась и притихла, а когда все от той же Водовзводной башни начали спускаться к реке духовенство, бояре и Государь со всем своим разодетым, словно на праздник, двором, и вовсе — никто уже не смел ничего сказать. Государя встречали поклонами. Хотя он был уже стар и отнюдь не молодецкато, как бывало, держался в седле, но рыжий с пролысиною на лбу и в белых чулках конь под ним игриво гарцевал, клоня голову и колесом выгибая шею. В собольей шапке и шубе, полы которой кокетливо отворачивались, Государь производил то величественное впечатление, какое, казалось, только и было достойно российского престола; чувство величия, а вернее, причастности своей к этому величию передавалось народу и подменяло в нем желания одни — возмущения и протеста — желаниями другими — поклонением и покорностью (что, разумеется, свойственно не только людям русским, но и вообще любому народу и в психологическом плане всегда используется против него). Рядом с Государем, чуть приотстав и тем же игривым аллюром, продвигался юный Василий. Не объявленный еще Великим Князем, но уже в великокняжеском убранстве, он и в самом деле ехал словно на торжества; ничем пока не омраченное лицо его выглядело открытым и просветленным, он был еще чист и душой, и помыслами, и, оберегаемый Софьей и Государем, и всей той (греческой) просвещенностью, которая уже теперь словно бы возносила его над забитостью россиян (он и войдет затем в историю как просветитель, вернее, покровитель всего западного, что хотя и робко, но уже начало проникать в Россию, а главное, пристрастится к охоте, застольям и роскоши, уподобясь иным курфюрстам и королям), готов был теперь же принять царский венец. За ним в санях ехала его мать, Софья, с вельможными греками, составлявшими ее свиту. Но ни Дмитрия, ни Елены не было видно; они сидели взаперти, под домашним арестом, и могли лишь догадываться по набатному звону, что должно было происходить под кремлевскою стеной на Москве-реке.

А происходило следующее: Государь с наследником, окруженные свитой, выдвинулись прямо по центру перед каре, дьяк огласил приговор, обращаясь более к народу, чем к осужденным, и несколько дюжих стражников, со старанием решивших выполнить волю Государя, бросились к обреченному князю и потащили его к помосту (в отношении Патрикеевых было уже обговорено с духовенством, что их разведут по разным обителям и постригут в монахи). Князь Симеон Ряполовский противился, гремел цепями и с гневом оборачивался на Государя. Он хотел прямо в глаза что-то сказать своему мучителю, но стражники, молодые и сильные, не давали ему остановиться. Они, как быка на бойне, завалили князя на помост и прижали к доскам; даже почувствовав, что он смирился с участью, только чуть поослабили, но не отпустили его. А рядом с помостом и обреченным стояли уже священник и палач. Священник прочитал молитву, палач вскинул топор, и отсеченная голова князя, отскочив на лед и зацепившись у края проруби, медленно начала сползать в нее, окрашивая воду. Иоанну казалось, что все теперь смотрят лишь на эту голову, на Государя и наследника, словно поведением своим они еще должны были

объяснить что-то. Наследника со рвотой, сняв с коня, увели за каре, но Государь?.. Государь был невозмутим. Он даже не обернулся на сына. Сострадание к ближнему — нет, такое не для государей; властитель, позволивший себе сострадать, то есть уравниваться в правах со всеми, не властитель. Разумеется, не словами, а всей своей невозмутимостью и выдержкой Государь говорил об этом; он преподносил урок Василию, но в еще большей степени Иоанну, умевшему, как никто другой, оценить силу и величие духа своего династического предка. Он восхищался дедом, находя в нем пример для подражания, и обычно на этом и завершался его интерес к казни; но теперь здесь, в Коломенском, словно что-то подменилось в сознании Иоанна; прорубь, помост, Государь, Василий, — все, как живое, продолжало стоять перед глазами, и он уже не с высоты кремлевской стены смотрел на происходившее, а был рядом с помостом и прорубью и, будто в чашу с кровавою болтушкой, вглядывался в нее. Обезглавленное тело князя было уже затолкано баграми под лед, Государь, придерживая гарцующего коня, вместе с двором и боярами удалялся к Водовзводной башне, разъезжались ратники, расходился народ, но Иоанн, словно и в самом деле все происходило не в воображении, а наяву, продолжал стоять у края проруби и смотреть на нее.

## XLV

Да, да, нет ничего бесконечнее, чем глухая, темная зимняя ночь — хоть для царя, хоть для простолюдина, когда кошмары и прояснения от них, перемежаясь и вгоняя в холодный пот, обрушиваются на человека и, как в тисках смерти, цепко, удушливо держат его. Именно в таком состоянии и пребывал теперь Иоанн, возбужденный воспоминаниями, видением настоящего и будущего. Он то вновь принимался судорожно шарить перед собой руками, словно возле кровати и в самом деле стоял кто-то, готовый зловеще наклониться над ним, то откидывался на спину, и тогда видение, только что, казалось, разрушенное и отстраненное, опять и с еще большей реалистичностью представало перед ним. Иоанн будто не отходил от проруби, странно дожидаясь, когда над кровавой кашицей всплывут либо голова, либо туловище казненного; но вместо отрубленной головы князя из кашицы вдруг всплыла юная голова царевича Дмитрия и с каким-то светлым будто и потому особенно действенным укором взирала на Иоанна. Иоанн хотел было заслониться от нее, уйти, убежать, но и прорубь, и голова царевича в ней, словно привязанные, двинулись за ним, вопрошая: «Свое ли взял, как утверждаешь, по Божьему ли изволению воцарился?» Иоанн хотел было ответить, что «свое, по Божьему», то есть теми словами, какими отвечал Курбскому, обосновывая свое право на власть; но убежденности той, какая требовалась, чтобы произвести их, и с какою Иоанн писал Курбскому, — убежденности той не было, он чувствовал себя будто бы уличенным в подлоге, будто обнаженным перед толпой, и эта-то обнаженность и заставляла ежиться и искать укрытие. «Нет, мы не возжелали ни у кого отнять царство, — беззвучно, торопливо и гневно бросил он смотрящей на него из кашицы голове царевича, — но взяли нам принадлежащее по благословию прародителей и родителей своих!» «Ну а родители-то, родители?» — не унималась голова Дмитрия. Столь дерзко еще никто не осмеливался говорить с Иоанном, и он с удивлением даже будто откачнулся, воскликнув, что кому же неизвестно, что свершается в жизни лишь то, что угодно Богу, и не людям, чей век — миг, судить о Его воле! Но вопрос заключался в ином, и уже через мгновение Иоанн ясно почувствовал это. Если истлевший царевич оттуда, из могилы, все еще подает знаки обиды, то — забыта ли история сия, сие страшное узурпаторство боярами, князьями, духовенством, и не это ли дает им основание для сомнений, заговоров, измен? Иоанн почти физически ощутил, что прикоснулся к самой сердцевине проблемы, и уже не прорубь и голова царевича в ней, а сонм убиенных и не убиенных еще им бояр, воевод, князей стискивающим полукольцом окружал его. Он пятился теперь от этого сонма, чувствуя бессилие и озлобляясь в нем, и уже не видениями, а реальностью, рассудочно все расставляя в ней, старался нащупать истину, которая укрепила бы его в его прежней убежденности.

Он уже не лежал, а сидел на кровати, свесив к полу босые ноги, и в

этом положении, избавлявшем его от кошмаров, безбоязненно, даже будто не замечая темноты, смотрел перед собой; смотрел именно в эту густоту ночи, живо воспроизводя на фоне ее совсем иные, чем окружавшая его действительность, картины жизни. Во дворцах всегда есть охочие до «восстановления истин» люди, и память у сих людей, нужная им более для интриг, чем для восстановления истин, может сравниться лишь с пространственным летописным сводом; не только носители фактов, но искусные, как это обычно кажется им, психологи, они более чем услужливо и, разумеется, в определенном и желательном для себя свете успели еще в юные годы преподнести Иоанну историю его отца и деда, приобщив таким образом к борьбе, которая велась за великокняжеский трон, и вызвав, именно вызвав в неокрепшей, формировавшейся душе потребность к насилию, жестокостям и воле. То, что тогда, в детстве, окружало будущего русского самодержца и было названо затем историками боярским правлением и что более чем преподносило наглядный урок (ведь вблизи трона, помогая его, люди во все времена безумствовали, как безумствуют и теперь), пока не затрагивалось Иоанном, он словно бы знал, что впереди у него было достаточно времени — две недели, — достаточно ночей, чтобы не раз и не два прокрутить перед собой всю от пеленок и до коломенских бессонниц свою царскую жизнь; но сейчас ему хотелось разобраться только в прошлом, только в том, насколько крепки и обоснованны его права на власть и не значатся ли и в самом деле за отцом и дедом те страшные неправды, о которых так устойчиво твердит молва и в народе, и среди духовенства и бояр. «Так свое ли взято или не свое, по Божьему ли изволению или только благословию прародителей и родителей своих?» — вот вопрос, на который Иоанн не то чтобы хотел ответить себе, но ответить всем, кто позволял еще сомневаться, чтобы утвердить среди них одну, свою и на веки вечные правду.

Но не дивно ли, чтобы жизнь повторилась; повторилась в тех же подробностях, в каких представала перед участниками, вознося одних, ниспровергая других, утверждаясь силой, величием и творя извечную свою несправедливость? Ведь память, она только в мыслях способна воспроизводить минувшее. Но кто может поручиться, что воспроизводящий это минувшее, то есть жизнь, не ощущает себя участником ее и не испытывает столь же болезненно и остро, уподобляясь современнику, всю тяжесть происходящих событий? Дивно, но факт — через душу может проходить все, что способна восстановить или воссоздать человеческая память, и эта нереальная будто, но в то же время более чем реальная жизнь, перенесенная с пространства земли на пространство ума, часто оказывается куда драматичней (по воздействию и спрессованности событий), чем представала перед глазами современников, то возбуждая, то убаюкивая их чувства, интересы и мысль. Казалось бы, что могли сказать Иоанну те горстки тлена, покоившиеся под надгробными плитами в фамильной усыпальнице царей (что, в сущности, только и осталось материального от его отца и деда), но он думал о них не как об ушедших, но как о живых, творящих судьбу свою и державы (конечно же, с изволения Божьего и по воле Его). В маленький, замкнутый квадрат дворцовой спальни в Коломенском, в которой мучился теперь бессонницей грозный российский самодержец, в эту непроглядную перед ним тьму, в которую он смотрел, в самую ее гущину, раздвинув ее, перенесены были лишь силою воображения и палаты деда, Великого Князя Ивана III, и отца, Великого Князя Василия Ивановича, со всем его пышным двором, боярскою думой и советниками, светлицы Софьи, Соломонии, Елены, темница Дмитрия и келья его матери, насильственно постриженной в монахини, а говоря иначе, весь тогдашний Кремль с его великокняжеской и придворной жизнью, освещенной духовными иерархами, — все, все уместилось теперь в пространстве спальни, в которой со свешенными к полу босыми ногами, застывая, продолжал сидеть на кровати одержимый думами самодержец.

## XLVI

Известно, что нет в мире исторического события, которое бы однозначно оценивалось в официальном изложении и во мнении народа. О восхождении Василия на престол молва гласила, будто Великий Князь и Го-

сударь всея Руси Иван III, лежа уже на смертном одре, велел привести к себе из заточения Дмитрия, повинился перед ним и сказал: «Иди, правь государством». Дмитрий растроганно прослезился, простил все Великому Князю, но как только вышел из дворца, был тут же схвачен людьми Василия и вновь заточен в темницу. По официальной же версии, напротив, выходило так, словно никакой борьбы за трон между царевичами вовсе не было, а все разрешилось полюбовно, мирно, будто Дмитрий, сославшись на хилость здоровья, удалился в свои вотчины и, отшельнически запершись в них, то есть добровольно отгородившись от мира, повелел править Василию. Внешне это подтверждалось тем, что ни Дмитрий, ни его мать Елена и в самом деле не появлялись при дворе (куда, впрочем, запрещено было появляться им еще Иваном III), что никто вотчин не отнимал у них и не передавал никому, что державу принял Василий без всяких пышных обрядов и что в довершение ко всему, надев венец Великого Князя и Государя, поровну разделил казну и принародно (и с охраной) отправил Дмитрию его долю. К тому же никто не снимал с Дмитрия его великокняжеского титула, и когда спустя три года он тихо скончался в этом своем именно добровольном будто отшельничестве, ему были устроены пышные царские похороны. Россия увидела его, как сообщают летописцы, на «великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме Святого Михаила и преданного земле подле гроба родителя». Весь великокняжеский двор следовал тогда за гробом, все сожалели о ранней, безвременной кончине, лили страдальческие слезы (как, впрочем, традиционно продолжают лить и теперь, сначала, при жизни, убывая, а затем, после смерти, преклоняясь перед убиенным и возвеличивая его), и сильнее всех, казалось, был опечален Василий. В горести он даже на несколько дней отложив охоту, к которой уже тогда, уподобляясь неким курфюрстам и королям, как отмечалось, начал пристращаться. В общем, если верить изложению, все выглядело столь благостным, что можно бы и не выяснять ничего и не волноваться Иоанну.

Но ведь между тем, как исторические события подаются на общественный стол жизни — в официальных ли версиях или в народном сочинительстве — и тем, как все происходит в действительности, всегда есть различие, которое в корне иногда изменяет отношение к ним. Действительность же в данном конкретном случае была таковой, что если бы перед современниками (как, впрочем, и перед ранними да и позднейшими историками) все предстало в истинном своем свете, то в поступках Василия, добивавшегося и добившегося-таки трона (нет, нет, и победителей судят; и не всегда лишь по прошествии десятилетий, но и язвительной молвой современников), не только не обнаружилось бы столь воспеваемые в нем позднее стремления к доброте, благородству и справедливости (в этом отношении он более чем достойный предтеча Грозного), но проявились бы во многом неведомые дотоле на Руси утонченное коварство и утонченная жестокость как по отношению к племяннику, царевичу Дмитрию (и в первую очередь к нему!), так и по отношению к Соломонии, первой своей супруге, с которой в любви и согласии прожил более двадцати лет, а потом насильственно постриг в монахини. Власть его была таковой, что за один лишь «непригожие речи» он мог приказать отрубить голову любому, как поступил со знатным придворным Берсенем Беклемишевым, но — вернемся-ка лучше к его воцарению, ко всем тем перипетиям, крими отмечено было это событие, к той действительности, в которой столь странно будто бы на первый взгляд так необходимо было Иоанну разобраться накануне задуманных им державных перемен. Он, в сущности, пытался прикоснуться к той страшной закономерности, по которой, сколько бы ни уверяли философы, что главенствующую роль в событиях всегда играет народ, выходило, что история человечества, как, впрочем, и история России, то есть державы, Богом будто бы данной ему в управление, есть всего лишь непримиримая и кровавая борьба за власть — династических ли претендентов, отдельных ли (политических, как мы бы сказали теперь) личностей или групп и слоев населения, выдвигающих на передний край этой борьбы своих представителей; причем успех в подобной борьбе обычно приходил не к тем, кто действовал явно и по справедливости, а к тем, кто умел амбициозные свои притязания искусно прикрыть тогою неких общих будто бы интересов и привлечь на свою сторону народ. Борьба



двух царевичей, Василия и Дмитрия, тоже в этом плане не была исключением; она велась не столько даже за престол, как это было на самом деле, сколько будто бы за чистоту православной веры (как должно было выглядеть в глазах общественности) против «жидовствующей» ереси, и при этом сторона корневая, то есть князья тверские, потомки Всеволода Великого, поддерживаемые царской невесткой Еленой и ее сыном Дмитрием, возведенным уже в сан Великого Князя, объявлялись пособниками еретиков, а значит, и изменников народному делу, в то время как сторона греческая, Софья со своим сыном Василием, поддерживаемые главными борцами против еретиков игуменом волоколамским Иосифом Волоцким и новгородским архиепископом Геннадием, — греческая сторона выступала хранительницей чистоты православной веры, а значит, и народности.

Но была ли «ересь» на самом деле или сии так называемые «еретики», высказавшись за реформу Церкви, намеревались всего лишь вернуть ее к ее изначальной сути, когда она выступала действительной защитницей народа, а не была в услужении у властей и не стремилась к обогащению и стяжательству в угоду и во ублажение духовных иерархов (вопрос более чем серьезный, и о нем еще будет время и место поговорить); но как раз желание приблизить Церковь к Учению, то есть к догмам, на которых она основывалась, как бы ни казались они кому-то хоть тогда, хоть теперь несовершенными, совершенными или сверхсовершенными, — желание это наталкивалось на противодействие тогдашних магнатов российского православия, и они, не хотевшие терять ничего из своих приобретений, дававших им право не только на духовную, но во многом и на светскую власть, включив в понятие «чистоты веры» незыблемость установившихся церковных порядков, а говоря иначе, подменив истину ложью, повели гонения на «еретиков». То, что действительно было судьбоносным для народа и могло принести блага ему, было названо антинародным, а то, что могло лишь узаконить рабство или, вернее, привести к крепостничеству, на столетия вперед искалечив души людей, придавив в них, словно могильными плитами, чувство гражданского достоинства, руками ретивых и ревностных будто бы к службе церковников возносилось на пьедестал. К подобному фарисейству не раз еще будут затем прибегать в нашей истории деятели разных уровней и призывать в соучастники народ для травли инакомыслящих, а потому неугодных будто бы обществу личностей; к подобному же страшному делу (осознанно ли, неосознанно ли — вопрос другой) как раз и подготавливал теперь себя Иоанн, чтобы, подменив понятия, сначала привлечь на свою сторону народ и расправиться со строптивым боярством и несговорчивым духовенством, а затем с помощью уже бояр и князей (ведь опричина в основном только и состояла из них, да еще иностранных ловцов богатства и славы, которым и вовсе ничего и никого не жаль было на Руси по их собственным же заверениям) расчитаться с народом. Он хотел только одного: власти, власти и власти, как скупец золота, чтобы услаждаться его скопищем и блеском; и как скупец, постоянно думающий о своих подвалах, в которые могут проникнуть воры и разграбить их, и о засовах, способных уберечь от разграбления, принужден был дрожать за это свое нематериальное, основанное лишь на «Божьем изволении» да на «благословении прародителей и родителей» помазание, более беззащитное и подверженное воровству. Но тут одно только надо иметь в виду, что Иоанн, разумеется, не мог столь ясно и с таким откровением думать о своих венценосных устремлениях; подобное откровение лишь обнажило бы перед ним весь цинизм его предстоящих дел, тогда как известно, что никакое зло не совершается под знаком зла, но всегда несет в себе некое заложное оправдание; и если его нельзя обосновать политическими или философскими доводами, то для облегчения все переводится в стихию житейских дел, как это и происходило теперь в сознании Иоанна, когда вместо обобщений, вместо исторической жизни людей, выраженной в закономерностях, он брал за основу личности, то есть явления частные, которыми и заслонял все перед собой. Манипулировать судьбами народов всегда опасно и нежелательно, потому что кроме сиюминутных и так называемых зависимых оценок есть еще категории оценок исторических, беспристрастных и неумолимых, как возмездие; манипулировать же судьбами личностей, унижая или возвеличивая их, бывает не то чтобы проще и безопаснее, но тут всегда есть воз-

возможность, объявив незыблемым общий монолит жизни, представить негодные личности некими (и всего лишь!) отщепенцами, изменниками общенародного дела. Да к тому же частность в масштабах державы — это всего лишь частность, и здесь — какой же спрос за ошибки? «Лес рубят — щепки летят», — столетия спустя, обосновывая свои жестокости и все так же печась будто о сохранении монолита народной жизни, скажет новейший российский самодержец.

Но дело не в параллелях и даже не в истоках, берущих начало будто бы от царствования Иоанна, как утверждают некоторые ученые, успешные достаточно уже пустить в обиход это свое «историческое» изыскание; корни сего явления гораздо глубже, их можно обнаружить не столько даже в отечественной, сколько в мировой истории человечества, в которой если и повторяется что, то оборачивается для народов (и что особенно характерно для нашей, отечественной) отнюдь не фарсом, а еще более ужасающей трагедией, так что Иоанн для своего времени — это всего лишь волею случая вознесенный на вершину пирамиды насилия самодержец, чтобы, завершив эру одних бед, заложить фундамент для других и не менее затажных и губительных. Но, повторяю, подобный исторический взгляд на прошлое нельзя автоматически переносить на Иоанна. Видя или, вернее, сознавая себя на завершающем венце пирамиды, на котором вполне мог бы оказаться и любой другой Иоанн, он, разумеется, и мыслил иначе, и доискивался иных истин. В расщеплении общественных интересов и целей, а проще — в той политической обстановке, заложенной еще дедом и продолженной затем отцом, в какой он принужден был действовать, ему нужен был стержень, чтобы соединить несоединимое, и коль скоро в отыскании сего стержня симпатии его склонялись к насилию (как если бы и в самом деле общество могло управляться только насилием), то и державный взор его, когда теперь, свесив с кровати босые ноги к полу, он сидел в спальне посреди сгустившегося ночного мрака, — взор его был устремлен именно к этим основополагающим как будто бы для жизни государства событиям недавнего и живого еще в памяти многих прошлого. С казнями, сколь бы изощренно они ни проводились, он понимал, не завершалось никаких дел; убивались люди, но оставались их цели, их связи, то есть сторонники Дмитрия, Елены, князей Патрикеевых, Рязполовского, их неотмщенные обиды, оставались сторонники «еретиков», прятаящиеся по монастырским кельям, и эти-то связи, да в стократ преувеличенные, как раз и вставали теперь перед возбужденным воображением Иоанна.

## XLVII

Иван III, дед Иоанна, покидал сей мир с тем убеждением, словно непременно должен был вернуться в него. Почувствовав после похорон супруги, что и его дни сочтены (ему довелось лишь на два года пережить Софью), он спешно принялся завершать дела, чтобы в надлежащем, как полагал, порядке передать сыну державу; и среди этих дел, требовавших завершения, было три главных и неотложных: завещание, по которому великокняжеская власть должна была перейти к сыну Василию (и что сопряжено было, разумеется, с определенными душевными усилиями), собор на «еретиков», на созыве которого настаивали церковные иерархи, подстрекаемые главным обличителем Иосифом Волоцким (на что тоже не просто было решиться, потому что затрагивалась судьба и без того опальных уже Дмитрия и его матери, Елены), и женитьба Василия, так как и устройство личной жизни наследника являлось составной частью того порядка, обеспечением которого и был озабочен умирающий Государь. В полной уверенности, что совершает именно то, что нужно, и что принесет лишь мир и порядок державе и укрепит в ней великокняжескую власть, он даже отдаленно не представлял, во что должен был ввергнуть Россию и что последствия от сих его деяний окажутся таковыми, что ни Василию, ни Иоанну, ни народу в целом за столетия не под силу будет преодолеть их. Он не развязал узлы, а, напротив, лишь сильнее стянул их, предопределив как предтечу и утонченную жестокость Василия, и последовавшее за ней тиранство Иоанна, и гибель династии, и времена смут и междоусобиц, вконец обескровивших и разоривших русскую землю,

и еще многое и многое, что и поныне неослабно отдается в народе, и первым таким узлом как раз и явилось завещание, узаконившее несправедливость над Дмитрием и закрепившее титул Великого Князя за Василием. Верх одержала сторона греческая, и на годы, на столетия затаилась противоположная, корневая, затем так ли, иначе ли (и при разных правителях) дававшая о себе знать, и хотя дело касалось вроде бы только людей родовитых, боярских и княжеских семей, оспоривавших свои по первородству права, но перенесенный в народ и там, в гущу его, получивший уже иную окраску, спор этот, отголоски которого ясно слышатся и теперь, семенем нескончаемого раздора был брошен на почву державы.

И словно бы в подкрепление этого спора в конце 1504 года был созван новый (второй по счету) собор на «еретиков».

На первом, когда ревностные сторонники «чистоты веры» потребовали пыток и казней для «еретиков-раскольников», Великий Князь Иван III, находившийся тогда в самом зените своего могущества и славы, совместно с Первосвятителем митрополитом Зосимой, о котором по одним источникам известно, что он был будто бы тайным сторонником, а по другим чуть ли не покровителем и главою «еретиков», не решился на подобное противохристианское дело. «Еретиков» только осудили на заточение и возили затем под анафемские заклинания Архиепископа Геннадия по Новгороду, «посадив их на коней лицом к хвосту, в одеждах вывороченных, в шлемах берестовых, острых, какие изображены на бесах, с мочальными кистями, с венцом соломенным и надписью: «Се есть Сатаниново воинство!». Но желаемого, с точки зрения ревнителей веры, не было достигнуто, «ересь» продолжала распространяться, и раскол церковный, соединенный с расколом династическим, то есть борьбой исконно корневой и греческой сторон за престол, — раскол этот грозил обернуться смутой и расколом державы, и миролюбивый и мудрый Великий Князь и Государь Иван III, каким он старался выглядеть на царстве (и каким только и представляют его историки, забывая, что не Иоанна IV, а сперва именно его, Ивана III, народ окрестил Грозным), не нашел ничего лучшего, чем прибегнуть к жесточайшему насилию, словно тогда уже не было известно, что любое насилие способно вызвать лишь противодействие, лишь желание не прекратить, а усилить борьбу. Он хотел умиротворения, но костер, запылавший на полом месте в Китай-городе, под стеной, на котором в клетке сжигали «еретиков», — костер этот, зловеще озаривший сходящего уже в могилу Великого Князя, затухнув перед очевидцами сего преступления, не испепелил, а лишь высветил то, что в столетиях затем продолжало тревожить умы и сердца людей сомневающих и несогласных.

Но оставалось еще третье — женитьба Василия. Наследнику шел уже двадцать пятый год, и Иван III не хотел покидать сей мир, не исполнив и этого святого родительского предназначения. Он вознамерился женить сына по своему подобию на невесте иностранной и принялся с поспешностью рассылать гонцов по герцогствам и королевствам Европы. Пригладев, наконец, дочь датского короля Елисавету, которая, как это казалось, брала всем: и красотой, и умом, и, естественно, знатностью (к тому же, предвидя нескончаемое противоборство России с северными своими соседями, надеялся приобрести для державы крепкого и надежного союзника), он приступил к сватовству и более полугодом вел, в сущности, безуспешные переговоры, всячески ублажая и одаривая королевского посланника при дворе. Но шведы, разглядевшие в браке этом усиление России, вступили в противоборство, в результате чего Елисавета в угоду именно Швеции была отдана замуж за курфюрста Бранденбургского, а Ивану III, бесцельно потерявшему время и почти уже не встававшему с постели, оставалось только одно — подобрать невесту для сына в отечестве и, утешившись сим вынужденным за недостаточностью времени и сил на лучшее супружеством, с миром сойти в могилу. В пользу такого решения, как ни странно, выступила и греческая сторона, особенно близкий к Василию знатный боярин-грек Юрий Малаго. У этого боярина была красавица дочь, и возможно, он питал здесь определенные надежды, но, как и всегда в таких случаях, от замысла первоначального до его воплощения все настолько переменилось, что надеждам грека, как, впрочем, и желанию Василия, коего нельзя исключить, не дано было осуществиться. Ведь не для

Иоанна IV, как об этом гласит молва, а для его отца, Великого Князя Василия, была впервые организована так называемая ярмарка невест. Со всех концов России в Кремль было свезено более тысячи невест благородного происхождения, и их, соответственно одетых и прибранных (и при стечении глазющего люда, которого хлебом не корми, а дай зрелищ), проводили перед царским дворцом, где у входа, на крыльце, уместившись в креслах, восседали Государь и наследник, торжественно окруженные боярством и духовенством, и, решая всего лишь дела будто бы семейные, во многом по сути своей решали судьбу России.

Предварительно осмотренные, то есть пропущенные через сито до-тошных и полагавших, видимо, себя искусницами в сем деликатном деле всевозможных придворных мамок, невесты в сопровождении родителей поочередно подходили к восседавшим в креслах Государю и наследнику, останавливались перед ними, кланялись, трепеща и выжимая улыбки, и, несмотря на сию их девичью стесненность и скованность, а может, как раз благодаря этому своему душевному состоянию, изрядно за столетия порастраченному в народе, но все же вполне по целомудренности своей понятному и нашему поколению, — благодаря, может быть, именно кротости и стеснительности, всегда украшающих любого человека, особенно молодого и особенно девушку, все казались настолько привлекательными, что Василий, ослепленный лепотою их фигур, лиц, одежд, причесок и украшений, то и дело порывался встать, чтобы взять за руку избранницу (да где уж тут было до дочери боярина-грека), но Государь... Государь слабым старческим движением останавливал его. Даже в эти минуты выбора он не мог позволить себе расслабиться и подчиниться простым человеческим чувствам. Он словно бы примерял невесту не к сыну, но к державе, и не девичьи прелести и не лепота их одежд и лиц волновали его; он весь был озабочен политическим устройством власти, точнее, сохранением того государственного порядка, который, сообразовав, в неизменности хотел передать сыну, и в этом смысле выбор, в сущности, был уже сделан им. Чтобы не плодить претендентов на великокняжеский титул, он твердо положил взять невестку не из родовитой семьи, а из семьи какого-либо незнатного или не очень знатного сановника, когда бы и сохранилась видимость престижности и в то же время благодетельствованное таким образом семейство было бы, во-первых, довольно своим возвышением и, главное, не могло бы претендовать ни на что большее; и выбор в конце концов как раз и пал на дочь подобного сановника, Юрия Сабурова.

## XLVIII

История — явление неподсудное (хотя бы уже потому, что ни одно историческое событие не предстает перед современниками в том своем очищенном виде, в той оголенности замысла и ошибок, каким открывается затем перед взглядом грядущих поколений, но всегда бывает обрамлено словно бы специальным, затеняющим все слоем сиюминутных, временных, как можно было бы выразиться еще, интересов и страстей, уводящих умонастроения людей от истинного осознания происходящего); ее можно только изучать и комментировать, вынося из познанного лишь тот единственный урок, который разве что только и мог бы привести человечество к благоденствию, и смысл этого и донине, впрочем, непознанного урока заключен в том, что жизнь всякого сущего на земле естества подчинена определенным законам и не терпит насилия и что разум дан человеку не для того, чтобы своевольничать и тиранствовать над всем и вся, на какую бы высоту власти судьба ни возносила его, но для того, чтобы, осознав естественные потребности и законы бытия и согласуясь с ними и только с ними, помогать течению жизни, а не громоздить завалов на пути развития народов, государств, обществ, личностей. Но правители редко когда сообразуются с требованиями этих законов. Интересы сиюминутные, то есть ближайшие интересы трона всегда оказываются для них выше интересов народа, и трудно сказать, по какому бы пути развития двинулась наша история (по крайней мере не по тому, по которому пришлось пройти российскому люду, втянутому во всевозможные смуты, духовные и социальные распри, всякий раз служившие лишь преддверием тоталитаризму), если бы, скажем, мудрейший вроде бы (повторюсь) для

своего времени властитель России Иван III не отказался бы от своего первоначального замысла и не отверг бы Дмитрия (читай: корневое начало) и не бросил бы эту страшную ветвь сомнений и раздора в грядущее; и не согласился бы на сожжение «еретиков», что только подкрепило раскол и придало ему некую даже будто необратимость в столетних буднях религии и народа. Так что же тут зависело от Великого Князя, мог ли он со столь реалистической последовательностью предугадать ход последующих событий, и хватило ли бы у него сил и мужества, отказавшись от интересов борющихся при дворе сторон за власть, подняться до понимания естественных основ и потребностей жизни, и можно ли (и в чем?) упрекать его, отыскивая промахи или злой умысел в его деяниях или же, завязав глаза и поддавшись некоему предполагаемому в нас историческому достоинству, возводить подпорки для оправданий, объясняя все (для удобства) формулой о неизбежности движения? Но если в деле с Дмитрием и «еретиками» Иван III еще колебался, быть или не быть сим великим неправдам, и мог приостановить или изменить ход событий, то в затеянных им смотринах невест, сватовстве и женитьбе сына, то есть, по существу, событиях семейной значимости (но в которых как раз и таилась вся взрывная сила Божьего гнева, как говорили тогда, или возмездия), — в этих сугубо семейных будто бы торжествах, задуманных и проводимых им на виду уготованной уже для него могилы, все представлялось ясным, объяснимым и не вызывало никаких сомнений. От бояр, духовенства, народа — от всех источались только благословения. Но время, сдерживающее полог ослепляющих надежд и страстей, — время, оголив сердцевину сего запавшего в память людей события, явило совсем иной образ и самого Великого Князя, и суть его родительского попечения. Теперь полагают, что именно тогда и что тем именно торжеством Иван III открыл дорогу возмездию — и на себя, на свой великокняжеский род, и на Россию, — говоря иначе, сделал тот шаг, который был предопределен если не историей, то по крайней мере не иначе как некоей высшей силой, недоступной для человеческого познания; и хотя суждение подобное, что и толковать, зыбкое, основано скорее на представлениях мистических, чем на реализме и потому не может служить аргументом ни в научных, ни в салонных спорах и разговорах, и все же мысль о неминуемости возмездия за любую совершенную несправедливость, — мысль эта, на мой взгляд, не так уж и удалена от реализма, если повнимательнее и без предвзятости присмотреться к историческим судьбам народов и государств. Воздается, да, да, воздается за все, и сколько бы опровержений ни обрушилось на меня за такое утверждение, остаюсь убежденным в том, что именно Иван III своими деяниями и по какой-то, может быть, парадоксальной, злой воле предопределил и будущее тиранство, и раскол, и возмездие, со страшной силой обрушившиеся затем на великокняжеских вельможных холопов и чад, сколько на непритязательный, повинный лишь в беспредельном своем терпении многочисленный и разнообразнейший российский люд.

Истоки неустроенности русской жизни, причем неустроенности вековой, мы и теперь, к сожалению, как и во все прошлые времена, начинаем искать в пороках народа и чего только в таких случаях не приписываем ему; но ведь любой порок — дело наживное, и нетерпимость к возвышению ближнего пусть даже по таланту и трудолюбию, как и стремление к уравниловке, столь пронизавшие сегодня сверху донизу всю нашу общественную жизнь, — нетерпимость эта, эта неизлечимая в столетях чума придворной жизни, спускаясь кольцами волн в нищизнь, обездоленный люд и оборачиваясь уже здесь, в народе, в порок самоедства и ненависти, как раз и обессиливает нас и может в конце концов обречь на медленное и верное вымирание. Власть, какой бы крепкой ни была, всегда подозрительна; родовитость же кичится своей родовитостью. Обреченные с пеленок быть воеводами, властителями воли и духа тысяч людей и в золоте и камнях стоять возле тронов, да могут ли они согласиться хоть с малейшим посягательством на эти исконные будто бы свои права и со смиренным наблюдать, как будут их оттеснять от кормила государственной власти? Нет, и Иван III понимал это; и, понимая, не отсекал направо и налево головы бояр, как позволял себе позднее его внук, Иоанн; в основу великокняжеской политики была положена им (может быть, и под влиянием Софьи) некая европейская, если так можно выразиться, утонченность,

и смотрины невест, с невиданным дотоле на Руси размахом устроенные им для сына, как раз и явились ширмой, скрывавшей истинные намерения. Рядом с семьями родовитыми, уравниваясь с ними и тем унижая их, должно было стать семейство неизвестного сановника Сабурова, и не высшими интересами двора, а всего лишь девичьей красотой должен был решиться исход дела. Да, все выдавалось как произвольное, естественное, и когда поддерживаемый с двух сторон своими вельможными холопьями Иван III, поднявшись, подошел к Соломоне и соединил ее руку с рукою сына, стоявшие на площади народ, бояре взорвались ликующими возгласами, и не обвенчанная еще будущая великокняжеская чета, ведомая и сопровождаемая духовенством, торжественно направилась за благословением в церковь Успения.

Ликование продолжалось и после того, как молодые вышли из церкви — с просветленными, почти ангельски чистыми лицами, под стать, как говорили, друг другу по красоте, молодости, здоровью и предвкушению возвышенной и счастливой великокняжеской жизни. Народ любовался ими, переносил их внешнюю красоту или, вернее, полагая за ней красоту душевную, и уже на нее, на их душевную доброту и порядочность возлагая извечные свои надежды на будущее. Сии надежды — пожалуй, это единственное, что во все времена, как и теперь, придает людям энергию жизни, и, когда бывает, что уже и надеяться не на что, — красным крохотным огоньком они продолжают теплиться в народе и согревать людские сердца. До поздней ночи не пустела площадь перед великокняжеским дворцом, колокола усердно звали к вечерне, продолжительнее обычного длились по церквам молебствия, в которых воздавалась хвала Господу, престольным его святым угодникам-чудотворцам, а вместе с ними старому и молодому Великим Князьям и новообвенчанной Великой Княгине; красавице Соломоне, на которую не иначе уже как по велению Божьему пал выбор. Далеко не белолицая, с налетом восточной смуглости, с восточной же суженностью глаз, будто не очень заметной, но явно выдававшей некую изначальную ее иноплеменность, что, может быть, как раз и было самым выразительным и пленительным в ней, — входя во дворец для благополучия и счастья, она не только не принесла ни того, ни другого ни для Василия, ни для России, но бесплодием своим словно бы открыла дверь в эпоху грядущих тиранств, раздоров и смут. Сия полоса народных невзгод хорошо известна в истории и не требует подтверждений, как известна и роль Сабуровых и Годуновых, этих двух родов, ухидивших истоками к одному и тому же корню — выходцу из Орды мурзе Чета. Что заставило мурзу бежать из своих великоханских пределов, придворное ли против него интриганство, угроза ханской расправы или просто дела изменные в пользу Московии, что тоже вполне вероятно, так как, прибежав на великокняжеский двор, он тут же принял православие, получил надел и был всячески облагодетельствован государевыми милостями, — да, тут можно только гадать, выбрав один из вариантов, лучший или худший; несомненным же остается только то, что к исконным нравам великокняжеского двора, к доморожденным, позволительно будет выразиться, жестокостям привнесены были (теперь уже по родству, по крови, именно по крови) нравы и жестокости дворов Востока, и надо ли говорить, какой драмой и для бояр, и для народа должно было отозваться подобное слияние. Вслед за бесплодной Соломонией, словно бы для того лишь, чтобы завершить ее дело бесплодия, явился ко дворцу угличский убийца Годунов, кротостью и коварством взошедший затем на трон, но не сумевший по трусости и безволию удержаться на нем и уберечь державу от разорения. Но будущее всегда темно и неизвестно, и ни правитель, ни просто человек, если не помрачены умом, не станут ничего начинать из соображений зла; Ивана III, более сорока лет просидевшего на троне и достаточно научившегося распознавать и предугадывать в делах державы, трудно (без определенных, разумеется, сомнений) упрекнуть даже в простейшем — государственной недальновидности или слепоте; и все-таки — что-то же заставило его остановиться в своем выборе на Соломоне, то есть на семействе сановника Сабурова, а не на каком-то другом и столь же незнатном и безвестном, и тут опять невольно является мысль о возмездии, о некоей роковой будто неизбежности, наложенной то ли на великокняжеский только дом, то ли (но за какие грехи?) на Россию.

## XLIX

Историки говорят, что Иван III умирал спокойно, не мучаясь совестью, так как в порядке и могуществе передавал сыну державу, и что если что-то и могло волновать его, так только злобная измена казанского присяжника Магмет-Аминя, поднявшего мятеж и выступившего против России. Случилось же это почти сразу же после свадьбы Василия. Едва отшумели в Москве пышные торжества, как пришла весть из Казани, что там в день праздника рождества Иоанна Предтечи—традиционный день открытия ярмарки—люди Магмет-Аминя похватали, пограбили, поубивали русских купцов, пленили их жен, детей, а также пограбили и поубивали всех великокняжеских чиновников, находившихся в городе, и затем, собравшись в войско, двинулись в просторы России и осадили Нижний Новгород, громя и поджигая вокруг посады и монастыри. Отреченный уже как будто от жизни и не поднимавшийся с постели Иван III сам наставлял воевод, посылавшихся им для усмирения и наказания Магмет-Аминя (что как раз и дает повод историкам утверждать, что он хотел умереть подобно великому своему прародителю Дмитрию Донскому—государем, а не иноком), и хотя московские воеводы, имевшие под началом почти сотысячное войско против сорока тысяч казанцев, дошли только до Муромо и, не вступив в сражение, позволили мятежному присяжнику спокойно удалиться в свои пределы, но Великий Князь уже не узнал об этом. Он скончался холодной дождливой октябрьской ночью, в окружении лишь святителей, шептавших молитвы, бояр, присягнувших уже Василию, но по доброй памяти к умиравшему—первому, в сущности, российскому монарху и самодержцу—еще не хотевших оставлять его да новоявленной родни, не успевшей еще обвыкнуться со своим возвышением и державшейся с робостью, как и подобало, видимо, держаться ей. На высокой кровати, обставленной горевшими восковыми свечами, и с иконами Божьей матери и угодников-чудотворцев у изголовья, заключенных в золотые оклады и ризы, тихо, недвижно лежала его умирающая плоть, ничего общего уже как будто не имевшая ни с могуществом, ни с делами державы, но огоньком жизни, теплившимся в теле, продолжавшая еще цепляться за сущее, что переходило к сыну и представало перед затухающим взором в тех живых очертаниях, в каких только и может представлять человеческое бессмертие людям, уходящим в небытие.

Он то впадал в забытие, то открывал глаза и потусторонним, обращенным в себя взглядом смотрел перед собой. В таком состоянии—не лучше, не хуже—он пребывал уже более недели, ожидавшие его кончины были утомлены ожиданием, и мало кто верил, что в эту именно наступившую осеннюю ночь, когда Кремль, Москву и все вокруг нее заливало холодным дождем, душа Великого Князя отделится, наконец, от тела, и совершится то извечное таинство, через которое в свой срок проходит каждый, в царском ли достатке, в простонародной ли бедности протекала его жизнь. Ни Василий, ни его братья Андрей и Юрий, наделенные по Завещанию довольно богатыми вотчинами, уже не сидели неотлучно у изголовья умирающего отца; они время от времени то появлялись вместе, то поодиночке и, скорбно постояв перед тихо, даже блаженно будто угасавшим родителем, удалялись в свои покои, чтобы предаться там смирению и молитвам. Во всяком случае, внешне все выглядело так, как и должно проходить по христианскому обычаю, и, видимо, кощунственно было даже подумать, чтобы все шло иначе и чтобы при живом еще отце, еще не приняв дел державы, Василий предпринимал уже энергичные меры для укрепления своей грядущей власти. Но действительность, как подсказывает жизнь, движется чаще всего по своим, а не предписанным ей людьми законам, хотя бы и облеченным в святые заповеди церковью; движется более страстями, чем разумом, и Василий не первую уже ночь проводил в тайных советах с теми знатнейшими боярами, князьями Василием Холмским, Даниилом Щени, Яковом Захарьевичем (иногда приглашались еще казначей Дмитрий да великокняжеский духовник, архимандрит Андрониковского монастыря Митрофан), которые вернее всего — и перед Государем, и будто бы перед Богом — стояли за Василия, то есть, держа его сторону, возводили неправды на Дмитрия. Это они, в сущности, в сговоре с царицей Софьей подвели под казнь князя Ряполовского, под насиль-

ственное пострижение князей, отца и сына Патрикеевых, под заточение царевича Дмитрия и его мать Елену; и, с опаской озираясь теперь вокруг, старались заранее уже оградить и себя, и Василия от возможной не столько Божьей, сколько людской кары.

Бояре, однако, не столько разговаривали, сколько сидели молча, полуразвалившись на обитых бархатом государевых скамьях; время от времени им приносили еду, питье, чтобы подкрепиться, и тогда озабоченные их лица, отягощенные густыми клиновидными бородами, вдруг словно бы оживали, взоры обращались к Василию, и молодой престолонаследник в великокняжеском уже убранстве, готовый заменить истекающую волю отца во дворце волею своей, с пронизывающим прищуром ответно оглядывал их. В нем неосознанно поднималось то страшное (последствиями для приближенных) тиранское чувство подозрительности, что будто все окружающее всегда и во всем враждебно власти (и что в действительности недалеко от истины), какое неизбежно сопровождает или, по крайней мере, должно сопровождать каждого воцаряющегося на престол правителя, особенно методом узурпаторства и придворных интриг. Иногда казалось, что Василий даже забывал об умиравшем отце; дело это — кончина родителя — представлялось ему безвозвратно законченным, и он обращался мыслью к Дмитрию, этому ненавистному и опасному все еще, как нашептывали бояре, племяннику, который и заточением, казалось, был еще недостаточно отомщен и наказан — не за какую-либо провинность, нет, а лишь за доставшееся ему наследное право на царский венец и за то, что не захотел смириться и добровольно отказаться от этого права. Более же всего не мог простить племяннику своего унижения, когда в церкви Успения при стечении множества бояр, епископов, архимандритов, игуменов и иноков совершен был над Дмитрием обряд царского венчания. Василий с матерью, царицей Софьей, отнесенные в общую массу духовенства и бояр, словно опальные, стояли тогда перед амвоном, на котором счастливый Дмитрий, возведенный туда дедом и благословленный им, слушал святительское наставление. Громким, хорошо поставленным церковным голосом митрополит, опустив ладонь на голову Дмитрия, возглашал: «Да Господь, Царь Царей, от Святаго жилища своего благоволит воззреть с любовью на Дмитрия; да сподобит его помазаться елеем радости, принять силу свыше, венец и скипетр Царствия; да воссядет юноша на престол правды, оградится всеоружием Святаго Духа, и твердою мышцею покорит народы варварские; да живет в сердце его добродетель, вера чистая и правосудие».

Василий не вспоминал, нет, а слышал эти слова; слышал в том же торжественном исполнении, в каком митрополит огласил их тогда под сводами церкви, и, радовавшие сердце юного Дмитрия, они тем больше воспринимались Василием теперь. В памяти его сохранялось все, что относилось к тем торжествам. Лики святых, ризы, оклады, праздничные одежды духовенства, бояр, их полные достоинства и довольства лица, трепетно освещенные сотнями горевших свечей, — все, все, утопавшее в переливе золотых и серебряных бликов и самим этим великолепием говорившее уже о величии происходившего здесь, снова и снова панорамно разворачивалось перед Василием, он опять, словно безродных, затертых в общей толпе, видел себя и мать перед амвоном, и, не в силах вынести того давнего, но с новою силой поднимавшегося в нем чувства оскорбленности, вскакивал и, сжав кулачки, все еще и теперь юношески-слабые, принимался метаться между окном и дверью на виду у бояр-заговорщиков, сидевших у него и не замечавшихся им. Не Дмитрию, как полагал он, а ему, Василию, следовало тогда стоять на амвоне, да, не племяннику с его худосочной родней (по крайней мере, так считала сторона греческая), а именно ему, Василию, прямому или почти прямому (по линии византийских императоров) наследнику и царского титула, и двуглавого орла, и всех других атрибутов державной власти, должны были отдаваться почести; он мысленно оборачивался на мать, жалко, как представлялось ему, стоявшую возле него, на близких ему по греческому происхождению бояр, обескураженных своим дворцовым проигрышем, но не утративших определенных надежд, и неведомая еще сила великокняжеской мстительности поднималась в груди и захватывала его.



## L

Помазанники не оставляют после себя архивов души. Так же, как Иван III, умирая, уносил с собой все свои сомнения и думы, ту, сказать иначе, не царскую (царская — для людей, для престолярства), а человеческую сторону своего бытия, которая и при жизни, как и после смерти, обычно сохраняется за семью печатями, ибо для власть имущих никогда не было и нет ничего страшнее, чем правда, делающая их столь же людьми, надменными, жестокими, жалкими и жадными, подчас даже более мелочными в своей высокородной щепетильности, чем можно предположить, — столь же простолюдинами по образу мыслей, житейским потребностям и интересам, коих, презирая, они всегда обманывали некоей своей святостью и продолжают обманывать теперь, так и Василий — не по отцовскому напутствию (или подсказкам матери, мудрейшей царицы Софьи, мудрейшей, конечно же, на свой лад), но по тому «нравственному» великокняжескому одеянию, в какое начал облачаться уже с детства и какое более чем во всем блеске чувствовал на себе сейчас, не хотел открывать ни перед кем своих душевных тайн: ни перед отцом, ушедшим в могилу, ни перед супругой, красавицей Соломонией, коленопреклоненно и в слезах молившейся за свекра-Государя, испрашивая у Пресвятой, Пречистой Богородицы жизни и сил ему, ни тем более перед боярами-заговорщиками, которым теперь уже не столько верил, сколько презирал их. Ненавидя Дмитрия страшной, лютой ненавистью, Василий многого не мог простить и отцу; и прежде всего — своей обиды за мать, от которой отец позволил себе (на некоторое время, правда) отдалиться и которую заподозрил было в злоумысле, будто она отравой хотела извести Государя, не всегда верно державшего греческую сторону, и поставить на престол сына, то есть его, Василия (известно, что по этому поводу Иваном III проводились дознания, многие тогда из знатных бояр, дьяков, детей боярских были казнены и заточены в темницы, а в покоях Софьи ночью были схвачены некие «колдуньи» с зельем, обысканы и утоплены в Москве-реке).

Василий хорошо помнил состояние матери, когда у нее были обнаружены и схвачены «колдуньи». Утром она направилась было к мужу, чтобы объяснить, но стража не пустила ее. Сначала ей велено было оставаться на своей, женской, половине великокняжеского дворца, затем вместе с сыном отвезли ее в одну из обителей, и этот переезд, мрачные кельи, смену прислуги и полный запрет хоть какого-либо общения с внешним миром — все, все, что относилось к тем мрачным дням опалы (и особенно помазание Дмитрия в церкви Успения, состоявшееся сразу же после тех опальных дней, и торжество Елены), словно отягчающие душу оковы, Василий постоянно носил в себе. Он был оскорблен настолько, что и после примирения отца с матерью продолжал тяготиться этим болезненно разъедающим душу чувством и в безвременной кончине матери считал повинным отца. И хотя не так уж, наверное, и важно теперь, имелись ли у него на это действительно веские основания или только возбуждаемый состоянием и речами матери проникался сей непримиримостью к монарху-родителю, — было лишь то, что было, и я обращаюсь к этой отнюдь не государственной детали из царской жизни только потому, что от каждого малейшего движения души правящего ли монарха, наследника ли, готовящегося принять державу, часто (и даже, может быть, куда в большей степени, чем мы способны предположить) зависит не просто судьба той или иной отдельной личности, но и во многом историческая судьба народа. Говорят, что Иван III искренне скорбел по кончине царицы Софьи и что будто бы, склонясь над ее покойным лицом, просил у нее прощения; но и тогда, и теперь — в глазах Василия все выглядело по-иному; он не верил отцу и, следуя рядом с ним за гробом матери, уже тогда желал ему смерти. Он понимал, что поступает не по-христиански, что на земле нет большего греха, чем желать смерти родителю, ужасался этому своему желанию и, терзаемый раскаянием, молился по ночам за спасение и своей, и отцовской души. Но все ли молитвы доходят до Бога? Время только приглушило, но не стерло с души этого страшного желания, и, явившись теперь вновь и не намереваясь отлучаться, оно, как пригревшийся сожитель, каждую минуту неотступно следовало за Василием. Не исполненная еще месть Дмитрию сливалась в нем теперь с неисполненной же местью

отцу и, желчно ожесточая и без того ожесточенное самолюбие, как раз и подвигало молодого Великого Князя к грядущим жестокостям. Мысли и чувства эти, он знал, были на его лице; и потому-то, не научившись еще как следует владеть собой, он старался не выходить из своих покоев; когда все же надо было идти к умиравшему отцу, Василий прежде подходил к иконе святого угодника-чудотворца и покровителя великокняжеского рода Петра, специально принесенной и установленной для него, и, только помолившись и испрося у святого угодника благословения, в сопровождении царицы — заплаканной, убитой горем Соломонии — направлялся в родительскую, как мысленно называл ее, половину кремлевского великокняжеского дворца, где в окружении икон и горевших свечей исходил жизнью отец — первый, как уже говорилось, всевластный и всемогущественный монарх России.

«Великий князь! Князь, князь, княгиня, молодые, Великий Князь!..» — иногда слышимой, иногда неслышной, передаваемой лишь взглядами волной, как умеют это при любых державных и прочих дворах, обычно переполненных льстивыми слугами (в расшитых ли камзолах, с министерскими ли, как теперь, портфелями, что выдает в них лишь принадлежность к эпохе), катилось впереди Василия, когда, соединившись с Соломонией, он шагал сводчатым коридором и через анфиладу дверей к покидавшему сей мир родителю. Прежде вместе с открывавшимися дверями волна верноподданничества прокатывалась перед отцом и перед ним же, как перед ликом Христа, бросала в перелом и спины вельмож, и спины простолюдинов; теперь же подобная честь отдавалась Василию, вчера еще — даже не наследнику, а лишь опальному царевичу, отдаленному от двора, но сегодня — преемнику и обладателю всех тех отцовских достоинств, кои не по титулу будто, а по Божьему и всеобщему изволению признаются за монархами и возвеличивают их. Василию было приятно сознавать это вдруг открывшееся в нем величие, душа трепетно ликовала, но он не выказывал своего ликования; он принимал почести с тем холодным достоинством (царским, как тогда же заметили многие), как принимают люди богатые давний, незначительный и забытый будто бы ими долг, не удосуживаясь не то чтобы поблагодарить, но даже обернуться и заметить подателя. От этой мрачной холодности, которую положено было воспринимать как скорбь по умирающему родителю, как ни старался Василий, исходило лишь пугающее высокомерие, и, чувствуя это высокомерие и не зная еще, к чему оно может привести, но заранее уже (по известной придворной интуиции) полагая, что следует ожидать худшего, холопы-вельможи и холопы-слуги хоть на вершок, но ниже, чем перед монархом-отцом, склоняли головы перед новой, вот-вот должной вступить в права государевой волей.

Соломония, входя к умирающему свекру-Государю, не могла удержаться от рыданий. Иногда начинала даже голосить, как простолюдинка по кормильцу, предчувствуя, видимо, как это дано женщинам, ту далекую беду, которая обрушится на нее, когда властной волей супруга поведут ее на насильственное пострижение. Ее поднимали, успокаивали и уводили, отрывая от свекра и мужа, но Василий — нет, он не позволял себе расслаблений; слабость — удел рабов, а не монархов, как учил отец, и то, что произошло с юным царевичем на льду Москвы-реки, когда отрубили голову князю Рязполовскому, теперь не могло повториться. Едва он входил к отцу, едва оказывался перед высокой, обставленной иконами и горевшими свечами кроватью, на которой в мрачной торжественности и уже скорее напоминавший покойника, чем живого, возлежал исходивший жизнью монарх, все в душе Василия только сильнее замыкалось, он принимался отупело смотреть перед собой, как смотрят иногда на сосуд с истекающей водой, чтобы взять его, и если что и могло представляться ему в эти минуты, то лишь то немереное поле безграничной и упойтельной власти над людьми (над всем, всем, что было вокруг и простиралось за стены Дворца и Кремля), на которое он уже чувствовал себя вступившим хозяином. На его лице, не столь еще горбоносом, как затем проявится это в сыне Иоанне, но достаточно уже говорившем о восточной ли, греческой ли привнесенности, в его шнуточно-тонких, скобкою вниз губах проглядывало одно лишь холодное и застывшее в этой своей холодности величие, как если бы и в самом деле не судьба возносила его над собранной воедино (и для него будто!) державой,

но словно бы — все содеянное в державе было делом его ума, рук, его великокняжеских стараний, и он только снисходил до этого содеянного, прикидывая, что принять и что не принять в нем. Наконец, подталкиваемый митрополитом, он опускался перед отцом на колени и тонкими губами своими молча прикладывался к его безвольной, холодной руке.

## LI

Память отдельного ли человека, историческая ли память народа, человечества ли — что же в конце концов заключено в сем природном явлении, для чего оно преподнесено людям, если за всю свою не мереную никакими верстами вечность они так и не смогли вынести ни одного сколько-нибудь облагораживающего их нравственность урока (да хоть и в социальном плане, да, да, хоть и в социальном?), но словно бы по прецеденту, как в английском правосудии, лишь повторяли и повторяли, раздувая в размерах и нашествия, и разорения, то есть бессмысленные по конечным деяниям кровавые побоища, и истязания безвинных, изощряясь в жестокостях, и еще сотни и сотни всяких неправд, порождаемых непреходящей жаждой денег, величия и власти. Изменяются, как видно, со сменой эпох и формаций только облики жилищ, средства передвижения, скорости, но неизменной остается суть человеческих страстей и желаний, так что мудрость любых зовущих к добру скрижалей — мудрость сия разве что для простаков, принимающих сказку о жизни за самую жизнь. Есть стержень сказки и стержень жизни, и вокруг этих стержней одни, обманувшись великими посулами, обретают лишь — народами, государствами, да, да, целыми народами и государствами — судьбу извечных страдальцев, другие же, верящие в реальность и познающие ее, верховодят людьми и миром. Сказка — всего лишь сознание ложной красоты, умиротворенности, притягательность ее — в бездеятельности, вера ее — в сверхчуде и сверхсиле, всегда будто бы приходящих на помощь бедным, униженным, сирым; она, в сущности, лишь успокоительный обман, лишь снотворное, способное на тысячелетия усыплять народы обещаниями долгожданных и великих перемен. Реальность же в противоположность сказке такова, что жизнь беспощадна в своем отборе и движении, что сильный возрастает на подавлении слабых и что не в поклонении добру, как некой абстракции, уложенной в красочную обертку, не в призывах к борьбе со злом, представляющим собой, впрочем, столь же абстракцию, как и добро, но лишь в признании суровости, неумолимости законов бытия, в осознании целостности и неделимости мира общественной жизни (ведь стержни суть умствования людей, необходимые для подавления одних другими) заключены и истинное добро, и умиротворенность, и умение, да, именно умение противостоять нравственному и физическому насилиям и злу.

Людская доверчивость — столь же порок, как и безжалостность и беспощадность, и если у человечества и есть средство защиты от этих двух равновеликих и равноужасающих по своим последствиям пороков, то искать таковое следует не в эффекте самопожертвований — личности ли или народов, — не в испрашивании чуда за долготерпение, долготрадание и смерть, как этого хотелось бы властям, чтобы поступали народы, а в энергии деятельности, в постоянном движении ума, силы и воли. Народ, подверженный, может быть, более всего от непросвещенности своей, греху доверчивости, только, кажется, и жив этой извечной верою в добро, и отними у него эту веру, как он сейчас же окажется в роли младенца, отторгнутого от груди матери. Тысячелетний, извечный младенец! Да ведает ли он, что пребывает во младенчестве — по уму, да, главное, по уму, в каком держат его с помощью философских и иных прочих догм, напуская на все научного тумана, тогда как жизнь проста, ясна и либо она есть, либо ее нет, и не пора ли, сбросив подростковый наряд, облачиться в одежды мужа. Скрижали, скрижали — пустые слова, эхом доносящиеся из глубины веков и уходящие в вечность будущего, тогда как мир неизменен, он и сегодня точно такой, каким был вчера, сто, пятьсот и тысячу лет назад, и доверчивость народа, увы, не только не иссякла, но обрела себе на погибель еще большую устойчивость и крепость.

Но если неизменно на одной чаше весов, на чаше весов народа, то столь же неизменным все остается и на другой, где главенствует дух власти

и жесточайшего реализма и где подозрительность, эта извечная альтернатива доверчивости, возводящаяся иногда в невероятную в зависимости от обстоятельств и масштабов правления степень, обретает силу и величие божества. Есть ли хоть одно династическое семейство, в котором не совершалось бы отцеубийств или сыноубийств, в котором не заточались бы (по подозрению, но как самые лютые враги народа и отечества) и не отправлялись на эшафот родственники и близкие царя, и есть ли дворцы, то есть те самые коридоры власти, в которых не заменялись бы властителями и по нескольку раз их императорские, президентские или премьерские команды? Минутами мне кажется, что я не из современности вглядываюсь в прошлое, а из прошлого в современность, и из двуликости жизни, в неизменности дошедшей до нас, из которой — что лучше? — нечего выбрать, тогда как на всякий иной путь к благоденствию сегодня наложен не государственный уже, нет, не державный, хотя, видимо, и питающийся все от того же корня, а общественный и потому более неодолимый и жесткий запрет, — из этой двуликости жизни, может быть, только и есть выход, чтобы основательно, от глубин, изучить и познать ее.

Что касается народа, то он всегда может предъявить оправдание своей пагубной (беспредельной!) доверчивости. Хотя и себе во вред, но все же — есть нечто благородное в стремлении народа к добру, братству и всеобщей справедливости, и не вина его, что всякий раз он со своей доверчивостью оказывается жестоко обманутым и наказанным. Но чем могут оправдать властители всех мастей, начиная от времен исторических и до дней нынешних, свои деяния, свою безграничную алчность к власти и жестокость, когда не щадятся ими ни дальний, ни ближний во имя неких государственных будто бы интересов и целей, тогда как на поверку, если посмотреть оголенно, всего лишь во имя своих мелочных, шкурных начал, и сколько бы ни прикладывали стараний философы и историки мира, чтобы из этих начал, этих личных притязаний царей и их высородных амбиций выстроить некое здание исторической истины, — здание это, основанное на подменах понятий, будет оставаться прочным лишь до тех пор, пока не уберут от него, вернее, от стен его, скопище все тех же правительственных подпорок. Не думаю, чтобы у Ивана III было нечто более веское в оправдание своих деяний, чем династическое сохранение трона: и когда лишал внука Дмитрия великокняжеского наследия, и когда повелел казнить потомка Всеволода Великого, князя Рязанского, и насильственно постричь в монахи князем Патрикеевых, и когда дал согласие на осудительный собор против «еретиков» и затем смотрел, как эти «еретики», заключенные в клетку, — живые, умные, которые смогли бы только возвеличить державу и стать ее гордостью и славой, — как эти «еретики», задыхаясь в огне и дыму, метались в своих смертных ловушках, молитвенно вознося руки к небу и прося о помощи; нет, у него не было иных оправданий, кроме династического интереса власти, как бы ни пытались теперь историографы его объяснить все некой государственной будто бы необходимостью, как не было иных, кроме личных, шкурных, оправданий и у Василия, с холодностью смотревшего на умирающего отца и полного уже своих замыслов и планов.

## ЛII

В ту самую ночь, когда царствующий родитель, лежа в окружении икон и свечей (в сущности же, на смертном одре), еще подавал признаки жизни и никто не мог с уверенностью сказать, когда наступит для него последний час и монаршие очи, сомкнувшись, уже не увидят ни света, ни лиц духовенства и бояр, в чьем окружении он умирал, — с вечера еще, затворившись со своими князьями-заговорщиками, которые только поторапливали его, юный Государь Великий Князь Василий III принял, наконец, давно уже зревшее в нем решение и направил с надежными воеводами два отряда ратников (боярских детей, как еще называли сих служилых людей): к Дмитрию, чтобы схватить его и перевести в более суровое и крепкое для заточения место, и к его матери, Елене, чтобы упрятать в еще более глухой и непримиримый по ревности к вере его монахинь и настоятельницы монастырь. С небольшим перерывом, один за одним, отряды выехали из кремлевских ворот и, как тати, ежась под холодным морозящим дождем, на рысях пересекли город. По вязкой проселочной дороге, мяся и разбрасы-

вая копытами грязь, они в крошечной почти темноте спешили к цели. И сами ратники, и их кони, и дорожная грязь (как, впрочем, и поля, и пашни, и пустыри, сейчас же от обочин сливавшиеся с тьмой), — всё в ночи казалось черным, наполненным (по молчаливости скакавших) неким зловещим будто преддверием; зловещим не столько по отношению к самим этим ратникам, может быть, и не подозревавшим, на какое неправо дело они были посланы (ведь во все века долгом исполнителей было — исполнять, лютовать, а не сомневаться и спрашивать), не столько даже по отношению к Дмитрию и Елене, чья судьба должна была окончательно уже определиться в эту ночь, сколько — к общей исторической судьбе народа, который (по произвольной, разумеется, символике) тьмой, ветром, холодной слезливостью туч, мочивших коней и ратников, то есть всей этой осенней непогодью пытался еще перехватить занесенный над собою топор. Воеводам велено было действовать бесшумно, взять опальных тихо, лаской, уговором, обманом; им велено было сказать Дмитрию и Елене, что умирающий Великий Князь зовет их пред свои очи, и, усадив таким образом в повозки, отправить уже навсегда в небытие. Результатом сего воровского обмана должно было завершиться торжество одной династической ветви, греческой, над другой, корневой; в жизнь народа бросался камень раздора, и зловещие, особенно в сфере духовной, нравственной, волны от него, начавшие затем из столетия в столетие свой неостановимый бег, — волны эти или, вернее, предчувствие их как раз и витало, то сгущаясь, то разряжаясь, над ночной дорогой, полями, деревнями, через которые мчались ратники Василия, да и над самими ратниками, словно невидимым нимбом окутывая их. Все было промокшим — кони, люди; но все было неостановимым, как вращение земли или ход времени, равно уносящих с конвейера жизни и великое, и трагическое, и смешное.

Василий не спал. Он возбужденно прохаживался из угла в угол в своей сводчатой, душной от свечной копоти палате, и в ожидании вестей от посланных воевод, вернее, предвкушении этих вестей, кои, впрочем, раньше следующего вечера и не могли появиться в Москве, не без желчной удовлетворенности представлял, как ворвутся ратники к Дмитрию, поднимут с постели и, обаяв льстивыми речами этого доверчивого (со сна, главное, со сна!) «владыку», затем на первом же перегоне закуют в цепи и с издевкой оповестят, кто он теперь есть и что с ним будет. В воображении вставало не опальное, не изнуренное заточением лицо узника, но юный, сияющий лик счастливого, запечатленный в тот торжественный для Дмитрия миг, когда в церкви Успения его провозглашали Великим Князем и когда Василий со своей матерью, Софьей, оттертые от амвона в толпу и тем беспрельдно униженные, лишь взирали на сие династическое торжество. Нет, Василий не мог простить этого унижения; теперь уже — во имя покойной матери; и, не удовлетворяясь мстительной картиной, разворачивавшейся перед мысленным взором, минутами словно бы переносился в то сырое, холодное, мрачное подземелье, которое давно уже было приготовлено им для Дмитрия и в которое — в цепях, в лохмотьях, во что должны были переодеть его, — вводили ненавистного, не желавшего отступить от своих прав на престол царевича. Василий мысленно же, в воображении, старался разглядеть юное и обескураженное, конечно же, обескураженное лицо Дмитрия, освещенное лишь копотным огоньком лампадки, и, надеясь обнаружить следы раскаяния на нем и не обнаруживая их, со злорадством переводил взгляд на мокрые от сочившихся с них подземных вод стены и потолок, на топчан, застланный лишь гнилою соломой, и дотоле неведомое и юношеское еще удовлетворение от садизма (чувство, которое в полной мере обнаружится затем в сыне, Иоанне), некоей успокаивающей теплотой возникнув в груди, растекалось по телу. Он останавливался в экстазе этого чувства то возле одного боярина-заговорщика, то возле другого, то перед великокняжеским духовником, архимандритом Андрониковского монастыря Митрофаном, место которому было у постели умирающего Великого Князя, но который более находился здесь, при молодом, ловя каждое мгновение для угождения, то перед назначаем Дмитрием с его возросшей, как и всегда при смене властителей, значимостью и ключами от хранилищ и кованных сундуков, и, получив на безмолвный, но понятный всем вопрос нужное «да», то есть получив подтверждение в правильности принятых им мер относительно Дмитрия и его матери, вновь отдавался своим мстительным мыс-

лям и картинам, которые одни только, казалось, могли занимать и убажывать его.

Но, прежде чем весть от посланных воевод, пришла весть из покоев умиравшего Великого Князя, и, как это обычно бывает, когда ждешь и готовишься к одному, а приходит другое, Василий оторопело смотрел на митрополита, явившегося с известием о смерти Государя Великого Князя Ивана III, не в силах понять случившегося и прося (мысленно, безмолвно, глазами) повторить то, что он сказал. Затем с живостью, отстраняя перед собой все, что попадалось и преграждало дорогу, направился на великокняжескую отцовскую половину. У постели покойного стоял все тот же люд — опечаленные бояре и духовенство вперемежку, — все те же иконы и свечи в оплывших подсвечниках освещали навеки успокоившееся наконец лицо монарха; так и не решившийся постричься и надеть схиму, заботливо приготовленную святителями, которая лежала тут же, на лавке, но в полном великокняжеском облачении, в каком готов был предстать перед Богом, не боясь его высочайшего суда за свои земные, царские деяния, словно и в самом деле не в чем было ни обвинить, ни упрекнуть его, — в этом своем великокняжеском облачении он и теперь, бездыханный и неподвижный, возлежащий на одре, все еще казался грозным, не терпевшим неповиновений властителем. На мгновенье остановившись в минутном наплыве страха перед могущественным и во смерти родителем, Василий затем, подавив этот неожиданный, вдруг и не ко времени будто явившийся страх в себе, подошел ближе к отцу и, наклонив голову, долго молитвенно смотрел перед собой — не на мертвое лицо родителя, нет, а на его сухонькие старческие руки, державшие свечу. Все сейчас же обратились взглядами на него, на власть, обретавшую силу, обольщаясь надеждами перемен, то есть тем желанным поворотом событий (в свою, разумеется, пользу), какой обычно достигается более интригами, чем волею новоявленных помазанников. Может быть, в цепи исторических событий, если разом выставить их на обозрение, прощание сына-наследника с монархом-отцом не только не привлекло бы сколько-нибудь пристального внимания, но могло бы и вовсе остаться незамеченным, но не из малых ли величин складываются большие и не из незначительного ли и неприметного — великое и судьбоносное для народов? Потому-то и затихли, и присмирели, перехватив дыхание, дворцовые люди — свидетели этого великокняжеского прощания, и, право же, есть что-то неразгаданное, непознанное в сем христианском обряде, как если бы и в самом деле дух покойного, его посмертные желания и мысли (может, и весь опыт жизни, что каждому, в том числе и царям, дается не просто и который непозволительно, преступно уносить с собой) передаются живому для воплощения. Понимал ли это Василий, понимал ли митрополит, бояре и все те святители, которые и всегда-то, как предтечи, одинаково возникают со своими свечами, иконами, ладаном и у купели для рожденных, и перед последней для человека чертой? По знаку ли митрополита или каким-либо еще соображениям, суть которых никому не приходило в голову уточнять, — и бояре, и духовенство начали почтительно удаляться из палаты покойного, и Василий не заметил, как остался один на один с почившим отцом. Пока еще колебались язычки свечей (от того, что бояре и духовенство выходили), казалось, что все вокруг, как и лежавший на кровати отец, — все было исполнено движения жизни; но язычки замерли, все замерло, остановилось, и Василий, скованный этой тишиной и неподвижностью, впервые вдруг осознал, какая неодолимая черта пролегла теперь между ним и отцом, и прежде неведомый холодок небытия начал вкрадываться в грудь и холодить душу.

### ЛIII

Трудно сказать, сколько простоял в этом тяжелейшем молчании Василий и было ли для него сие испытание испытанием на человечность, когда прощается и близнему, что естественно, и врагу, что дается труднее и только людям решительным и сильным на основе простых и ясных суждений, что прощается не зло как таковое, а прощается неведение, в каком обычно или, точнее, в результате чего оно творится, или же, зачерствев, заледенев душой (по молодости, неопытности и неведению, конечно же, именно, неведению, да простится ему сие!), лишь переживал, как неизбежное, эти удру-

чающие минуты; все в конце концов вытекает из поступков, определяется ими или, вернее, подтверждается, и если придерживаться этой известной и, разумеется, проверенной жизнью логики, то есть судить по тому, куда направился и что предпринял Василий, выйдя от отца, — он пошел не в церковь, не на молитву и не к Соломонии, которая более чем кто-либо нуждалась в его поддержке и утешении, а, взяв казначея и нескольких приближенных бояр, пошел осмотреть и принять государеву казну, — если судить по этому удивившему и обеспокоившему многих поступку, то не человеческое, нет, а лишь холодное, расчетливое, с чем неминуемо каждый монарх, президент или премьер, как это звучит по нынешним временам, восходит на престол, набирало в нем силу и затмевало все. Теперь у него вроде бы не должно было быть враждебности к отцу; смерть перечеркивает, обрывает любые страсти; но, оборвав прежние, не прокладывает ли она дорогу к новым, и не тем ли и велик человек — царь ли, простолюдин ли, — что более вглядывается вдаль в такие минуты, чем смотрит под ноги, и не этим ли же и слаб, что, перешагнув через опыт отцов, а проще — пренебрегая им, лишь повторяет в своей безграничной, амбициозной самоуверенности то, что не должно бы повторяться ни отдельными личностями, ни народами, ни человечеством? Современники Василия III, наблюдая за его деятельностью, напишут позднее, что его власть действительно приобрела невиданный до того характер, что (по словам западного путешественника фон Герберштейна, дважды в те годы побывавшего в России) он «всех одинаково гнетет... жестоким рабством» и что «властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира». «Воля Государя есть воля Божья, и, что бы ни сделал Государь, он делает это по воле Божьей», — внушалось и людям простым, и знатным, и не это ли деспотическое начало, стоя перед покойным отцом, перенимал от него, как эстафету, молодой Великий Князь Василий? До конца не осуществленное одним монархом передавалось другому — неуловимо, незримо, без каких-либо при этом свидетелей (даже митрополит счел нужным оставить одних сына-наследника с покойным отцом), и, повторяю, сколько бы ни усердствовали историки, объясняя все необходимостью централизации власти, как-то забывая при этом, что есть власть личностей и власть законов, что цивилизованный мир уже тогда предпочитал путь второй первому (с трудом, в поисках, в борьбе, с издержками, но предпочитал!), да, именно, сколько бы ни усердствовали, тасуя личное и общественное, подменяя понятия и выдвигая постулат об ответственности народа за события исторической важности, — власть передавалась, событие совершалось, народа не было; народу уготовано было только, снявши шапки и под колокольный перезвон идти за великокняжеским гробом и затем в едином, как волна по хлебному полю, поклоне приветствовать молодого Великого Князя и расступаться перед ним.

Великолепие царской жизни обычно завершается великолепием царских похорон, и, как бы ни было затенено и приглушено все в палате, где лежал скончавшийся Государь, обилие горевших свечей уже само по себе создавало хотя и мрачную, но торжественность, а золото, серебро окладов и риз, как, впрочем, и лики святых, заключенные в них и смотревшие скорее с бездушием в своем извечном глубокомыслии, чем со скорбью, и на покойного монарха, и на сына-наследника, — лики эти в резных, отдававших богатством окладах и ризах (ведь Богу — служба, глазам — услада, а телу — сытость!), сколько бы ни изыскивали в них аскетических и прочих начал, предполагавших отреченность от земных благ, лишь раздвигали в юном восприятии царевича поле удобств и соблазнов великокняжеской, царской жизни. В нем и в самом деле не было теперь враждебности к отцу; он не то чтобы чувствовал, но сознавал себя преемником исходившей из глубин державной власти (чуть ли не от римских Цезарей, как позднее пытался утверждать его сын, Иоанн, решивший взяться за составление родословной и восстановить некие будто бы пробелы в ней), и не слезой, прокатившейся по щеке и упавшей на траурно-величественное покрывало отца, не скорбью и болью от утрат, перехвативших дыхание, — впрочем, сия человечность мало кого обходит в минуты подобных прощаний, — а трепетом вступления в права монарха, чья власть на Руси, уравнивая с Богом, не имела границ, определялось душевное состояние Василия. Он невольно, лишь от предчувствия этой беспредельной власти, которую уже, казалось, держал в руках, расправлял спину, плечи; лицо его словно бы на глазах мужало, обретая

черты волевой, царской непреклонности, и ясно памятуя о том, с чего начинал отец свое великое княжение, — с казны, которую надо было принять и о которой затем неусыпно заботиться, чтобы не оскудевала, ибо верно сказано: у кого богатство, у того и власть! — терпеливо выжидал лишь время, когда, с достоинством соблюдая положенный христианский ритуал, можно будет приступить к исполнению государственных дел. В окружении святителей и бояр, которые словно бы оторвали его от постели усопшего, Василий вернулся к себе в покои; но уже спустя четверть часа казначей Дмитрий, гремя ключами, открывал перед ним и перед сопровождавшими его князем Холмским и князьями Щени и Яковом Захарьевичем кованые сундуки с неохватным царским богатством.

За окнами великокняжеского дворца, за мрачной в ночи зубчаткой кремлевских стен, от которых, как и теперь, начиналась и уходила на все стороны света русская земля с ее тысячами сел, деревень, монастырей и неисчислимыми на единицу души церквами, часовнями и часовенками (а ведь набожность — это не столько показатель высокой духовности народа, сколько его невежества, забитости и нищеты), — по всему этому немеренному уже тогда пространству лил холодный окладной осенний дождь. Он бился в стекла вместе с порывами ветра, словно протестуя против несправедливости, творившейся во дворце. Обмывавшие и обряжавшие Великого Князя в его последний путь испуганно переглядывались, то ли боясь чего-то, что могло карою обрушиться на них, то ли предчувствуя — не по отношению к себе, нет, но по отношению к общей судьбе народа, — то недоброе, от чего, чтобы спастись, как от соблазнов дьявола, нужно молча и торопливо креститься. Беспокойство передавалось и святителям, молившимся за упокой, перед глазами которых хотя и не было посинелой и остывающей плоти Великого Князя, но стук ставень, скрип, надрывные завывания ветра, то есть все те звуки от разыгравшейся за окнами непогоды, доносившиеся до них, непредсказуемо страшным пророчеством охладили их незащитные души. Те, кому положено было заняться организацией похорон, обсуждали порядок и последовательность этой предстоявшей траурной церемонии; посланные Василием ратники с воеводами к несчастным Дмитрию и Елене, чтобы схватить их, продолжали пробиваться в ночи сквозь дождь к цели, а юный Великий Князь в это время, чуть пригнувшись под давившим на него низким сводчатым потолком, сощуренно взирал на раскрытые сундуки с казной, жестом останавливая суетившегося возле них и заслонявшего собой все казначея. Груды монет, слитки золота, серебра, изделия с драгоценными камнями, — на них нельзя было не смотреть, от них трудно было отвести взгляд. Главное же, сюда не проникали ни шум дождя, ни надрывные завывания ветра, так тревожившие наверху бояр, холопов и духовенство; здесь царил иной мир, мир тишины, упоительных надежд, возможностей и свершений, и как ни покажется кому-то странным или даже невероятным, что мысли и чувства Василия, когда он стоял перед покойным отцом, не только не нарушились, но получили здесь, в хранилищной тишине, лишь логическое свое продолжение и развитие, — да, как ни покажется это странным, но между блеском окладов и риз, хотя и приглушенно, но говоривших о богатстве и власти, и блеском золотых и серебряных слитков в сундуках явно пролегалась связь, не зависевшая от чьей бы то ни было воли, и молодой Великий Князь, прозорливо уловив ее, мог только лишь сильнее укрепиться в своей вдруг будто, но на самом деле от рожденья уже данной ему значимости. Власть, дотоле представавшая в воображении, обретала реальность, он переходил от сундука к сундуку, невольно накладывая на картину открывающуюся, то есть на то, что представало в реальности, картину другую, что запечатлелась в минуты прощания: и блеском, и торжественностью, пусть мрачной, траурной, но торжественностью, и мыслями, и в нем опять словно бы мужали, расправляясь, спина, плечи, и царская лютость, пробиваясь, загоралясь и стыла в непривычном еще прищуре властных глаз.

## LIV

Может быть, не испытай этого чувства на себе, Василий никогда бы не пришел к мысли, что, кроме мести физической, то есть заточения, есть еще более сильная месть — нравственная, которая иссушает не тело, а душу, и что месть эта, измеряющаяся лишь меркой наивысшей жестокости, осущес-



ствляется обычно незаметно (незаметно для люда, для общественного мнения), бескровно и не оставляет следов. Здесь, в хранилище, в эти, в сущности, первые часы своей затем долгой и сладкой, с пирами и охотой, велико княжеской жизни он понял, что только реальное, а не воображенное дает истинное осознание власти. Именно здесь, между сундуками с богатством, он, казалось, до конца осознал, что означает повелевать, править, владеть державой, и, осознав, с живостью представил, как можно было бы терзать этой реальностью юную, неопытную, доверчивую душу Дмитрия. «Видит око, да зуб неймет», — да, да, каждый день, час, каждую минуту сей отпрыск должен видеть перед собой это, что неймет зуб, то есть что мог бы иметь по глупой, преступной неразумности деда (так теперь Василий объяснял то временное возвышение Дмитрия и свое с матерью унижение), но чего не получил и не мог получить, потому что есть высший распорядитель — Бог! — и греческая при Дворе сторона, способная выполнить Его волю. Все в мире строится на реальности и исходит от нее: реальность возможного, но утраченного — слитки, слитки, их золотой и серебряный блеск, символизирующий власть над людьми, державой, и реальность действительного — тьма, сочащиеся влагой стены, лежак из соломы и свеча, как перед иконостасом, ни днем, ни ночью не затухающая перед распахнутым с казной сундуком, — Василий даже вздрогнул от такого озарения, лицо его охватила бледность, словно от духоты, сопровождавшие бояре кинулись было к нему, но он отстранил их. Он не желал, чтобы кто-либо прерывал его мысли; воображение уже рисовало ему конвульсирующего в страданиях Дмитрия, и хотя за подобное деяние, он понимал, настанет черед нести ответ — перед совестью, Страшным судом или грядущими поколениями, — но он уже теперь готов был оправдательно бросить всем, что не мстит, нет, а лишь восстанавливает справедливость. Как стратег, еще не слезший с боевого коня, но готовый уже принимать почести, Василий не просто чувствовал себя победителем в схватке за трон (как это, впрочем, и было на самом деле); он сознавал себя выдвинутым историей повелевать и в некотором роде был даже горд придуманной для Дмитрия карой. Но ни здесь в эту ночь среди сундуков с богатством, принадлежавшим ему, ни на следующую день и еще следующий, когда в новом храме Святого Михаила отпевали отца-монарха, где он и был затем с пышностями похоронен, Василий ни словом не обмолвился о своем замысле. Он промолчал, и когда прибыли к нему вестники от воевод доложить, что опальные схвачены и с надлежащими строгостями переправлены в места нового заточения. И лишь на мгновение, когда услышал, как вел себя Дмитрий, когда его подняли с постели и после первого же перегона заковали в цепи и как вела себя его мать, Елена, тоже, очевидно, понявшая всю безвыходность своего положения и бессмысленность (бесперспективность) борьбы, — только во время этого рассказа, услышав, как смиренно вела себя обреченные, злорадно, и не столько даже лицом, сколько душой, усмехнулся; он более чем знал, какая участь уготована им; за миг торжества в церкви Успения, за миг возвышения, на какое решились дерзнуть, потянувшись к не им предназначенному пирогу жизни, они обрекались на вечные, словно в аду, муки. Нет, корневому от Твери не стоять выше корневого от византийских — действительно от Бога — императоров! Мысль эта, может, и не столь категорично явилась Василию; но, подступая к ней, он интуитивно старался нащупать ее неоспоримую оправдательную силу, как, впрочем, притягивая в союзники историю, многие и ныне пытаются убедить мир, будто от пахаря способен родиться только пахарь, а от правителя — правитель.

Между тем высшие, то есть, читай, заинтересованные распорядители при Дворе с тем особым (как, впрочем, делается это и теперь), понятным только им беспокойством, будто страну и в самом деле ни на день, ни на час, ни даже на минуту нельзя оставить без царской власти, судорожно готовились к церемонии венчания на престол нового Великого Князя. Еще не завершились похороны и служилый, мастеровой и торговый московский люд прощально проходил перед гробом, выполняя свой христианский долг, в церкви Успения уже кипела предторжественная суета. Венчание предполагалось провести с небывалой еще пышностью, и митрополит, разрывавшийся между этими двумя событиями — похоронами и приготовлениями к венчанию — и не желавший ничего оставлять без своего присмотра, валился с ног от усталости. Главенствовали же во всем сторонники Василия и его покой-

ной матери Софьи. Стараясь услужить юному Великому Князю, они не вспоминали о Дмитриии; его словно бы и вовсе не существовало для них. Но Василий думал иначе. Видимо, хоть раз в жизни, но и властителей посещает чувство здравого смысла. К удивлению и недоумению холопотвавшихся перед ним вельмож, он решительно отказался от предлагавшихся ему пышных торжеств. Память ли о подобных торжествах с Дмитрием, когда, оттертый от амвона, он пережил вместе с матерью страшное, оскорбляющее достоинство унижение, или желание предстать перед народом в новом (определенном) облике (что во многом и удалось ему и закрепил за ним, хотя и ненадолго, славу мягкого, добросердечного и добронравного монарха) — история не дает документального ответа; известно лишь, что венчание его на престол действительно проходило скромно, в присутствии только самых близких ему бояр да родственников царицы, но еще прежде венчания, как жест некоего великодушия, будто он и впрямь даже в помыслах не держал единолично сесть на царство, принародно поделил государеву казну на равные половины и с охраной отправил причитавшуюся долю Дмитрию.

Произошло это на исходе первой недели ноября, в то бесснежное морозное утро, когда после обильно смочивших землю дождей все вокруг: дома, поля, дороги и обочины с торчащим по ним бодыльем, — все покрылось тонкой ледяной коркой; столь же хрупким прозрачным ледком была подернута и мощенная камнем площадь перед великокняжеским дворцом, на которой стояли подводы, уже нагруженные казной, стояли ратники, пешие и конные, отписанные сопровождать обоз, духовенство, бояре, дети боярские и тот простой и охочий до зрелищ московский люд, без которого, как без свечей и икон в церкви, невозможно было тогда (да и теперь, да, да, разве что изменилось?) никакое хоть сколько-нибудь значительное торжество. Нет, не венчанием в церкви Успения, а этим своим великодушным будто бы жестом, разделив, в сущности, не казну, а власть, как это должно было восприниматься всеми, он вступал на трон и начинал царствование. То, что было у него на душе, с какими мыслями и чувствами он отправлял казну Дмитрию, было скрыто от глаз; но то, что хотелось показать, то есть то внешнее и впечатляющее, по восприятию которого чаще всего как раз и создается мнение о правителе, его государственный, если так можно сказать, образ (да новой ли уже тогда была эта ложь, и не устарела ли и не применяется ли она ныне?), подавалось во всем своем развернутом великолепии и блеске, так что даже у митрополита, привыкшего действовать лишь по канонам и догмам, создавалось впечатление (в чем он и признавался позднее), что и в самом деле не нужно было после сих торжеств проводить венчание Василия на великокняжеский престол. Ясное, солнечное утро придавало всему еще большую торжественность, словно природа, умилившись великодушием юного монарха, ликовала вместе с людьми. Просветленным казался не только лик молодого Великого Князя, но некое будто обновление лежало на всем, что пронизывалось утренними лучами: на ратниках в доспехах, конях под ними и в упряжках, на толпе, а главное, ликах и одежде бояр и духовенства, богато смотревшихся на фоне позолоченных куполов Успения, Благовещения, церковей Чудова и иных кремлевских монастырей. Народу было громогласно объявлено, что хотя по хилости здоровья Дмитрий и отказывается от царства и что хотя Василий, понимая всю тяжесть возглавляемого на него бремени и согласно с завещанием родителя, вынужден принять державу, но и по слову, и по делу оставляет за Дмитрием право соправителя; и после этой прочитанной дяком грамоты митрополит с духовенством, сопровождавшим его, освятил подводы, а юный Василий во всем своем великокняжеском блеске чуть выдвинулся вперед и, перстами наложив на себя крест, в пояс поклонился отправлявшемуся обозу.

Есть ложь маленькая, личного, так сказать, частного свойства, и есть большая, государственная, когда обещаниями или внешним деянием, как было теперь с Василием, обманывается народ. О правителях обычно в народе складывается своя молва, и она более всего зависит от показных, обнадеживающих посулов. И хотя принято считать, что зло, нанесенное народу, не должно предаваться забвению, но все же добро, сотворенное правителем, если оно действительно является таковым, или по крайней мере пока не обнаружится подлог или обман в нем, — добро помнится дольше, и вокруг такого правителя образуетя как бы некий защитный, из уважения

и веры людей, нимб, способный иногда до конца царствования оберегать венценосца. Знал ли Василий о механизме, с помощью которого как раз и создается подобный защитный нимб, и действовал в соответствии с этим древнейшим законом властителей, успешно, впрочем, несмотря на весь свой обнаженный цинизм, применяемым и теперь, или, чувствуя потребность в такого рода щите, действовал интуитивно, на ощупь, как подсказывали и позволяли обстоятельства, — цель, он видел, была достигнута; он понял это прежде, чем обоз двинулся с площади к проему кремлевских ворот, понял по ликованию народа и настроению духовенства и бояр, не посвященных в царские планы, и могла ли хоть у кого-то возникнуть мысль о Дмитриии как о страдальце? Нет раздора в царском семействе — нет его и в народе, а из мрачных темниц не доносилось ни мученических криков, ни тем более безмолвных страданий обреченных. Казалось, даже само имя Дмитриия выпало из сознания народа, и, если бы не безвременная кончина царевича, память о нем так бы и ушла в небытие. «Смерть возвратила Дмитрию права царские, — уже спустя столетие будет сказано об этом царевиче (и я не могу не привести здесь вновь и полнее сие горестное суждение). — Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме Святого Михаила и преданного земле возле гроба родителя». Дмитрий, по свидетельству все того же историка, явился «одной из умилительных жертв лютой Политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире».

Но это, что предстает перед нами как история, для Василия было лишь — состоянием его жизни, кругом страстей, борьбой, в которой, как, видимо, полагал он, только жестокостями и коварством и можно было отстоять право на власть. (Само же право это, что оно может принадлежать ему, разумеется не подвергалось сомнению). Обоз уже скрылся за воротами Кремля, но Василий продолжал еще в задумчивости (в умилении, как это должно было представляться толпе) смотреть перед собой, возносясь мыслью к безграничью царской власти и не видя конца ни своим изощренным коварствам, ни своей жизни.

## LV

Спущенные к полу босые ноги Иоанна стыли, ночь в Коломенском для него продолжалась, полная не столько неожиданных кошмаров, сколько реалистических и потому страшных по впечатлительности видений. Но он не пугался и не искал, чем можно было бы остановить их. Прошлое с потоками крови и завалами из человеческих трупов, в котором и ныне, при наличии целых исследовательских институтов, трудно бывает расставить все по местам, интересовало его не с точки зрения уяснения народных нужд (да не многого ли мы хотим от самодержца?) и определения пути к благополучному будущему, — нет, подобное даже отдаленно не приходило в голову Иоанну; только в одном хотелось ему разобраться и установить истину: действительно ли по праву он занимал трон Российской державы, и если по праву, то власть его неколебима над всем и вся, или же не по праву, а узурпаторством, то есть насилием, кровью обagrив выше локтей руки, о чем знают бояре, духовенство, народ и что как раз и дает им основание, хотя и безгласно, скрытно, некими будто изменными делами противостоять ему. Всякую неправду, содеянную в истории, можно лишь вытравить из летописных страниц, но нельзя вытравить из людской памяти, и Иоанн, не раз уже принимавшийся собственноручно поправлять историю письменную (историю Руси, сиречь, свое династическое древо), более чем знал, насколько крепка и жива в народе память о минувших делах. Но, стараясь найти истину, Иоанн, в сущности, пытался доказать недоказуемое; он еще не был целостен во зле, а только оформлялся в этом ужасающем чувстве, и реализм картин и действий, открывавшихся ему, словно волной на скалы, вновь и вновь швырял его на острие исторических, но для него близких по памяти и живости событий. То, что для нас стоит за словосочетанием «собираение Руси» и что для Великих Князей московских, в том числе и, может быть, прежде всего, для деда и отца Иоанна было их жизнью, борьбой, причем беспощадной, с насилием и жестокостями, представая теперь перед Иоанном, не просто втягивало его в круг тех во многом бессмысленных злодеяний, но делало соучастником их, вознося на пик сей исторической державной пирамиды.

В предрассветном безмолвии, в еще нетронутой ночной темноте, в какую был погружен великокняжеский дворец и погружен Иоанн в своей спальне, мучимый бессонницей и выяснением истины, нужной разве что лишь для себя, крепости своих убеждений, но не для тех, кто, как считалось, противостоял ему и по-своему воспринимал и видел события, — словно задернутое черными шторками вдруг разверзлось перед глазами пространство, но уже не окровавленная прорубь с вылезшей из нее для упрека головой Дмитрия (не Иоанна же упрекать, не он же в конце концов был повинен в той совершившейся несправедливости), а подземелье с сундуком и свечой, нарами из соломы и дерзкой, подававшей еду охраной, то есть сами те мучения, на которые был обречен несчастный царевич и от которых, не выдержав их, скончался во цвете лет, не познав ни любви, ни славы, ни самой жизни, отведенной ему и коварством украденной у него, — мучения эти, как если бы Иоанн на себе испытывал их, разворачивались перед возбужденным, пристально впивавшимся во все взглядом. И он не фантазировал, нет; в отличие от отца, никогда не бывшего в этом мрачном подземелье, куда заточил Дмитрия и которое выбиралось верными, особенно холопствовавшими перед ним боярами, Иоанн еще в молодости, сразу же после встречи и беседы со старцем, иноком Вассианом, отправился туда, чтобы посмотреть, где томился юный царевич. При свете зажженных факелов разглядывал он серые, сочившиеся влагой стены, топчан, уже полусгнивший и обвалившийся, на котором проводил ночи Дмитрий и возле которого все еще грудкой лежала дотлевающая отшельническая одежда; ему показали место, где стоял сундук с казной и горела свеча, и все это, наполненное теперь как бы вторично живой жизнью, перехватывало дыхание и мысль и не позволяло шелохнуться Иоанну. Да, он чувствовал, ноги стыли; но сравнима ли боль физическая с болью душевной, хоть в малой, хоть в искаженной толике повторяющаяся сейчас в Иоанне? Если судить по опричным и послеопричным изуверствам этого царя, то в нем и в самом деле нельзя обнаружить ничего человеческого; но опричнина еще только созрела — как в сознании самого Иоанна, так и в сознании любимцев, прибывших с ним в Коломенское и весело, с благоговения здешнего игумена отпраздновавших это прибытие, — еще только вырисовывались ее зловещие контуры, тяжелым, кровавым восходом поднимаясь над державой, и в мрачной душе Иоанна, противоборствуя, сталкивались силы зла и силы теплившейся совести; даже преступник, идя на дело, хоть втайне, хоть только для успокоения старается найти оправдание своему поступку; тем приложимее это к Иоанну, который искал даже не оправдание, нет, совершенным и не совершенным еще им бесчеловечным делам (может быть, именно с него и началась столь устойчивая ненависть наших правителей к своему народу?), а искал опору, чтобы творить свои царские безумства. Но совесть, она может просыпаться и в палаче, и если мы не видим палача в минуты подобных мучений, то это вовсе не означает, что их не бывает у него. Спустя неделю, чтобы оградиться от душевных страданий (чтобы, главное, хоть как-то скоротать бессонные ночи), Иоанн найдет выход; он пристрастится ходить среди ночи к своему главному любимцу князю Афанасию Вяземскому, и в беседах, на какие только и был в противоположность холопской своей деспотичности способен сей уравненный по лествам с Иоанном князь, находил не то чтобы успокоение, но находил именно опору, твердея волей и укрепляясь во зле.

Для Иоанна ночь отсчитывала часы его жизни, для державы — приближала ее к неслыханным потрясениям, когда самодержец, представлявшийся богобоязненным и, может быть, как никто, страшившийся смерти, словно мясник на бойне с подручными, начнет на виду у многих тогда уже просвещенных народов изводить свой с одним только обесмысленным смыслом беспредельно возвеличиваться и править; но уничтожение физическое всегда соседствует с надрывом души, происходит порча народа, и у нас и теперь стыннут сердца при мысли, что кто-то один, поднявшийся над людьми, способен чуть ли не вдвое — и за одно лишь свое правление! — поубавить граждан в отечестве и на столетия затем задержать народ и в нравственном, и в социальном развитии. Но мог ли вот так, как мы видим теперь, увидеть деяния своих рук Иоанн (разумеется, мысленно, в воображении)? Да нет, ибо человеку свойственно не очернять, а обелять поступки, какие бы ни совершал, и если бы не эта способность унимать совесть в ми-

нуты ее наивысших терзаний, вряд ли Иоанн стал бы тем Грозным Иоанном, каковым, к несчастью своему, познал его русский народ и познала история. Все было для этого самодержца тленом, кроме себя; тленом, казалось, было даже то, о чем, сидя теперь на кровати со стынущими босыми ногами, он вспоминал, и династическое древо с многочисленными и перепутанными ветвями — древо не то чтобы раздражало его, но он готов был, схватив топор, посрубить с него все ветки и оставить лишь ствол, лишь одну ровную, нисходившую через византийских монархов к Августу Цезарю линию. Да и был ли Дмитрий? Для чего был, зачем думать о нем? И от картин подземелья, чтобы не угнетаться ими, Иоанн переносился в великокняжеские палаты отца, в которых, подрастая, познавал тягость сиротской, хотя и царской жизни. Годы те — годы детства — в сознании его лежали особым пластом, и он не хотел пока растревоживать их; он сохранял их как бы про запас, как камень за пазухой, который в отведенный час и с остервенением можно будет пустить в дело, а пока — шло лишь утяжеление его, лишь нагнетались в душе неприятие и злость ко всему и всем, и Иоанн уже не просто сидел на кровати, опустив ноги, а монотонно, в такт мыслям, как маятник, раскачивался всей своей худощавой, с остриями лопаток под рубашкой, спиной, ссутулившейся не столько от природы или образа жизни, сколько под тяжестью обступавших его видений и дум.

## LVI

Было у него еще одно означенное сим же кругом основание для беспокойства; и заключалось оно не только в том, что отец его, Великий Князь Василий III, совершив противохристианское дело, то есть отправив первую жену, Соломонию, в монастырь, тут же не последовал за ней сам, как подобало по церковным канонам, а вместо пострижения — принятия монашеского сана — с какой-то даже будто поспешностью женился на литовской княжне Елене Глинской, будущей матери Иоанна, но, поправ закон духовный, явил пример и для светской безнравственности и, желая как можно сильнее понравиться этой воспитанной на западный манер красавице, начал брить бороду и усы и, молодясь таким образом перед ней, с безобразно голым, как считалось тогда, лицом являлся перед боярами и народом. Но Иоанна интересовало сейчас не это, не внешняя атрибутика, которой, чтобы все оставалось неизменным, под старину, особенно придавала значение церковь (и не с тех ли времен, не от церковных ли традиций, против которых, рискуя попасть в еретики, выступал еще Нил Сорский, явилась в народе наша страсть к формам внешним в ущерб содержанию?); как музыкант к струнам, чтобы издать звук, тянулся Иоанн к сути явления, к человеческой душе, издающей свои, неслышные звуки, и в этой связи, мне кажется, он даже самую жизнь и смерть, эти главенствующие дар и ограничитель природы, составляющие и поныне основу и тайну бытия и небытия, — даже их (но применительно не к себе, нет, потому что известно, как сам страшился смерти и, умирая, цеплялся за жизнь) он пренебрежительно относил к неким будто предметам обихода, кои можно внести, поставить или убрать из дворца; в сущности же, как показали «игуменские» будни в Александровой слободе, Иоанна занимал и улаживал сам процесс мученичества, само это действо, когда у человека отбиралась жизнь, и, думая теперь об отце, о Соломонии и о своей матери, Елене, он не столько всматривался в их поступки, сколько старался проникнуться состоянием их души и через это состояние постичь их изначальную сущность.

Современники Василия III, чтобы обелить поступок Великого Князя и вызвать у людей сочувствие к нему, придумали некую слезливую историю про птичье гнездо и птенцов в нем, глянув на которых («едучи однажды на позлащенной карете вне города»), Великий Князь прослезился и воскликнул: «Птицы счастливее меня: у них есть дети!» Затем будто бы обратился к боярам с жалостливым посланием, что, дескать, не имея наследника, не видит, на кого оставить Великое царство, на что бояре ответили, что «неплодную смоковницу посекают, а на ея месте садят иную в вертограде». Они подтолкнули Василия, как замечают позднейшие уже историки, на «дело жестокое в смысле нравственности: немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную, добродетельную супругу, которая двадцать лет жила единственно для его счастья; предать ее в жертву горести, стыду, от-

чаянию; нарушить святой устав любви и благодарности». Духовенство, как и должно, наверное, сейчас же разделилось во мнении. Одни во главе с митрополитом Даниилом, стоявшим ближе «к делам мирским, чем к Духу», выступили в поддержку Великого Князя, другие, сгруппировавшись вокруг инок Вассиана, того самого князя Ивана Юрьевича Патрикеева, насильственно вместе с сыном постриженного в монахи, с которым позднее как раз и встречался и беседовал Иоанн, выступили против намерений Государя. Иоанн в подробностях знал эту историю, но из общей цепи событий он выхватывал сейчас лишь те узловые, в которых, как высеченные рампой на сцене представляли характеры действовавших тогда исторических лиц. Словно бы силой он распахивал перед собой опочивальню царицы — в тот день, час и миг, когда к ней вошли объявить, что она должна добровольно принять монашеский обряд пострижения. Еще не старая, в здоровье и силе, ни минуты не колебавшаяся в своем счастливом замужестве, привыкшая к нарядам, почестям, роскоши, то есть ко всей своей высококравной, свободной в проявлении желаний царской жизни, — можно представить, с каким леденящим душу неверием восприняла Соломония это ужасающее известие; стоявшая у окна, спиной к свету, она так и застыла от охватившего ее страха и широко открытыми глазами смотрела на вошедших святителей и Шигону-Поджогина, прислужника мужа, известного при Дворе своей псовой преданностью и беспощадностью в исполнении великокняжеской воли.

Святители молчали, молчал Шигона-Поджогин, тупо, без сочувствия, без жалости (подобные услужники обычно выполняют такого рода поручения с особым сладострастием) сверливший ее глазами, молчала Соломония, не желавшая еще понимать, но понимая уже всю нависавшую над ней безысходность. Она мучилась своей бесплодностью не меньше, чем мучился этим Василий, и сколько раз — и тайне от него, и вместе с ним — выезжала поклониться мощам святых угодников, истощала себя в молитвах, прося чуда, принимала знахарок и пила их настойки из кореньев и трав, так что за одни лишь эти усилия Господь должен был смилостивиться над ней и вознаградить ее; но Господь словно бы оставался слеп и глух к ее просьбам, дитяти не было, и хотя Василий, видимо, и в самом деле любивший Соломонию за добрый нрав и лепоту, как говорили в старину, ее лица и тела, не подавал даже повода усомниться в его отношении к ней, но в глубине души у нее (со свадьбы ли, с роковой ли минуты, что вернее, когда увидела свекра-монарха на смертном одре) постоянно, не унимаясь, билась тревога, что счастье ее не вечно, что рано или поздно нить его оборвется и наступят для нее дни мрака и безвестия; она гнала эту мысль прочь, не позволяла себе верить в худшее, отдаваясь жизни, как не могла, не хотела позволить теперь, стоя перед святителями и Шигоней-Поджогиним, окативших ее сей черной вестью. С криком: «Нет, не-ет!» — она кинулась было к двери, но святители живою стеной преградили ей дорогу. Она хваталась за складки их широченных одежд, за кресты, болтавшиеся на их животах, стараясь пробиться к двери, к мужу, чтобы объяснить с ним, но ее усадили на скамью и вновь объявили, что такова воля Великого Князя, что он не может видеть ее и что ей лучше всего добровольно согласиться на пострижение. Но Соломония не желала ничего слышать. Она то вскакивала, бросалась к выходу, то визжала, когда ее, заламывая руки, водворяли на место, то, притихнув, горько, даже будто по-младенчески заливалась слезами, и, когда, чтобы уговорить (утешить!) ее, явился митрополит Даниил, она отвернулась от него, заявив, что он выступает против Бога, что никаких насильственных действий не признает над собой и что проклятье падет на сей дом и род, если свершится неправое дело. В какую-то минуту кинулась даже будто на митрополита, чтобы прорваться к двери, сбила Первосвятителя с ног, но только еще более осложнила свое положение. Ее закрыли в палате, а когда стемнело, доложив Василию, что все улажено, что Соломония, осознав вину, с охотой согласилась на пострижение (докладывал Шигона-Поджогин, сей ложью свято будто бы принимая тяжесть страданий на себя), в глухой, зашторенной повозке отправили в церковь для пострижения.

В центре церкви, перед иконостасом, алтарем и амвоном, усадили на скамью Соломонию. Затем принесли монашескую одежду и положили у ее ног, на холодном каменном полу. В присутствии лишь монахинь она должна была переодеться, сбросить великокняжеское и облачиться в схимное, и

отцы церкви вместе с Шигоной-Поджогиным, стоявшие возле нее, намерились было удалиться, чтобы дать возможность переодеться ей, когда Соломония вдруг, вскочив, начала с отчаянием рвать и топтать принесенное ей монашеское одеяние; она кричала о своем несогласии, звала супруга, обращалась с мольбами к Богу и Богородице, и страдальческий вопль ее, возносясь под купол и усиливаясь там, оглушительно обрушивался затем на всех, кто был в церкви. Словно от дуновения ветра метались и трепыхали язычки свечей, горевших перед иконостасом, и лики святых, будто ожившие под впечатлением происходившего, с ужасом (какой, впрочем, и во все иные, спокойные минуты прочитывается в их глазах) смотрели, как именем Бога и по Его будто бы повелению совершалось очередное насилие. Лицо Соломонии было красно от гнева и слез, волосы распущены, она продолжала сопротивляться, крича и беснуясь, и тогда Шигона-Поджогин, наперняка имевший от Государя право на вседозволенность, вскинул плеть и с силой огрел ею Великую Княгиню (не принявшая обряда, она была еще Великой Княгиней) по спине. Удар был настолько резок и ошеломителен, что Соломония в первое мгновение даже не поняла, что произошло с ней; она рванулась от боли вперед, упала, а когда ее вновь усадили на скамью, уже не кричала, а только бессмысленно смотрела перед собой, не веря, может быть, ни в земную, ни в Божью справедливость. Молодая безвестная монахиня произнесла за нее монашеский обет, затем Соломонию переодели, нарекли старицей Софьей и отправили в Суздаль, в Покровский женский монастырь, где она и была помещена в келью под строгий надзор настоятельницы. Увозили ее ночью все в той же глухой, закрытой повозке, сопровождаемой ратниками, и, не подозревая того, она первой прокладывала ту страдальческую для постылых монарших жен дорогу, по которой будут отправлять их, в сущности, в небытие, обливавшихся слезами и без малейших надежд на сострадание и помощь. В эту же обитель и Петр I отправит свою нелюбимую супругу, царицу Евдокию Лопухину.

## LVII

Во дворце ни в тот день, ни в ночь, когда столь печальным образом решалась судьба Васильевой супруги, не было заметно ни суеты, ни движения. Никто не осмеливался осуждать великокняжеское дело. В неведении же, как это и случается обычно, оставались только родственники обреченной и народ. А утром, когда было объявлено о неожиданном (и добровольном, конечно же) пострижении Соломонии, изменить что-либо было уже нельзя. Никого из Сабуровых, почти два десятилетия неизменно стоявших у трона и пользовавшихся благорасположением Государя, не только не допустили к нему, но не допустили и ко Двору (как, впрочем, и теперь, если уж на кого кладется опала, то она падает на весь род). Многих из родственников царицы попрячут затем по монастырям и темницам, оправдательно заявив, что пришедших из безвестности к великокняжескому двору лишь вернули в их святую безвестность, хотя представителю этой фамилии надлежало еще прочесть свой кровавый след на лице русской земли; притесненными окажутся инок Вассиан и святители, осмелившиеся поддержать его, и, напротив, великокняжеская благосклонность повернется к Даниилу, монастырям будут отписаны новые вотчины, а митрополиту преподнесены царские дары. Церковным собором Василия освободят от супружества и, не теряя времени, при Дворе приступят к сватовству Елены. Но для Иоанна, воспроизводившего теперь перед собой те давние даже для него события, судьба Соломонии не заканчивалась на ее насильственном пострижении и заточении в Покровском монастыре. Более того, как раз с ее заточения и начиналось то главное, что заставляло сидевшего на постели царя с опущенными к полу босыми ногами волноваться и подвигаться к истине. Для него право на трон, то есть на царство, как говорили тогда, было не просто важным, с детства почти беспокоившим вопросом (особенно же вставшим после встречи с иноком Вассианом), но было болезнью, которую принято называть комплексом неполноценности и которая лечится, если вообще поддается лечению, только полной и, главное, «оправдательной», когда таковая находится, правдой. Мучимый этой страшной и обычно сопровождающей тиранов болезнью, Иоанн невольно распространял ее на всех вокруг, полагая, что все только и живут вопросом, по

праву ли он на троне или не по праву, и так как исторические события нельзя одновременно искоренить из памяти народа, из холопской, как называл он, памяти, причисляя сюда и бояр, и святителей, то не попытаться ли хотя бы в нужном направлении (и все для тех же холопьев, для народа) истолковать их? Он чувствовал, что одного только того, что он царь и что этим будто бы все сказано, было недостаточно; требовались фактические подтверждения, и если уж говорить откровенно, то истина более нужна была самому Иоанну, чем окружающим. Именно здесь, в Коломенском, в эту первую бессонную ночь болезненные сомнения его достигли той высоты раздела, когда оставалось только два пути, которыми мог двинуться Иоанн, — спокойным, уравновешенным, если, разобравшись в прошлом, удастся установить нужную истину, или кровавым, тираническим, утверждая эту же истину силой в державе. Чувствуя в себе еще не до конца утраченную человечность, он пытался спастись и готов был схватиться за соломинку; но, может быть, как раз оттого, что история не представляла ему этой соломинки, — с еще большей, чем теплившаяся человечность, силой созревала в нем готовность к действиям страшным и непредсказуемым. Ведь тираны не вырастают на почве государственных нужд, в чем пытаются и с особой иногда настойчивостью заверить нас историки и философы, кормящиеся так ли, иначе ли с царских столов; нужды государства есть нужды народа, а народ, позволивший унижить себя до ранга холопьев, да стоит ли он вообще, чтобы заботиться о нем? Но тираны не вырастают и из мелочей, как можно было бы заметить, наблюдая сейчас за Иоанном, потому что — слишком несомнестимыми кажутся послысы с результатами деяний, когда, словно Мамай (сравнение тех, Ивановых времен), самодержец отправляется огнем и мечом покорять свой народ; теперь это называется геноцидом, прежде называлось — привести к повиновению и целованию; но и в том, и в другом случае на передний план выступают амбиции личные, амбиции власти, коей надлежит быть не иначе как всеподавляющей, всеохватной, и у меня нет основания отрицать, что сии амбиции не складываются именно из мелочных (с точки зрения истории и народных нужд), личных притязаний, оскорбленности и обид, из шкурных, да, повторяю, шкурных интересов сохранения династии, трона за собой, жизни и власти. Дед Иоанна, Государь Великий Князь Иван III, опасаясь претендентов, запятал кровью своих единоутробных братьев беспорочный будто бы свой великокняжеский трон; вслед за ним точно то же сделал и Василий III, отец Иоанна, притеснив братьев, особенно Андрея Старицкого, будто бы и в самом деле покушавшегося на престол, и точно то же предстояло совершить Иоанну, и в конце концов он так и поступил, заточив и казнив уже сына Андрея, своего племянника, князя Владимира Андреевича Старицкого с матерью, княгиней Ефросиньей (она была, по одной версии, задушена в келье, а по другой — утоплена в реке); но для Иоанна роли этой, видимо, было недостаточно, он чувствовал в себе не просто палача своего великокняжеского семейства (взять хотя бы страшное убийство сына), но палача державы, которая по Божьему будто бы изволению, как утверждалось им, была дана ему в рабство.

Говорят, что, когда действуют цари, народ безмолвствует. Если со стороны оценивать историю, то утверждения подобного рода бесспорны и очевидны. В них проглядывает даже некая зловещая краснота, наполненная вроде бы глубоким смыслом. Но стоит чуть изменить ракурс взгляда и непосредственно прикоснуться к событиям, как перед глазами вырастает совсем иной облик народа, не упускающего ничего из происходящего вокруг и дающего всему свою неумирающую оценку. Народ не принял противохристианского дела Василия и не поверил святым отцам, приговорившим (по вдруг открывшимся будто бы им церковным догматам) освободить его от прежних супружеских уз; люди простые, не обладавшие информацией, сейчас же почувствовали, что при великокняжеском дворе свершилась какая-то очередная несправедливость, и, не имея иной, действительной возможности исправить ее, прибегли к обычному своему средству — распространению молвы в защиту Соломонии как невинной страдальцы, и тут неважно было, от кого первым исходил слух, от самой ли ставшей старшей Софьей Великой Княгини или кого-либо еще, кто находился рядом с ней и переживал за нее, а важно было, что слух этот, будто Великая Княгиня была уже беременной, когда привели ее на пострижение, и что затем, в мо-



настыре, родился у нее сын, царевич Георгий, которого как будущего мстителя за свое поругание она передала для воспитания в надежные руки, — слух этот, хотя ничем вроде бы и не подтвержденный, распространялся не только в народе, но и среди бояр, духовенства, доходил и до Василия и болезненно задевал его. Известно, что Василий не раз отправлял приближенных проверить слух (что-то же наподобие совести еще просыпалось в нем), дознания проводились и среди монахинь, и по ближайшим посадам и деревням, и, конечно, среди тех, кто хоть как-то был связан с Соломонией и ее родственниками, отчего только умножались страдания и безвинно заточались и обезглавливались новые и новые жертвы. Но возможно ли отыскать то, чего не существовало на свете? Никакого Георгия не находили, но сколько ни объявлялось об этом народе, слух о некоем грядущем будто бы мстителе не утихал, как если бы и в самом деле люди не желали расставаться не с легендой, не со сказкой, порождавшей надежду, а с правдой, которую нельзя ни изменить, ни убить. Василий так и умер в сомнениях и неведении (от пустячной, как уже говорилось, на ноге болячки, и смерть его не только приверженцами Соломонии, но и многими боярами и святыми была воспринята как Божья кара), и после его кончины слух о взраставшем мстителе новой и еще более сильной волной прокатился в народе. Иоанн же впервые услышал об этом несуществующем царевиче еще при жизни матери, а затем, уже в реалистических будто подробностях, поведал ему об этом все тот же инок Вассиан. Бывший князь, стоявший в свое время и за Дмитрия, и за Соломонию и пострадавший за сию свою преданность им, немощный и не думавший уже ни о чем, кроме как о душе, ничего не желавший и не ждавший ни от своей иноческой жизни, ни от жизни вообще, ни тем более от явившегося к нему в келью юного Иоанна, хотя еще и не помазанного на царство, но с пеленок провозглашенного Великим Князем, — сей старец, не боявшийся уже ни новых опал, ни иных каких притеснений, не мог, как это казалось Иоанну, солгать. И хотя Вассиан тоже ссылался только на слухи, но и в словах его, и в интонации голоса было столько убежденности (он привел даже фразу, сказанную будто бы самой Соломонией, что, дескать, «в свое время ОН явится в могуществе и славе»), что уже тогда, в келье, слушая инок, Иоанн решил отыскать Георгия и поговорить с ним.

## LVIII

Но и для будущего самодержца (в то время еще только юного царевича) одно дело было — задумать и совсем другое — исполнить задуманное. Он отправился на поиски скрытно, под предлогом осмотра монастырей и обычного для великокняжеских наследников поклонения мощам святых угодников, оберегавших будто бы духовно, нравственно да и физически, как понималось тогда, Русь и помогавших сохраняться ей в чести, целостности и стоять против всех внешних и внутренних напастей, и под предлогом знакомства с сей славной державой, коей уже предназначено было ему управлять. Конечно, можно представить, каковым было сие ознакомление, когда в позлащенной (по выражению тех лет) карете или верхом на резвом, танцевавшем под ним коне юный царевич в сопровождении толпы столь же юных и по-разбойному весело настроенных боярских отпрысков катил по дорогам России, останавливаясь лишь в богатых монастырях, в домах воевод и всякого рода иных государевых людей, рассаженных по необмерной уже в ту пору (и с россыпью деревень) земле на кормление. Да кому же не хотелось по достоинству встретить и принять грядущего властелина? И разве не устлались — и до, и после подобной поездки — дороги перед просветленным царским ликом «потемкинскими деревнями», и разве не происходит это же и теперь, может быть, даже с удесятеренными в усердиях низкопоклонством и лестью? Пирь, обеды, речи, услаждающие слух, и опять пирь, обеды, речи — во всем этом было нечто развращающее, открывавшее как бы негласно, невольно дверь ко вседозволенности, и если не брались еще штурмом монастыри и крестьянские поселения, не поджигались избы и не ставились на правож (когда били палками по ногам, вымогая деньги и драгоценности) простые, невинные люди, но что-то уже близкое к этому или, вернее, напоминающее э т о, что войдет затем в плоть и кровь самодержца, разыгрывалось на подступах к посадам и деревням Бо-

ярские отпрыски, возглавляемые разгоряченным, ликующим Иоанном, с криком и гиканьем, срываясь с лесных опушек, вливались в деревенские улицы, рушили овины, гоняли и убивали скот на глазах у перепуганных селян, и все это, называемое царскою шалостью, не только не вызывало осуждения у бояр-опекунов, засевших в Кремле и деливших между собою не им принадлежавшую царскую власть (когда же им было подумать о будущем народа, державы?), но, напротив, снисходительно поощрялось как проявление и незаурядности ума, и воинского духа, столь необходимого будто для российских венценосцев. Чуть позже налеты подобные совершались уже в Москве на торговые лавки и кварталы мастеровых, и, словно от великих дел, Иоанн бывал доволен после подобных налетов; в нем просыпалась разнузданность, поощрявшаяся (и на свою же гибель) облепившим трон знатным боярством, но — не это теперь занимало и волновало Иоанна; он искал не истоки своего воеводства, не истоки пороков, с детства копившихся в нем и, как и должно, представлявшихся самому себе совершенством, но правовую возможность на безграничное проявление сего «совершенства», давно и Богом будто бы данного ему.

Наверное, правильно полагают, что обретенное в детстве непременно затем, с возрастом, проявляется либо пороком, либо добродетельностью. Обретавшееся Иоанном в его сиротстве, известно, чем оно обернулось в зрелые годы. Но в то же время сиротство, как бы мы ни характеризовали и не осуждали его, говоря, что пример родительской жизни и родительская теплота одинаково нужны как подростку из простолюдинов, так и царскому отроку, иногда оборачивается и положительной чертой, приучая к ранней самостоятельности. Иоанн, росший почти в забвении, часто с тоской замечал, что он никому не нужен, и состояние это, когда перед ним открывался мир, как он открывается перед каждым, входящим в него, и когда, испытывая потребность поделиться своими детскими впечатлениями, он видел, что поделиться было не с кем, — состояние сие приводило к замкнутости, к тяжелым, хотя и детским еще раздумьям и оборачивалось непредсказуемостью действий. За пышными обедами, кутежами, по-ребячи разбойными налетами на усадьбы деревенских и посадских людей, коими сопровождалось царское путешествие и когда, казалось, поддавшись увлечениям, можно было забыть обо всем, Иоанн не только помнил о главном, что составляло хотя и тайную вроде бы цель поездки, но и прилагал более, чем можно было, усилий, чтобы отыскать хотя бы след неизвестного ему царевича Георгия. Именно в этом путешествии впервые проявилась та внешняя, разумеется, непоследовательность, непредсказуемость действий, ставшая затем роковой и для сподвижников его, и для державы, в которой, если бы кто осмелился заглянуть в душевный мир Иоанна, были не то чтобы и своя логика, и своя последовательность, но — разрозненное, не поддающееся, казалось бы, сцеплению, предстало бы более чем скрепленным между собой и подчиненным одной цели. Он, возможно, и не осознавал до конца, для чего нужно было ему найти Георгия; с одной стороны, в испорченном еще сознании его теплилось желание восстановить справедливость, то есть своей добротой заглядить вину отца (уже много позднее, но подвижный, видимо, этим же чувством, Иоанн приблизит к себе родственника Соломонии Бориса Годунова), но с другой — Георгий был его соперником и имел точно такие же, если не большие, права на престол, и тут срабатывала совсем иная, но столь же важная для достижения цели логика. Уже на подъезде к Покровскому женскому монастырю, в котором томилась и, по слухам, родила своего царевича Соломония, все заметили, что Иоанна словно бы подменили; он уже не скакал, а, пересев в карету, с задумчивостью вглядывался, как из морских будто глубин выростал и разворачивался на фоне закатного горизонта церковноглавый и не во всем еще потерявший тогда своего значения и славы древний Суздаль.

Именно с этой минуты, когда небольшая царская кавалькада остановилась у монастырских ворот, уже взятых на засовы на ночь, и когда Иоанн, выйдя из кареты, чтобы поразмяться в ожидании, пока будет доложено игумене и отопрут и откроют ворота, прохаживался по песчаной отсыпке возле этих ворот, взирая на них, — с этой именно минуты, словно ожив всеми теми красками вечера, на какие только и бывают щедры наши затяжные июльские российские вечера, ступком мыслей и чувств все разворачивалось теперь перед бодрствовавшим в ночи (в зимней коломенской

ночи) Иоанном, не столько возвращая его в прошлое, сколько обдувая ветром им же самим задуманных державных перемен. Он был сейчас еще более не уверен, существовал ли вообще Георгий, или его вовсе не было? И не из доброты, не из желания восстановить справедливость хотелось ему доискаться до истины. Словно на скрип открывавшихся ворот, как и тогда, но теперь только мысленно, он обернулся и решительно, опередив лошадей и карету, вошел в монастырский двор. Беглый взгляд его разом охватил все монастырские строения — кельи, трапезную и дом игуменьи, стоявший особняком и сейчас же выделявшийся своей монастырской именно опрятностью, и церковь возле этого дома, глянув на которую, Иоанн перекрестился. За церковью проглядывало кладбище, ухоженными своими холмиками и частоколом крестов, словно народ на вече, собравшееся под зеленью молодых берез, и тут же был виден яблоневый и вишневый сад с кустами смородины и крыжовника; и от всего этого, казалось бы, уже утравшего в сгущавшихся вечерних сумерках, но в то же время вполне еще и в красках различимого и напоминавшего скорее большой хозяйский двор, чем место для угрюмых аскетических самоистязаний человеческой плоти (сотворенный Богом, разве человек сотворен не для жизни, и разве не жаждет ее всегда и во всем?), — словно бы излучались уют, теплота и основательность тихой, добронравной, с одной лишь заботой труда (в данном случае: усердия в служении Богу) мирской жизни. На земле все есть не иначе как выражение мирских дел, включая и иночество, и все другие подобные отречения, какие только случались или могли случаться среди людей, и Иоанн не то чтобы вполне осознавал это, видя в духовниках все тех же алчущих богатства и славы бояр, с которыми так тесно и неутоно, казалось ему, общаться и жить, но, с детства лишенный простых, семейных радостей, лишенный родительской теплоты, ласки и постоянно, во все продолжение своей жизни (лишь с разной степенью одержимости) тянувшийся к ним, — Иоанн даже на мгновенье вдруг вздрогнул и остановился, словно не воображенной явью, а самой панорамной действительностью все вернулось к нему и захватило его.

Получив от вышедшей навстречу игуменьи благословение, Иоанн отправился в отведенную для него часть монастыря. Прибывших с ним разместили по кельям, потеснив монахинь, в трапезной накрыли столы, и после недолгой и скромной, как только и могло быть в женской обители, трапезы все разошлись по местам. Над монастырем и церковью опустилась ночь — тихая, лунная, умиротворяющая, какой она только и может восприниматься посреди благочестия и святости и как и воспринимал ее Иоанн, со свечою в руке подошедший к раскрытому окну. Несмотря на усталость, он не хотел спать, тишина даже как будто возбуждала его; но, взглядываясь в нее и прислушиваясь к ней, он воспринимал и слышал лишь себя, лишь свои, которые и теперь не мог определить, какими они были, мрачными, тревожными или умиротворяющими, мысли. Задув свечу, он продолжал еще некоторое время уже из комнатной темноты вслушиваться и взглядываться в ночную лунную тишь, тогда как безмолвие это вовсе не было безмолвием; молодые монахини, взволнованные явлением столь статных, один к одному, молодых, то есть юных вельможных чад, сопровождавших красавца Великого Князя, истово молились по кельям, изгоняя греховные из себя помыслы и подавляя желания плоти, равно как и молодцы, чувствуя соседство молодых женских тел, до зари не могли сомкнуть глаз.

## LIX

Утром, отстояв молебен и позавтракав, Иоанн явился в палаты игуменьи и с почитительностью принятый ею и проведенный в гостиную начал расспрашивать ее о Соломонии, вернее, старице Софье, более полутора десятка лет назад привезенной сюда и родившей будто бы здесь сына, царевича Георгия. Игуменья, знавшая об этой истории лишь по рассказам и более даже не о самом этом придуманном рождении младенца в стенах монастыря, сколько о допросах, дважды или трижды чинившихся здесь приезжавшими от Великого Князя из Москвы доверенными людьми, — игуменья, насыщенная об этих именно ужасающих допросах, после которых всякий раз дело заканчивалось похоронами допрашивавшихся монахинь, в первое мгновенье была настолько ошеломлена и напугана, решив, что и

юный Великий Князь со свитой прибыл в обитель за тем же, что не могла ничего сказать, а только, побледнев, смотрела на Иоанна, невольно, как это и бывает в подобных случаях, стараясь по выражению лица будущего монарха России угадать его замыслы. Но лицо Иоанна было светлым. Достаточно отдохнувший и полный еще тех дорожных впечатлений, кои разбойной веселостью уже очерчивали перед ним выход к свободе и вседозволенности (царской, добавим, и потому подсудной лишь Богу), — он не только не склонен был хоть к каким-либо жестокостям в это заломнившееся у игуменьи утро, но, напротив, нечто даже игривое пробуждалось в нем от сознания обретавшейся им монаршей силы. Он уже тогда чувствовал, что мог сделать все, что захотелось бы ему сделать, и сознание этой силы делало его великодушным и добрым. Позднее, когда от этой юношеской неиспорченности уже ничего не останется в Иоанне, он по-иному будет смотреть на мир и на людей; но — дорога в будущее, как можно было бы сказать, не путаясь преувеличений, пролегала и через эту гостиную игуменьи и разговор с ней, и юный Иоанн не без любопытства разглядывал залитые утренним солнцем (и далеко не аскетическое, как можно было бы предположить) жилище настоятельницы. Молодые послушницы, руководимые келаршей, внесли самовар, мед, варенье и всякое сдобье, какое по обычаю (но более, видимо, по достатку) тех времен подавалось к чаю, и уже за этим утренним чаепитием, то есть скорее в мирской, чем в монастырской, со сдерживающими началами обстановке (что опять словно бы напоминало Иоанну, что и святость есть не больше, не меньше, как проявление все той же человеческой жизни), оправившись от испуга и расслабившись, игуменья разговорилась и со степенностью, присущей сану, положению и возрасту, рассказала обо всем, что было известно ей о некогда жившей в обители старице Софье.

Люди из достатка и роскоши всегда отличимы от людей труда. Настоятельница выглядела упитанной, холеной; особенно заметно это было, когда, желая угодить Иоанну, она подносила ему блюда с печеньем, пряниками или подкладывала варенье и мед в розетку; из широкой иноческой одежды ее вдруг словно бы высвобождались белые пухлые руки, налитые неким молитвенным будто жиром, и юный Иоанн с удивлением видел, что настоятельница была еще достаточно молодой, полной сил женщиной, что щеки ее — кровь с молоком, как горвят в народе, — отдавали девичеством, да и в манере вести разговор проглядывало нечто не только отдаленное от иноческого бытия, но не отторгнутое еще мирское, даже кокетливое, что всякую женщину делает женщиной, в каком бы одеянии, сае или звании она ни предстала перед людьми. Купив игуменство (хотя и скрытно, как делалось тогда многими), она заодно, видимо, уверовала и в свою святость и предназначение, и Иоанн, взглядываясь в нее, находил в ней даже нечто созвучное и своему настроению, и мыслям. Он вынес для себя два важных момента из разговора с ней. Первое — что еще при его отце, Великом Князе Василии, общавшихся с Соломонией монахинь рассредоточили по разным обителям и настоятельница не знала, по каким именам и как сложилась судьба их в дальнейшем, живы ли или уже покоятся в вечности; и второе — что она сомневалась в самой возможности рождения младенца в стенах монастыря и могла показать только могилу старицы Софьи и еще нескольких стариц, замученных при допросах и похороненных рядом с ней. Иоанн тут же выразил желание побывать на могиле бывшей Великой Княгини, страдальицы Соломонии, но в то время, когда уже собрались идти на монастырское кладбище, начинавшееся сразу за церковью, вдруг выяснилось, что в монастыре была еще жива одна из свидетельниц той давней разыгравшейся трагедии, и так как по старческой немощности инокиню ту нельзя было привести к игуменье, то и решено было пойти к ней и там, в келье, обо всем расспросить ее.

Горевший желанием узнать подробности и зацепившись теперь, как за надежду, за эту возможность поговорить с очевидицей событий, Иоанн первым вошел в тесную, сумрачную, со спертым запахом умирающего старческого тела келью. Едва сделав несколько шагов от двери, он остановился. Если бы кто-то и взялся внушить ему истинный смысл монашеского отречения, то любые слова вряд ли сказали бы больше или сильнее уму и сердцу, чем эта наглядная убогость и нищета, в какой — не жила, нет, а умирала обеззубевшая уже и с редкими седыми волосенками на голове, по-

износившаяся в молитвах и бдениях женщина. На дощатом столе возле ее кровати лежал образок, горела свеча, и юная, восприимчивая еще душа Иоанна содрогнулась при виде этой страшной, называемой святостью убогости, до какой способен довести себя человек, поставивший целью служить Творцу и отказавшийся для этого от насущных потребностей жизни. В молодости все воспринимается острее — и чужая бедность, и чужие страдания, и боль; пройдет время, и самодержец Иоанн уже не будет замечать ничего, что не затрагивает его собственных дел и жизни, и в неравенстве людей и в их невозможности проявить себя узрит лишь изволение Божье и, как и предшественники его, его отец и дед, с царским высокомерием начнет присваивать себе и чужое добро, и чужие славу и честь; но — он так и стоял теперь, словно застыв, перед умиравшей монахиней, забыв о Георгии и обо всем, для чего пришел в келью, и испытывая лишь юношеское и потому особенно действительное сострадание к ней. Несколько раз он переводил взгляд с умиравшей в лохмотьях на жестком топчане инокини на настоятельницу, столь резко выделявшуюся, особенно здесь, в келье, не угасшими в ней потребностью и силой жизни из аскетизма и убогости того мира, какой теперь окружал ее и Иоанна и которым она помазана была руководить (как это же, только в ином, державном масштабе, зеркально отразится затем на судьбе Иоанна), и тот недоуменный вопрос, какой непременно задал бы себе всякий, увидев сие различие людей, одинаково будто бы отрекшихся от соблазнов жизни, чтобы служить Богу, истощая плоть и дух, — вопрос этот хотя, может быть, и невольно и на какие-то мгновения, пока и глаз, и слух не пообыклись в полусумраке кельи и изначальная цель, с какою вошел сюда, не вернулась к Иоанну и не захватила его, — вопрос этот, непонятный по каким-то своим соображениям игуменьи и не замечавшийся ею, был ясно выражен в глазах и на лице будущего монарха. Игуменья пригласила его сесть на скамью напротив умиравшей, и, обняв ей, кто был Иоанн и с чем пришел, приступила было к допросу, но старица только смотрела на Иоанна своими округлившимися то ли от страха перед властью, явившейся, как уже было однажды, к ней, то ли страха перед смертью, надвигавшейся на нее, и ничего не говорила. От нее нельзя было добиться ни слова, и Иоанн, первым почувствовавший это, встал и решительно вышел из кельи.

Говорят, что, чтобы избавиться от гнетущих мыслей, нужно сменить обстановку жизни; но как ни тепло, как ни солнечно было во дворе и на кладбище, куда настоятельница повела Иоанна и куда тут же последовала за ними вся позавтракавшая уже и изнывавшая от безделья свита, и как ни благоухало все летними запахами трав, огородов, садов, полей и леса, лежавших за монастырскими стенами и начинавших от них, — Иоанн так и не смог вернуться к изначальному своему состоянию, с каким, войдя утром к игуменьи, чаевничал с ней, чувствуя и в себе, и вокруг соединенность святости и мирского, то есть то единство, какое только и способно умиротворить человека и подвигнуть его на доброе дело. Он стоял перед могилой Соломонии суровый, строгий (не по летам задумчивый и мрачный, как позднее скажут о нем, пытаясь истолковать и эту задумчивость его как некое предзнаменование), и, хотя все происходившее в Иоанне было для него всего лишь тяжестью впечатлений, вынесенных из кельи, — настоятельнице и всем казалось, будто юный наследник престола проникался сочувствием и скорбью к усопшей. Иоанн смотрел на могилу Соломонии, могилы старец, пострадавших за нее и теперь покоившихся рядом, но ни мыслями, ни душой не соединялся с их судьбами; его более даже занимала муравьиная дорожка, пролежавшая между могилами, по которой непрерывно, как ручеек, двумя потоками суетливо бежали крохотные труженики земли, и от их ли суеты, говорившей о бесконечности бытия или какого-то отдохновения, что ли, вернее, усталости, когда хочется не думать, не выстраивать жизнь, а отдаваться ей со всей безоглядностью и верой в изначальность ее справедливости и доброты, — само желание разыскать Георгия словно бы отдалилось, отошло от Иоанна, и все происходившее потеряло для него тот главный интерес, с каким, отправляясь на поиски, он в такое же вот ясное утро выехал из Кремля. Веселые, с разбойной удалью скачки, налеты и тихая, умиротворяющая езда в позлащенной карете по мягкому вдоль полей и дубрав проселку, пиры, обеды, речи, как и вчерашняя луиная ночь, когда со свечой в руке подошел к окну, — все

это пережитое и должное сохраняться лишь в памяти являло, однако, перед ним тот живой соблазн вольности (с приложением, разумеется, царских прав и возможностей, когда доступно все, что желанно), вернее, тот образ жизни, какому затем до конца дней Иоанн готов был отдаваться с безоглядностью, предавая забвению дела семьи и державы. И — до Соломони, до стариц ли, покоившихся рядом с ней, было ему теперь, если мир, в который он входил как царь, столь неохотно-заманчиво распахивался перед ним, взвинчивая воображение и вознося (уже этим воображением) на высоту могущества и славы? С любой высоты жизнь кажется иной. Иными, мелкими предстают люди; по-иному, мелочно выглядят события, сопоставимые с монаршей личностью и волей, и если бы кто взялся сейчас двумя словами охарактеризовать душевное состояние Иоанна, то вряд ли отыскал бы более подходящее выражение, чем «самодержец мужал»; мужал вместе с мыслями, приходившими к нему, боясь шелохнуться, чтобы не разрушить, не растерять их, и столь же молчаливо и скорбно будто, как и он, стояли за спиной сподвижники, игуменья и монахини.

## LX

Трудно сказать, по какому принципу одни события, иногда крупные, кровавые, словно бы выпадают из памяти или видятся смутно как нечто неопределенное, не трогающее ни ум, ни сердце, а другие, напротив, будучи незначительными, проходными, на кои и внимания бы не обратил, запоминаются надолго, часто на всю жизнь, и в минуты раздумий — ночных ли, когда одолевает бессонница, в иное ли какое время суток — вдруг поднимаются из глубин и напором минувших страстей щедро оказывают нас. Таким, или, вернее, одним из таких событий, сколь ни покажется это странным, как раз и явилась для Иоанна эта его юношеская поездка по монастырям. Почти до самой осени он колесил по дорогам державы, не столько познавая жизнь, которая, конечно же, не ограничивалась лишь пространством церквей и келий, с какою бы святостью ни молились в них чернецы и черницы, сколько познавал себя, из великокняжеского своего отрочества выходя на возмужалую дорогу самодержца России; и тут — какими бы традиционно скучными ни представлялись рассуждения о добре и зле (общие места, к которым так не хотелось бы прибегать здесь), но потребность разобраться в человеческой сущности, откуда что берется и как складывается в ней, особенно у такой исторической личности, как Иоанн (ведь тиранство его сложилось не сразу, а был от младенчества почти, от отрочества путь к нему), не позволяет пройти мимо сего важного и для нынешних времен вопроса, когда мир по-прежнему и даже, может быть, еще болезненнее, чем прежде (во всяком случае, для нашей, отечественной истории) разделен на вождей, прислужников и паству.

Чтобы творить добро, нужно прилагать усилия, прежде всего — усилия душевные; нужно отрывать от себя, отдавать, а не брать, и в этом, может, самом великом человеческом деле не догматы церковные, к какому бы благочестию они ни призывали, не нравоучения книжные, оставленные генерациями эпох, а сама жизнь (через семейные отношения, что ли, как испокон ведется в простонародье) должна подавать пример сего величайшего нравственного долга. Отдавая, человек обретает. И чем больше отдает, тем больше обретает. К пониманию этого можно прийти только через пример жизни, воспринимая, то есть работая душой и поднимаясь до высот истины; но жизнь, к сожалению (как было тогда, так происходит и теперь), не только не давала, но и не могла в силу ложности своего устройства дать такого примера. Не могла, во-первых, потому, что развращенность одинаково исходит как от сытости, богатства и власти, так и от нищеты и бесправия, и, во-вторых, потому, что на каждого отдающего всегда находится тот, кто готов сейчас же во благо себе использовать подобную доверчивость и простоту, вернее, тот, кто, подгребая все под себя, как раз и создает дисбаланс в обществе и разрушает сами понятия о благородстве, достоинстве, чести. Церковь ли, торговавшая в свое время иерархическими чинами и званиями (даже иночеством, которое тоже требовалось покупать), не подавала пример подобного растления? Великие ли Князья и прислуживавшие им бояре, дьяки, подьячие, всякий иной многочисленный чинов-

ный и служивый люд, клавший животы за государеву казну, не забывая и о своей, нет, — разве не в них, не в их усердиях раскрывалась личина насилия, жестокости, и разве не они, притесняя и грабя, доводили народ до обнищания; и разве не от этой несправедливости, доискиваясь правды, народ с разбойными уже целями выходил на дорогу? Люди, так уж от века повелось, ждут правду от власти, которую ставят и терпят над собой, но власть видит справедливость в послушании и покорстве народа, в его безропотном повиновении, чтобы он только отдавал, отдавал, отдавал и не смел ничего просить для себя, и, уложенная в эту младенческую люльку, когда один правит, массы трясутся, течет жизнь, копошатся народы, время от времени то вдруг открывая глаза, взрываясь (социальными бурями) и протестуя, то опять — успокаиваясь и засыпая под убаюкивающее нашептывание нанятых бессмертных идеологических нянек. Если бы жизнь строилась не по своевольной прихоти личностей, а складывалась из общего разумения, то человечество, возможно, стояло бы теперь на иной ступени цивилизации; но сами же люди устроили так, что жизнь не течет в своем естественном русле; более того, перекрытое досуха и засыпанное песками и пеплом веков, оно вытравилось даже из памяти, и разве что сон золотой еще будоражит наши сердца и умы. Но можно ли от этого мрачного целого, к чему пришло или, вернее, подходит человечество (час от часу не легче!) отделить Иоаннову эпоху как нечто стоящее особняком и не имеющее корней и стебля для роста и, увы, процветания, и правомерно ли, переложив все в ней на разнузданность самодержца, находить зло лишь в исключительности характера и обстоятельств?

Нет, нет и нет! Всякая исключительность создается условиями, решающими или поощряющими эту исключительность, и не в день, не в год, не в десятилетие складываются подобные условия; на них, как и на характере правителей и народа, наслаивается пыль отгремевших веков, и напрасно думать, что такое, к примеру, событие, как крещение Руси, принесло русским людям лишь культуру и благочестие; куда в большей степени, чем просвещенность (чего, разумеется, отрицать нельзя), оно принесло нам темень догм, статичность мышления, отбросив ко младенчеству и законсервировав в этом состоянии, состоянии почти рабского послушания, ум и волю, и — стоит ли уж так удивляться делам нынешним, если подпитывающие нашу нравственность корни второе тысячелетие остаются неизменными? С принятием христианства, на мой взгляд, была осуществлена первая и удавшаяся попытка идеологизации общества, за которой будут затем проводиться следующие и следующие. Держать народ в послушании силой становилось все затруднительнее, нужно было искать новые подходы, и выложенное на стол жизни духовное подавление народа оказалось куда приемлемее и проще, чем пресловутая, как мы и сегодня еще называем ее, свобода экономической и всякой иной узаконенной правом человеческой деятельности. Да и о какой святости можно вести речь, когда Первосвятители на Руси и назначались, и свергались, и обезглавливались только с позволения и по воле Великих Князей! Этими властителями мало что почиталось; дозволено же им было все; и если уж говорить об этой их вседозволенности, то корни ее следует искать в великоханских шатрах Золотой Орды, куда ездили на поклон наши великие и не великие князья, чтобы получить ордер на княжение, и откуда, перенимая величие и пышность восточных правителей, привозили сей новый и неслыханный прежде на Руси порядок в свои княжеские дворы. Такой видится мне наша история, и я вовсе не хочу здесь ни отрицать, ни осуждать нравы и уклад чужой жизни; каждый народ вырабатывал свои традиции и вправе гордиться ими, как вправе гордиться своими народ русский, и далеко не все, что представляется нам неприемлемым, не совпадающим с нашим национальным духом, обязательно несет на себе печать дикости. Если бы сравнивались (по горизонтали, скажем) народы, их устремления, заботы, труд, вряд ли нашлись бы тут сколько-нибудь значительные расхождения, хотя бы уже потому, что, кроме национальных, есть еще общечеловеческие ценности, на понимании и признании которых и сближаются люди; но когда берется власть, безграничность и божественность ее происхождения и средства, коими она держит в повиновении народ, — ложь, коварство, жестокости, — по этим категориям насилия правящие дворы Востока всегда отличались от правящих дворов Запада, и, к слову сказать, еще Александр

Македонский, завоевав Азию и приобщившись (это с его-то греческим демократизмом!) к деспотизму Востока, объявил себя рожденным от Бога, хотя, и все знали это, жива была еще его мать и он слал ей дары из Азии. Но греки с их гражданским достоинством не захотели признать в своем правителе посланца неба и не приняли привнесшихся в их жизнь деспотических начал, и это-то, что не удалось Великому Александру, во многом, если почти не во всем, удалось насадить у себя нашим Великим Князьям, так что уже отец Иоанна Государь Великий Князь Василий III по вседозволенности (читай: изощренному коварству, когда и жизнь простолюдина, и жизнь вельможи одинаково не стоила ни гроша) мог сравниться лишь с Господом.

Нет, кто бы что ни говорил, но объем сотворенного в мире зла неохватен, многолик, и человеческая доброта меркнет в сравнении с этим объемом.

После падения Византии греки, расселившиеся по Европе, своими познаниями и культурой сумели побудить, как гласит историческая молва, народы к ренессансу; те же, вернее, не менее искусные в делах и науках греки, прибывшие вместе с царицей Софьей в Россию, не смогли добиться такого же успеха здесь. И не потому, что не прилагали усилий. Через барьер самодержавной деспотической власти ничто не просачивалось к народу, ренессанс российский и начинался, и заканчивался во дворцах и храмах, и доступен был только кругам высшей мирской и духовной иерархии. Разверните ватман истории: мы научились строить монастыри, храмы, церкви, наконец дворянские усадьбы, и строили, и ублажали свои души в этих церквах и храмах, а избы крестьян как стояли (со времен Мономаха!) — курные, под соломой, — так и продолжали стоять, не меняясь, словно жизнь для обитателей их не имела и не могла иметь просвета; научились строить и строили великолепные дворцы, коими и гордимся, а у народа — все те же избы под соломой (разве что не курные только), какие и теперь всюду открываются взгляду, едва на десяток верст отъедешь от Москвы. Так был ли ренессанс в России, или его не было все-таки? И не для того ли (говорю от отчаяния и с болью) возведены могучие стены Кремля, чтобы отгородить народ от достижений цивилизации? Ведь сколько ни сменялось правителей на Руси, политика их только ожесточалась по отношению к народу, как если бы и в самом деле бациллами невытравимого самодержавного деспотизма пропитались за века и стены и кабинеты Кремля.

## LXI

Но вернемся к Иоанну. В эту-то жизнь, чтобы освоить ее и оставить в ней свой исторический след, как раз и входил юный, не венчанный еще царским титулом великокняжеский наследник Иоанн — сиротский монарший отрок, брошенный на произвол судьбы опекунами-боярами, делившими между собой (по молодости и несмышленности будто бы наследника) державную власть. В Кремле шли расправы, самосуды, опустошалась, растаскивалась государева казна, неугодных заточали в темницы, удавливали в кельях, топили в реках; на фоне этого безвременья оголилась алчность многих монастырей и церквей, духовники-осифляне вновь двинулись на обратьев своих, презрительно прозванных стригальниками, то есть на ересь, чтобы окончательно искоренить ее на русской земле; по воле, вернее, произволу временщиков удваивались, утраивались посошная и всякие иные подати и пошлыны, разорялись крестьянство, мастеровой люд, сводилась на нет справедливость и открывалась дорога к доносителству бояр на бояр, холопов на холопов и холопов на бояр (не обошла, кстати сказать, сия «благодать» и духовенство), и это сиюминутное по отношению к векам состояние жизни, хотя и не во всем нужной и важной стороной открывавшееся Иоанну, по-своему формировало его рвавшийся к деятельности характер. После поездки по монастырям он по-иному уже воспринимал свое кремлевское бытие. У него словно бы отнято было пространство — те раздолья, прогарцевав по которым с ватагой столь же беспечных, как и сам, вельможных отроков, он успел приобщиться и к вольности, и к низкопоклонству, с каким принимали в обительских трапезных, и стены дворца, казалось, не только физически стесняли и ограничивали его,



но стесняли и ограничивали умственно, то есть духовно, он не мог делать то, что хотел, удовлетворять те желания, коих у каждого в молодости являются сны и в исполнении которых как раз и заключено, как это обычно видится нам, становление личности. Он, в сущности, вступал в полосу тех душевных борений, когда в человеке начинает складываться и укрепляться основа взглядов, сказать по-иному, мировоззрение, каким затем предстоит руководствоваться ему, и на этом-то важнейшем перепутье молодости Иоанн, предоставленный сам себе, и должен был искать выход. Он то часами простаивал теперь у окна, вглядываясь в глубины неба и поражаясь их вселенской таинственности (ведь мир познается не только через социальные потрясения), то, насупясь, смотрел на бояр, разыгрывавших на глазах у него свои кровавые игры; действительность преподносила Иоанну не урок любви, а урок ненависти, и чем яснее он видел пренебрежение к себе бояр (может, и по болезненности восприятия), тем крепче созревала в нем решимость надеть царский венец и приняться изменять все вокруг.

Деятельность физическая всегда более на виду, чем деятельность души, и для всех было неожиданным (как неожиданно это и для нас, пытающихся познать жизнь Иоанна и пишущих о ней), когда сей великокняжеский отрок, ни в чем не проявлявший как будто бы интереса к государственным делам, а, напротив, даже тяготившийся будто бы ими (особенно после поездки по монастырям, как если бы мощи святых угодников-чудотворцев, которым поклонялся, и в самом деле направили его на путь кротости и смирения), вдруг после праздника Рождества, в самый канун крещенских морозов пригласил к себе митрополита и после трехчасовой, странной (с глазу на глаз) беседы с ним заявил, что намерен жениться, но что еще прежде, чем совершить этот гражданский акт, хотел бы венчаться царским титулом на престол. Событие это, во многом знаменательное для России и судьбе ее народа, требует, разумеется, большего внимания, и, надеюсь, что в ходе повествования найдется еще возможность вернуться к нему; теперь же замечу лишь, что Иоанн словно бы положил черту, отделившую его от его сиротского детства и отрочества, и удивленный и возрадовавшийся митрополит Макарий, сейчас же суетливо взявшийся за приготовления к венчанию, и возрадовавшийся (чему, спрашиваем мы себя теперь) бояре и народ, когда спустя день им было объявлено об этом, — все с ликованием восприняли сию неожиданную новость, толпы зевак хлынули в Кремль и всю неделю затем с утра и до ночи толклись то возле церкви Успения, где должна была происходить церемония венчания на царство, то на площади перед дворцом, откуда ожидалось, что появится Иоанн и проследует в церковь. Кто-то опять вспомнил предсказание юродивого Домитиана, который на вопрос Великой Княгини Елены, матери Иоанна, кто родится у нее, ответил будто бы, что родится Т и т ш и р о к о г о у м а, и пророчество это, более воздействовавшее на людей словосочетанием «широкого ума», чем именем Тит, передаваясь из уст в уста, подогревало зарождавшиеся страсти. Упомянуто было и о том, как в ночь рождения царевича, нареченного Иоанном, полыхнула над Москвой молния и разразилась гроза, расколовшая небо от горизонта до горизонта, и перечислено множество разных других примет, которые толковались теперь как оповещение миру о явлении царя великого и грозного. Искренно или не искренно — народ изливал ему свои чувства, с простодушием, как и всегда, видя в нем своего защитника и спасителя, но не это теперь, в Коломенском, когда, мучась бессонницей, Иоанн обращался к прошлому, занимало и волновало его. Он выбирал из минувшего лишь то, что могло ответить ему на вопрос, по праву или не по праву он занимает престол, и так как он понимал, что изначальность права исходит не от венчания, а от другого, что унаследуется от родителей, прародителей и дальше по стержневому корню, уходящему в глубину некогда бушевавших столетий, то и все возбужденное воображение нацелено было только на это главное, что в сию, именно сию минуту и ни часом и ни днем позже требовалось установить ему. Какое значение имело для него теперь ликование толпы или те боярские распри, на которых, в сущности, как на дрожжах, возрастало его сознание, и стояла ли вся та державная жизнь с ее походами, взятиями Казани, Полоцка, тяжбами с ливонцами, Литвой, Польшей, Крымом, с целованием креста на верность младенцу Дмитрию, первенцу от Анаста-

сии, когда, вернувшись из казанского похода, Иоанн заболел, слег и готов был уже отойти в мир иной, со всеми теми изменами, кои, открывшись, сомкнулись узлом на Курбском, Адашеве и Сильвестре, — да сравнимо ли было это, составлявшее жизнь державы, жизнь вообще, с той вроде бы малой, но несоизмеримой ни с чем для самого Иоанна величиной, какою только и могла теперь измеряться для него жизнь? Нет; отбрасывалось все, все, и оставалось только — то маленькое монастырское кладбище за церковью, на котором он стоял, выдвинувшись от настоятельницы, монахинь и свиты к могиле Соломонии и могилам стариц возле нее, и те мысли, которые не тогда, нет, а теперь возникали в сознании, продиктованные ходом новых обстоятельств, заставивших его вместе с казной убраться из Кремля.

Сидя на кровати и остановившимся, неподвижным взглядом вперившись в темноту, Иоанн, казалось, готов был крикнуть, что все в тот миг, когда стоял перед могилой Соломонии, было не так и что, видит Бог, он сочувствовал Соломонии и просил, да, именно просил в мыслях у нее прощение за несправедливость отца; не столько, может быть, для убеждения других (да и кого было убеждать здесь), сколько — для самого себя, для успокоения своей пробудившейся совести он старался теперь доказать, что прилагал усилия, чтобы отыскать Георгия, и что, если бы отыскал, привез бы во дворец и как старшему наследнику передал бы и титул Великого Князя, и право на трон. Хотя на самом деле все было далеко не так, и, как только он покинул стены Покровского женского монастыря, как только, распрощавшись с полногрудой, далеко не старой еще игуменьей, оказался за пределами Суздаля, — вся прелесть дороги, прелесть вольной, разбойной почти (в шатрах) жизни сейчас же захватила Иоанна, и он со страстью, присущей лишь молодости, отдался ей; и хотя, упоенный этой вольностью, не столько, в сущности, искал Георгия, сколько переезжал от монастыря к монастырю, разочаровываясь в самой возможности узнать хоть что-либо (да и как было узнать, когда почти ни одной из перемещенных стариц уже не было в живых), — да, хотя все происходило именно так, окуренное дымком беспечности и увеселений, и молодой Иоанн, не желавший особенно утруждать себя, побывал далеко не во всех женских обителях, в коих мог бы отыскаться нужный след, теперь не то чтобы ниспровергал то прошлое, что на самом деле было пережито им, но страстно желал, чтобы все выглядело иначе и не очерняло, а обеляло его; ему так хотелось этого, и он с такой настойчивостью выжимал память, что и тьма, наверно, разверзлась бы перед ним, обернувшись светом и обнажив дали и веси.

## LXII

Человеку подвластно все, как утверждают философы: строить, разрушать, созидать себя, жизнь и многое и многое еще, что могло бы продлить сей «славный» перечень, и неподвластно лишь возвращать и изменять прошлое, сколько бы и кем ни прилагалось усилий (как, впрочем, и ныне многие властители пытаются обращаться с историей, тщась оправдать свои деяния и власть). Но — что может, вернее, что смеет быть неподвластным самодержцу? Тем более такому, каким был Иоанн? Решивший до безграничности раздвинуть пределы своего влияния на людей и державу (а только так и можно толковать его намерения) и поставивший себе целью, сверхграндиозной, разумеется, по тем временам, изменить чуть ли не все государственное устройство России, Иоанн так ли, иначе ли и, может быть, прежде всего для себя должен был подготовить ту нравственную площадку, с которой, обретя оправдательный мандат, смог бы приступить к своему страшному, размеры которого вряд ли представлял, делу; и то, что происходило с ним теперь, его бессонница и мучительное желание если не изменить, то хотя бы очистить от крови свое династическое прошлое, — все это было лишь той естественной необходимостью жизни, как для голодного пища, для спокойного сон, для полноты отцовского чувства — дом, семья, дети; он не мог не мучиться и не делать того, что делал, и не в его власти было остановить нацеленную работу души; вместе с тем, как он испытывал физическое угнетение (истощались, говоря нынешним языком, нервные клетки), то есть чем сильнее испытывал это физическое угнете-

ние, тем воспаленнее работал мозг и тем нагляднее напоминал Иоанн схимника, надевшего на себя власяницу духовную и давшего обет до конца дней не снимать ее; и уже не он теперь управлял своей жизнью, а выдвинутая им потребность жизни управляла им, и он только всматривался в темноту спальни, возбужденный, взъерошенный и, в сущности, беспомощный, как всякий смертный, наделенный ли, не наделенный ли сей преходящей над людьми земной властью.

Ночь всегда есть ночь, особенно на подходе к утру, когда все вокруг, словно обручем, схвачено тишиной, таинственно, мертво и недвижимо; и в каком бы настроении мы ни пребывали, нас невольно начинает охватывать душевный трепет перед этой нагнетенностью мрака, будто и в самом деле сие природное явление — темнота ночи — вовсе не явление природы и не темнота, а некое средоточие колдовских, нечистых, враждебных человеку сил. Подобное или по крайней мере близкое к этому чувство как раз и испытывал теперь Иоанн, обеспокоенный не столько даже выяснением своих истинных прав на престолонаследие, сколько — тем вакуумом безвластия, или, точнее, безвременья, или, что еще точнее, той неопределенностью относительно своего положения в державе, в какую по стечению ли обстоятельств, как полагал, от своей ли непродуманности и поспешности был поставлен теперь. Минутами, когда видения, обступавшие его, прерывались и он обращался к этой тревожившей его неопределенности (тревожившей с момента выезда из Кремля), еще яснее, чем в пути, когда сидел в санях рядом с царицей, приходила мысль, что бояре, собравшись без него, могли и в самом деле принять его отречение, и тогда с кем (и с чем?) останется он, самодержец, по изволению Божьему севший на державу? Лишь со свитой любимцев-гуляк, с которыми достойно разве что бражничать и обнимать девок? Он словно бы встряхивался от этой сжимавшей ему сердце мысли, что может не выиграть, а проиграть все, и только напряженнее вслушивался, как в глубине дворца или спальни зарождались и доносились до него странные звуки. То ему казалось, что кто-то бродил по дворцу, открывал и закрывал двери, и он готов был позвать стражу, то будто вышагивал под окнами по хрусткому снегу, и новая волна леденящей тревожной дрожи прокатывалась по спине. Он был, наверное, бледен, если бы кто мог увидеть его лицо, таинственность происходившего нагоняла на него страх, хотя на самом деле ничего таинственного, тем более необъяснимого не было; это храпел подвыпивший архимандрит Левкий, прикорнувший на лавке в прихожей, где еще с вечера, переходя из гостиной в спальню, Иоанн видел его. Но царь не помнил теперь об этом тщедушном, с заостренным личиком святителе, всегда готовом на любое, хоть прислуживать сатане, угодничество, лишь бы быть на виду, да и вообще возможно ли, чтобы рядом с самодержцем находилась еще хоть чья-либо живая душа (охранников Иоанн и вовсе не принимал в расчет, они воспринимались им как обиходный атрибут жизни)? Если бы даже ему сказали теперь об архимандрите, он троекратно бы, как от нечистой силы, откестился от этого сообщения; откестился бы потому, что и ночная темень, и храп из-за двери — все это было ему необходимо, было той стихией, в которой только и могли получать жизнь его мысли и чувства. Он был словно бы окольцован кругами прошлого, настоящего и будущего державы, и в то время как ему казалось, что прилагал усилия, чтобы вырваться из этих замыкавшихся над ним колец, всем ходом воспоминаний и дум только уплотнял их, прибавляя к ним новые и новые, порождавшиеся уже не реальностью дел, совершившихся до него и совершавшихся им, а степенью воображенной опасности, отовсюду будто теперь, в ночи, подступавшей к нему. Опасно было духовенство, опасны бояре, служившие ему; опасен был Курбский, засевавший в Литве и Польше и направлявший оттуда свои «разоблачительные» (беру в кавычки потому, что Иоанну они представлялись иными — лживыми, изменническими и оскверняющими) послания. Без какой-либо связи с Соломонией и ее сыном Георгием он вдруг совсем по-другому, чем прежде, подумал о смелости сего беглого князя, за всеми изменными делами которого не стоял ли возросший царевич, то есть тот самый мститель, должный будто бы в свое время, как предрекала Соломония, явиться в державе? Мысль эта сама по себе была абсурдной, смешной, потому что Иоанн знал, что никакого Георгия не существовало, а потому и не могло быть подобного сношения, но, раз заро-

дившись (по принципу: у страха глаза велики), она уже не отступала от Иоанна, как бы, усмехаясь, он ни старался отделаться от нее, и только что являвшееся ему прошлое, в котором так ли, иначе ли он предстал обремененным, — прошлое то теперь совсем в иных, жестких и мрачных, тонах разворачивалось перед ним.

Теперь он не умилялся прошлым; ему казалось непростительным, что не объехал тогда по молодости и беспечности все те женские обители, в которых мог бы еще отыскаться след Георгия, и не обратился к жителям посадов и деревень; но, чтобы поправить положение, не стремился объять необъятное, воображение лишь то переносило его к могилам старца, некогда причастных будто бы к делу Соломонии и затем «благополучно» будто усопших, как говорили о них, то в обительские кельи и трапезные, в которых принимали его настоятельницы и архимандриты. От искренности ли и простоты или по закоренелому в них плутовству, как Иоанн полагал теперь, святители только разводили руками на вопрос, был ли Георгий, и если был, то указали бы, где искать, только торопливо крестились, призывая в свидетели Пречистую Богородицу и Творца, что говорят истину. Но самодержец теперь не верил им. Он не помнил ни лиц архимандритов, ни лиц настоятельниц настолько, чтобы с живостью вообразить их (да и то сказать, сколько времени, сколько воды утекло с тех пор); но желание вновь увидеть все, как происходило, — желание это было настолько велико, и он так напрягал память и волю, что словно в разверзшихся просветах одно за одним являлись перед ним сии с пристрастием к плутовству, лести, интригам и заговорам святительские лики «Они, да, они отговорили меня», — думал Иоанн. И хотя ни тогда, ни теперь у него не было доказательств, чтобы кто-то замышлял использовать Георгия против него, но — у страха свои законы возникновения и развития, и не по реальности, а по вымыслу обычно идет приращение его. По тем же дорогам, по которым он столь славно, как ему казалось, проскакал по державе, — по тем же дорогам, хоронясь от людей, как раз, может быть, еще младенцем переправили Георгия в Литву и Польшу, где испокон принимались и выпестывались противники русской земли и где сей царевич, пригретый и возвращенный Сигизмундом, собрав войско, готов был теперь мстителем явиться на Русь. Иоанн только предполагал это. Но предположение казалось настолько реальным, что ему виделся уже военный лагерь: кони, люди, осадные орудия и щиты, шатры, разбитые по полкам, и между ними, в центре, словно бы очерченный пространством и стражниками, возвышается шатер царский, из которого выходит по-польски разодетый Георгий... «Вот он, вот, вот», — думал Иоанн, ежась от пробежавшего по спине ледящего озноба и не представляя даже, какой разоряющей смутой уже через несколько десятилетий обернется для России сей его вымысел.

### LXIII

После кошмаров ночи наступающий день всегда воспринимается как нечто очистительное, умиротворяющее, и не столько потому, что мрак сменяется светом, а вместо бестелесных видений и бессилия против них являются живые, хорошо знакомые и послушные не только слову, но и взгляду люди; то есть все то называемое дворяном обществом, в котором так ли, иначе ли обычно проходит царская жизнь; надоевший было своим однообразием скучный мир бытия вдруг после ночных и тоже почти реальных ужасов открывается иной, неожиданной, поражающей воображение стороной — в красках ли, в человеческих ли отношениях, да и во всем том будничном своем течении, в котором еще накануне, казалось, все выглядело непривлекательным, постылым, но в котором, оказывается, полно и привлекательности, и новизны. Иоанн начал осознавать это еще на заутрене, в церкви. Спокойный вид и голос протоиерея, проводившего службу, спокойные, словно бы отдохнувшие, выспавшиеся лики святых, заключенные в оклады и ризы, мигающие огоньки свечей и серебро и позолота иконостаса, оживлявшиеся ими, да и вся общая атмосфера заутрени, столь, казалось, привычная для Иоанна, что едва ли могло обнаружиться в ней хоть что-либо, чего он не знал, — вся эта атмосфера с людьми, протоиереем и свечами именно своей обыденностью и неизменностью поразила Иоанна. Он увидел, что между кошмарами, всю ночь одолевавшими его,

и жизнью, как она течет в привычном ей русле, нет ничего соединяющего, что мир, заключенный в его душе (мир кошмаров), живет своей, обособленной от всего остального жизнью, и если никому ничего не говорить о нем, то мира этого вроде бы нет и не было вовсе; Иоанн увидел, что человек почти одновременно пребывает в двух измерениях: среди видений, которые страшны разве что по ночам, и среди реальностей, то есть того материального, что способно двигаться, говорить, прислуживать, готовое на раболепство и поклонение, и в то время как мир видений можно отрубить, отбросить и забыть о нем, мир реальностей, — нет, мир этот куда благороднее и чище, чем еще вчера обеспокоенный царь мог думать о нем. Он смотрел на все с умилением и, может быть, от этих именно душевной расслабленности и благодати, сошедших будто бы на него, молился истово, до конца отдаваясь действию и каждую минуту ожидая, что вот-вот начнется его общение с Богом; молился и за себя, и за весь этот мир жизни, словно бы вдруг по-новому в это утро открывшийся ему (и которому, впрочем, своим зловещим замыслом он уготавливал ой-ой какую судьбу). К завтраку Иоанн явился просветленным, будто бы освободившимся от всех душевных невзгод и тягот, и, когда ему сказали, что царица занемогла с дороги и не в состоянии выйти к столу, — сразу же после завтрака направился к ней и, как заметили слуги (и что показалось им необычным), пробыл у царицы более часа, устроившись возле ее постели и разговаривая с ней.

В царской прихोजей между тем, как это бывало и в Кремле по утрам, уже достаточно толклось дворцового люда, дожидавшегося выхода самодержца, и среди этого люда, что тоже представлялось уже правилом, особенно выделялись теперешние Иоанновы любимцы: Вяземский, Салтыков, Алексей и Федор Басмановы, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский. Тут же находился и архимандрит Левкий, прихвативший с собой для компании местного протоиерея и нескольких служителей из близлежащей обители. Иоанновы любимцы были оживлены, веселы, вспоминали перипетии вчерашней попойки; святители же в своих длиннополых рясах и с крестами на животах, сбившись черной галочьей стайкой, являли собой словно бы самую робость и послушание, и архимандрит Левкий, казалось, более всех других преуспевал в этом. Но, кроме того, в маленьких округлых глазках его ясно просматривалась озабоченность. Он не мог простить себе, что накануне, излишне выпив, заснул в царской прихोजей, и теперь с особенным беспокойством ожидал появления Иоанна. Но царь не думал выходить к ним. Как он ни казался себе умиротворенным и успокоенным и как ни старался поддержать это впечатление о себе в других, но то новое положение, в какое он поставил себя и державу, спешно с казной и пожитками отъехав из Москвы, — положение это, как тяжесть, как головная боль, вызывающая раздраженность и тошноту, опять и опять возвращало его на круг прежних тревожных мыслей, и он даже удивился, узнав, что его ждут, и послал сказать, чтобы не ждали и расходились. Спустя четверть часа вторично послал сказать, чтобы расходились, но недоумевавшие вельможи долго еще не решались покинуть царский дворец. Им не то чтобы непонятно было распоряжение Иоанна (подобные люди соизмеряют поведение царей лишь с тем, насколько улучшилось или ухудшилось отношение царя к ним), но — просто некуда было деть себя; лишившись этого обычного своего придворного труда, составявшего смысл их жизни, они продолжали беспорядочно наводнять дворец, слоняясь по его проходам и залам, и, лишь когда пронеслась молва, что царь собирается на прогулку, — хотя езда по заснеженным полям не предвещала им ничего привлекательного, кинулись готовиться к верховой прогулке и велели холопам седлать лошадей.

Иоанну, впрочем, тоже некуда было деть себя и, тяготясь бездеятельностью и желая хоть чем-то занять время, он как раз и решил, во-первых, проехать по окрестностям Коломенского, которые, когда бы он ни бывал здесь, своей красотой и покоем всегда умиротворяюще действовали на него, и, во-вторых, спуститься к реке и посмотреть, крепок ли лед и протоцена ли по нему дорога в Курное. Он не намеревался задерживаться в Коломенском и полагал, что через день, другой, как только царица оправится от недомогания, со всем обозом двинуться дальше. Куда? Пока не определился даже для себя и думал лишь об одном, чтобы подальше, подальше от Москвы, от этой застарелой к нему, как он полагал, враждебно-

сти и со стороны бояр, духовенства, да и со стороны народа. Мысль о том, что своим мнимым отречением от престола он может наказать сих непокорных рабов, данных ему Богом вместе с державой, — мысль эта и разжигала, и тревожила, и лелеяла его душу; хотя ему интересно было узнать, что творилось в Москве после его отъезда, но он сдерживал себя и ни в этот день, ни в последующий никого не послал в столицу; когда же некие доброхоты, кои, впрочем, словно только и ждут случая, чтобы «отличиться», прибыв под вечер в Коломенское, вознамерились было прорваться к Иоанну и донести, что происходит в Москве, он с таким гневом ударил жезлом об пол и так угрожающе закричал: «Вон! Вон!» — что после этого уже не находилось охотников на подобные услуги. Но пока что — до вечера было еще далеко, доброхоты не появлялись, и Иоанн казался беспечным, во всяком случае, ему хотелось, чтобы все видели его таковым — свободным от забот, уверенным, сильным. Одетый к верховой езде, неторопливый в движениях и преисполненный того видимого (царского) демократизма, о котором и понятия не имел, в чем он мог или должен был проявляться (в отеческой снисходительности, наверное, как полагал), Иоанн вышел на крыльцо в сопровождении кравчего Федора, окинул взглядом свиту, низко, благодарственно поклонившуюся ему, и, вложив ногу в стремя, с прежней, не забытой еще ловкостью вскочил в седло.

Миновав площадь перед церковью, на которой толпился затемно еще собравшийся здесь народ («Царь, царь», — прокатилось по толпе, и люди снимали шапки), разнаряженная кавалькада двинулась по облысевшей от снега меже к лесу, чтобы полудугой проехавшись вдоль опушки, спуститься затем к реке, куда выходила дорога и где летом бывал перевоз, а зимой колея торилась прямо по льду. Снег на поле был мягким, от леса тянуло каким-то весенним будто теплом, так что не прошло и получаса, как лошади взмокли да и седоки, одетые в меховые шубы, чтобы не застудиться, тоже, раскрасневшись, выглядели так, словно только что вышли из парной. Иоанн, столь же возбужденный и потный, как и все, но желавший лишь одного — нового и нового противоборства, будто противостоял теперь не стихии, а все тем же боярам, духовенству, народу, державе, только все больше горячил коня и направлял его напрямик через сугробы, овраги и кособоры к реке. Но выехал он не к тому месту, куда намеревался, а верстою выше и, остановившись на крутояре, принялся напряженно, как перед сражением, осматривать противоположный берег, дальний лес, избы Курнова, курившиеся желтоватым кизячным дымком, и всю простирившуюся от них луговину или, вернее, затон, через который, рассекая его, змейкой спускалась к реке едва заметная санная колея. По ней, словно небольшой темный колобок, двигалась упряжка. Какой-то мужик возвращался, видимо, из Курнова в Коломенское, розвальни его были до предела нагружены, низкорослая российская лошаденка издала казалась чалой, будто заиндевевшей, в то время как и у реки чувствовалась все та же оттепель, да и мужик, шагавший рядом с лошадей и в каждую трудную минуту помогавший ей, в своем куцем, подпоясанном армяке тоже напоминал нечто заиндевевшее, чалое. На всем заснеженном пространстве, казалось, только и было живого, что эти крестьянские розвальни с лошаденкой и мужиком, и хотя ничего примечательного нельзя было как будто усмотреть в них, как, впрочем, и во всей картине, однообразной и унылой, способной затронуть лишь сердце русского человека, но — что-то все же приковывало внимание Иоанна и к этой общей картине, поднимавшей, может быть, в душе его тот неизменный, замешанный на восторге и грусти отзвук, какой хоть раз, но каждому достается испытать при виде отчей земли, и к розвальням, мужику и лошаденке, словно что-то символическое или даже пророческое связывало его с ними. За спиной, радуясь остановке, ворковала свита. Ей не было дела ни до простора, ни до мужика с лошаденкой, вернее, с теми крестьянскими заботами, которые гнали его на не устоявшийся, не окрепший еще лед; следуя законам придворной жизни, они видели перед собой лишь царя и, заметив, что его заинтересовало что-то, и торопясь из соображений угодничества присоединиться к его настроению, постепенно смолкли и тоже принялись наблюдать за розвальнями, мужиком и лошаденкой, спускавшимися к реке.

## LXIV

Действия властителей часто оказываются столь же непредсказуемыми, как и действия любого человека. Разумеется, это не означает, что все происходит вдруг, беспричинно, в зависимости лишь от сиюминутных обстоятельств (взрыва чувств, что ли, если сказать иначе); нет, для подобных поступков всегда есть причина, и не одна, а множество, которые до поры бывают настолько скрытыми (и прежде всего от их носителей), что и после свершившегося остаются неподатливыми к обобщениям и познанию, как, впрочем, и окружающий нас мир вещей и событий, сохраняющий и поныне тысячи самых разных и, возможно, основополагающих, ключевых для разгадки мироздания тайн. Накопленный багаж жизни, принадлежность ли к народу, державе с ее историей и традициями или, может быть, просто осознание жизни как самого бесценного, что дано человеку, и потребность защитить ее, та насущная потребность, которая хоть раз и хоть на мгновение, но просыпается в каждом и подвигает на самое человеческое, — ни у Иоанна, ни у кого-либо из свиты не возникало даже намек на предположение, что через минуту-другую они безумевши кинутся с крутояра к реке, на лед; все пока что лишь молча наблюдали не столько даже за розвальнями и мужиком, сколько за царем, не вполне понимая, но ясно улавливая его напряженность и проникаясь ею, тогда как Иоанн, охваченный, как это не раз уже случалось с ним, суеверным предчувствием, даже приподнялся в седле, чтобы лучше увидеть происходящее. Он заметил, как мужик, приостановившись, посмотрел из-под руки в его сторону, как затем у реки вновь придержал лошадь и, выйдя с палкой на лед, тыкал ею перед собой; и только убедившись, что лед крепок, вернулся к саням и, благословясь, решительно взял чалую под узды.

Для свиты, не знавшей мыслей и чувств Иоанна, все должно было заключаться лишь в том, выдержит или не выдержит лед на реке, удастся или не удастся переправиться мужику; для Иоанна же с его зловещим замыслом обуздания державы, отъездом из Москвы и риском, какому подобно мужику, выведившему лошадь на лед, он теперь подвергался, разворачивавшаяся перед глазами картина носила не столько даже реальный, сколько символический характер; на риск крестьянина он накладывал свой, как игрок на карту, и куда более значительный, чем только гибель одного безвестного мужика, и, когда на середине реки лед под санями вдруг прогнулся и сани, проваливаясь в образовавшуюся полынью, потянули за собой и лошадь, и мужика, — охваченный лишь мыслью спасти себя и державу (насколько понятия эти были объединены в нем), он прищипил коня и прямо с крутизны пустил его вниз, к реке. За ним ринулись любимцы и свита, и через мгновение нельзя было разобрать, кто мчался впереди, кто в центре; с горы скатывался клубок взвихренного снега, мелькали шапки, шубы, конские хвосты, гривы, и лишь на исходе склона, налетев на сугроб, лавина остановилась как вкопанная. Седоки повывлетали из седел, в том числе (и первым почти) в сугробе оказался Иоанн, и все это произошло так быстро, что никто не успел ничего сообразить. Когда же Басмановы, Вяземский, Салтыков, Скуратов-Бельский кинулись было к царю, чтобы помочь, то с удивлением увидели, что Иоанн, стоя по пояс в сугробе, смотрел на реку, на которой лишь мутным пятном зияла полынья, а вокруг на всем обозримом ледяном пространстве — ни мужика, ни саней, ни лошади.

Едва Иоанна вызволили из сугроба, как он опять посмотрел на реку; затем обернулся на вельмож, многие из которых, теперь еще более отяжелев в своих раскрыленных по снегу шапках и шубах, пытались выбраться из сугроба, на холопьев, кинувшихся ловить лошадей, и то ли картина эта и в самом деле напоминала нечто забавное, на что нельзя было смотреть без улыбки, то ли Иоанну просто хотелось снять с души тяжесть, напророченную ушедшими под лед санями и мужиком (в конце концов ведь нельзя же считать Божьим знаком то, что загадывается самим), он вдруг, вскинув руки, громко, от души засмеялся, указывая на барахтавшихся в сугробе вельмож и снимая тем напряженность и с себя и со всех; и не утонувший мужик с санями и лошадкой, а эти именно барахтавшиеся в сугробе вельможи занимали Иоанна и потом, когда бе-

регом уже со свитой он возвращался в Коломенское, и позднее, когда сидел за обеденным столом и боярин Алексей Басманов, пользуясь правом старшинства меж любимцев, раз за разом поднимал здравицу за него. У сих любимцев вновь появилась надежда, что повеселевший монарх соединится к их гульбищам, и через архимандрита Левкия было передано на игуменский двор, чтобы опять в ночь накрывали столы и вели девок, и сразу же после вечерней службы в церкви Вознесения, когда Иоанн с царицей прошествовал во дворец, к нему было отнаряжено то «тайное посольство», состоявшее из трех доверенных лиц — кравчего Федора Басманова, князя Афанасия Вяземского и архимандрита Левкия, — которое, обосновавшись, как и накануне, в прихожей, должно было найти способ переговорить с Иоанном и привести его.

Но жизнь есть жизнь, и самые, казалось бы, обоснованные предположения часто не только не находят подтверждения в ней, но оборачиваются благодаря именно своей непредсказуемости столь странным сюрпризом разочарования, что даже выдавшим виды остается лишь глубокомысленно пожимать плечами и переглядываться. В таком положении как раз и оказались теперь кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, архимандрит Левкий и все те, кто, сжигаемый нетерпением поскорее начать застолье, заходил к ним, чтобы осведомиться. Больше всех недоумевал кравчий Федор. С тех пор как Иоанн приблизил его к себе, жизнь представлялась ему одним сплошным удовольствием, то есть морем тех всевозможных соблазнов, мимо которых, он не понимал, как можно было спокойно проходить; он, в сущности, если отстраненно посмотреть на него, был заражен той же болезнью, какую с детства и основательно был заражен Иоанн, полагавший, что есть держава и есть он в центре, вокруг которого должно вращаться все; и хотя Федор был только кравчим и знал свое место у трона, но — словно конь, выведенный на простор и почувствовавший, что поводья отпущены, мчался теперь, распушив хвост и гриву, с одной только единственной целью как можно полнее насладиться необузданностью и волей. Нет, он не понимал Иоанна и каждую минуту рвался к нему, но князь Вяземский, более рассудительный (не случайно Иоанн выберет именно его для своих ночных душевных бесед), — князь поднимался и преграждал дорогу кравчему. Минутами они готовы были даже схватиться друг с другом и удерживало их только то, что царь мог услышать возню, и тогда кто знает, чем бы закончилось для них сие противоборство. Князь Вяземский подобно Федору тоже не был посвящен в замыслы Иоанна, но как человек наблюдательный делал для себя (из поступков и поведения царя) вывод, что затевалось самодержцем что-то грандиозное, что не укладывалось в воображении, и, чтобы не остаться без места в этом грядущем преобразовании, предпочитал более наблюдать, чем действовать; ему не просто хотелось заглянуть в будущее, но подстраховаться в нем, и он словно бы за поддержкой этого своего намерения то и дело оборачивался на чудовского архимандрита, как если бы святитель-собутыльник и в самом деле был наделен святостью и мог чем-либо пророческим, мудрым помочь князю.

Но Левкий, однако, и не собирался никому помогать. Пристроившись на той же скамье, на которой столь самозабвенно прохрапел всю прошлую ночь и за которую теперь словно бы держался, вцепившись в нее руками, будто в таком положении что-то могло спасти его, поглядывал то на кравчего Федора, то на князя Афанасия Вяземского, то на дверь, за которой в одиночестве (царица сразу же ушла от него, опять сославшись на недомогание) сидел или прохаживался, но скорее все же сидел Иоанн. Левкию не казалось странным, что царь никого не приглашал и не хотел видеть. Уехать из Москвы вот так, как он, бросить Кремль, дворец, державу, Левкий понимал, нужны были ой-ой какие основания; и, чтобы постичь происходящее, а люди желчные, завистливые всегда более реалистичны в оценках и взглядах, чем упоенные успехом, пусть и заслуженным, а не мнимым или подаренным судьбой, — не предполагал, не выдумывал, даже не пытался как будто заглянуть в будущее, а лишь оборачивался (мысленно, разумеется) на прошлые поступки Иоанна, и, словно в зеркале, грядущее представляло перед тщедушным архимандритом. Он понимал, что готовились расправы и казни; над кем и за что — думать было излишне, потому что по себе, по своей при Дворе дея-



тельности знал, что нет вблизи трона человека, которого бы не за что было казнить; преступны все, все, если не делами, то в помыслах, включая и Иоанна, и эта столь же явная, сколь и кощунственная мысль, не первый раз уже приходившая на ум чудовскому архимандриту (по принципу: каков я, таков и мир, погрязший в грехах и лицемерии), — мысль эта оборачивалась в нем злорадством, что полетят, да, да, полетят и боярские, и княжеские, и холопские головы, и с этим нескрываемым на лице злорадством (что случалось с ним редко, лишь когда разумное уступало чувствам и воображению) продолжал смотреть на князя, на кравчего и дверь в гостиную, за которой в кресле, у камина, в предчувствии новых кошмаров сидел отягченный думами Иоанн.

## LXV

Любой большой город, по каким бы признакам он ни дробился в представлении его жителей или умах ученых, воссоздающих историю, обычно живет как целостный организм со своими приливами и отливами радостей, огорчений, тревог, надежд, вспышками или угасанием бунтарского духа, и никто, пожалуй, не способен столь оперативно и смело откликнуться на справедливость или несправедливость власти, как именно этот рассредоточенный будто по городским жилищам, но вместе с тем более чем целостный организм общественной жизни людей. Положение это столь же верно теперь, как оно было верно в прошлом, и Москва, расстроенная и чуть было не взбунтовавшаяся после отъезда Иоанна, — Москва на третий день своего обезглавленного, сиротского существования вдруг словно бы попритихла, по улицам уже не ходили толпы, не били, не грабили торговых лавок (хотя возле кабаков еще угрожающе хороводились подвыпившие мастеровые) и на площадях перед церквями не роились в паническом страхе толпы прихожан, выпытывавших друг у друга и у святителей, пошто царь покинул столицу, забрал казну и от кого и с какой стороны следовало теперь ожидать всем лиха; страсти с улиц перекечевали в дома, на горожан словно бы накатилась волна раздумий, что само по себе не менее опасно, чем сиюминутный и необузданный взрыв чувств (ведь решения осмысленные ведут к действиям последовательным и неотвратимым), и эта-то установившаяся будто бы тишина, о которой докладывали митрополиту Афанасию, хотя и казалась обнадеживающей, но в то же время оставляла на душе у Первосвятейтеля тот тяжелый осадок, будто первопричина, поднявшая народ к беспорядкам, — первопричина не только не была устранена, но, напротив, словно болезнь, была вогнана вглубь, и что если не принять новых мер, все то, с чем он столкнулся, отправившись вчера вечером к Арбатской церкви, все могло повториться в таких масштабах, что уже никто, ни даже сам Иоанн, вздумай вернуться в эти часы в Москву, не сумел бы остановить бунта.

Но сверх того, что уже было сделано им для успокоения народа, митрополит не мог ничего предложить, и новый день начинался для него с тех же раздумий, как и предыдущий, то есть с осмысления ситуации, как мы бы сказали теперь, сложившейся в Москве и державе после отъезда Иоанна (разумеется, дела церковные он не подменял делами государственными, а соединял их), и с тех же болей в ногах и общего старческого недомогания, извигаться от которого еще менее было возможностей у него. Так, видимо, угодно Богу, думал он, утешаясь сей простой и расхожей истиной, должной как будто бы объяснить все, но ничего, в сущности, не объяснявшей. Митрополит недомогал главным образом из-за того, что переменялась погода, что вместо державшихся две недели морозов вдруг, в ночь, наступила небывалая оттепель, и он уже с утра, принимая гостей, сидел в кресле с закутанными в меховые шкуры ногами. Первым явился к нему воевода князь Александр Борисович Горбать-Шуйский с сыном Петром. Их беспокоило теперь, как уяснил митрополит, не только то, что происходило или могло еще произойти на площадях и улицах столицы, не беспорядки, не толпа, которую так же легко довести до безумства, как и унять, бросив посулы ей (по вчерашнему эпизоду митрополит более чем понимал это), и не угроза опалы, то есть судьба личная, хотя разве есть у человека что-либо дороже собственной жиз-

ни? Но, повторяю, не за тем, чтобы обезопасить себя и сына, пришел на сей раз воевода; ему казалось, что что-то подспудное, тяжелое надвигается на державу, готовое раздавить ее, и хотя в подтверждение своих домыслов не мог привести ничего существенного, но ведь за тем и тянутся к святителям люди, чтобы исповедаться в тревогах и предположениях. С подобными мыслями потом сидели у митрополита князя Мстиславский и Бельский (один из них, князь Мстиславский, спустя уже несколько недель по повелению Иоанна возглавит земщину) и еще представители разных иных чинов и званий, коим Первосвятытель не смел отказать и коих выслушивал со вниманием, как если бы каждый и в самом деле открывал нечто новое, важное, и после всех этих разговоров и встреч понятно, сколь обострилось воображение старого, склонного уже более к покою церковного иерарха. Но покоя не было, и если в чем-либо и убеждался Афанасий, то лишь в том, что на нем одном сходились теперь нити и церковной, и державной власти и что — сколь ни тяжело было сие выпавшее ему испытание, но надо было собраться с силами (об этом, только об этом и молил Бога) и исполнить это историческое, судьбой, жизнью возложенное на него.

Он хотел деятельности и видел, что все ждали от него этого; но все, на что он был способен теперь, выливалось лишь в деятельность умственную, то есть в ту деятельность, которая будто бы и не заключена ни в какие физические рамки, скрыта от глаз, нематериальна, да и вообще есть ли она, или, скажем, человек только дремлет, пригревшись в кресле и прикрыв веки, но которая вместе с тем, как бы мы ни относились к ней, обладает самой, может быть, могущественной силой и в конце концов управляет человеческими страстями и миром. Митрополит Афанасий вряд ли вполне осознавал, что сил для деятельности духовной у него было больше, чем для физической, и еще менее вероятно, чтобы верил, что можно изменить или исправить что-либо к лучшему лишь путем размышлений, отдаваясь, в сущности, и от мирских, и от церковных сует, как было с ним теперь, когда, чувствуя необходимость отдохнуть и расслабиться, он подремывал, да, именно подремывал в кресле, устроившись в нем и не велев никого впускать к себе; единственным и главным для него беспокойством было сейчас то, что он как никогда чувствовал себя отторгнутым от истины, которая прежде всегда была будто бы с ним, была доступна ему и подвигала на дела добрые и угодные Богу, но которой теперь не было ни в нем, ни в окружающих (как если бы вдруг из апостольских писаний был бы изъят образ Христа), и желанием заполнить эту пустоту как раз и определялась цель, к которой устремлены были его помыслы. Он задавался скорее мирским, чем церковным вопросом: что есть Церковь и что есть жизнь, в которой судьба людей, должна как будто зависеть от Бога, а Бог не может поступать не по справедливости, на деле зависит не от Бога, а от произвола той или иной властвующей (на своем уровне) личности? Обычно кажется, что человек, вступающий на стезю служения Господу, отдается вере настолько, то есть настолько лишает себя возможности самостоятельности, а главное, трезво, реалистически мыслить и воспринимать мир, что ничего человеческого, то есть от мирского начала не остается в нем; так ли это или иначе, ведомо, наверное, только самому Господу Богу, в то время как известно, что человек, если он приспосабливается к чему-то в жизни, что приносит ему благополучие и позволяет проявить себя, — человек, даже не творящий, а лишь содействующий своим молчанием творимым неправдам, никогда и никому не выдаст своих «еретических», крамольных, что ли, если точнее, мыслей, какие время от времени являются ему и терзают его. Ни при каких вопросах и попытках митрополит Афанасий не поведal бы никому этого, о чем теперь думал. Церковные догмы не только не убили в нем мирского, человеческого начала в восприятии и осмыслении мира, но, напротив, чем выше поднимался он по церковным иерархическим ступеням и чем обширнее открывалось перед ним историческое (с перспективой на будущее) пространство жизни с несовместимостью слов и дел в ней, тем острее поднимался этот вопрос вопросов: в чем же, если он есть, высший смысл бытия? И ему важно было теперь не просто ответить на него, но так, чтобы ответом этим осветилось все то, что на его глазах происходило в державе.

Как и царь Иоанн в Коломенском, митрополит Афанасий стремился вернуться мыслью к началу начал, с чего пошла держава, народ, русский человек и пошел он сам, Афанасий: не по родовому древу, то есть кто отец и кто мать, и не по географическим, временным или каким-либо еще понятиям, конкретно привязывающим нас к селу, городу, сословию, что, разумеется, важно знать и помнить, но что всегда или почти всегда замыкается лишь на интересах личных или в лучшем случае национальных (родина есть родина, и у каждого в душе отведено место для любви к ней — этому неотторжимому от нас пространству земли, стынет ли под снегом сие пространство или раскаляется под лучами южного палящего солнца), нет, не по этим признакам родства и уяснению собственной значимости в сиюминутно окружающем нас мире старался проникнуть митрополит своим старческим взглядом в прошлое; он чувствовал, что все, что было испытано народами и лежало в веках, — драмы религий, государств, личностей и сообществ, войны, неурядицы, мор, пожары, голод и пр., и пр., что и совместно и несовместимо с человеческим разумом и продолжает неостановимо накапливаться, — все, все (по какому-то странному, что ли, осознанию) было в нем, в его безмерно отяжелевшей от этого груза человечества душе, сваленное в груды, не разложенное, не упорядоченное и потому вызывающее желание разобраться во всем основательно и до конца. Каждый человек есть частица мироздания, и независимо оттого, сознает или не сознает он это, в нем, как в капле росы, отражено все, что есть и было с людьми на земле, и весь вопрос заключен лишь в тяге к познанию, насколько страсть эта сильна в нас и не запоздало ли приходит, когда ничего уже не осуществить и не передать никому? Но бесперспективность эта не останавливала митрополита Афанасия, он стремился выяснить все не для других, а для себя, чтобы оставшиеся еще совершить ему поступки были совершены с достоинством и по разуму, а не по образцам прошлого, принесшим и приносящим сотни неправд. Он, казалось, и в самом деле дремал в кресле (по крайней мере у дьяка-писца, на цыпочках вошедшего к нему, осталось именно такое впечатление), и хотя окна не были задернуты шторами, но в гостиной словно бы царил обычный российский зимний полуденный сумрак.

## LXVI

Нельзя всерьез полагать, что только перед нами, живущими на исходе второго тысячелетия от рождения Христова и готовящимися вступить в третье с упованием на разум, науки и духовность, столь достаточно вроде бы обогатившуюся как давними, так и недавними уроками нашей кровавейшей из историй, возникает потребность осмыслить себя, народ, мир и положение свое и народа в этом во все времена беспокойном и неустойчивом мире, в котором инстинкты общественные столь же жестки и неумолимы, как и притязания личные на богатство, власть, славу и бессмертие, лишь бы остаться пусть именем, пусть обманно, пусть в горькой, но все же людской памяти, — эта естественная потребность к осмыслению себя и мира так ли, иначе ли вставала перед каждым поколением, и разница между нами и теми, кто думал до нас, состоит лишь в том, что, во-первых, мы с большей изошренностью задаем, в сущности, один и тот же извечный вопрос, кто есть мы и что есть сущность бытия, и, во-вторых, напичканные и одурманенные множеством новых и новейших философских понятий, ищем ответ совсем не там, где он лежит, то есть не в реальном течении жизни, что и как влияло на это течение и формировало, или, вернее, давало направление нравственным и социальным устоям, а в тех умственных построениях, в коих все, что не подходит под формулу или идею, либо переиначивается, либо отбрасывается вовсе как несущественное и только запутывающее все. Надо ли приводить доказательств, коих не счесть, да, возможно, автор и сам не безгрешен в сем плане, так как обдувался ветрами тех же «наук», как и все (хотя и стремлюсь к правде и объективности); и если уж говорить откровенно, то прямота и простодушие людей прошлого, иногда кажущиеся нам даже наивными, привлекают меня куда больше, чем нынешняя наша усложненность и обман, когда на белое можно сказать «черное», а на черное — белое да с таким из словесной вязи правдоподобием, что целый народ

вдруг на столетие почти впадает в унылое забытие. И здесь за примером не надо ходить за кордон. Обманутыми были и остаются русские люди (и еще десятки народов, волей или неволей вынужденные делить с нами судьбу), и так как обман этот историчен и корни его следует искать не в ближайших столетиях, а в глубине эпох, в той седой старине, по сравнению с которой и время Иоанна, то есть время митрополита Афанасия, поскольку о нем речь, время то и митрополиту должно было казаться младенческим в смысле осознания народом своей судьбы, достоинства, чести и места в исторической общности других народов и государств. От уровня своих познаний истории и жизни, освященных во многом идеалами церковными, хотя, как уже говорилось, и начала общечеловеческие, мирские не были до конца ни приглушены, ни задавлены в нем (да и вообще есть ли подобная задавленность или есть только притворство, только игра в исключительность ради сохранения славы и благ?), нисходил митрополит в минувшее, разгребая завалы тьмы и лжи, чтобы добраться до истины, и я вот, как перед собой, вижу эту могучую в своем духовном порыве фигуру митрополита, тихо и отреченно будто бы сидящего в кресле с закутанными в меховые шкуры ногами, и так же, как перед ним, разверзаются и передо мной шторы эпох, и не фрагменты из деяний тех или иных великих личностей, о которых, кстати, нам известно теперь куда больше, чем было известно Афанасию или Иоанну, а спрессованная в сгусток картина жизни с ее удручающим реализмом (о чем только думали люди, творя сию историю, о чем?!) встает, как рассвет, и охватывает горизонт.

Нет, тьма веков не беспроглядна, как полагают многие, и не за такими уж неподступными печатями, что не открыть их, захоронена тайна тайн законов общественного бытия. Изначальным толчком, что ли, если так можно выразиться, к размышлениям явились для митрополита Афанасия не раз слышанные им от Иоанна слова, что оттого-де только и погибла Византия, что верховодили в ней не цари, а попы, то есть не светское, не мирское начало, а церковное, умертвляющее будто бы в человеке не столько даже плоть, сколько душу, и делающее его беззащитным, безвольным и неспособным к сопротивлению (мысль эта в ответе Курбскому особенно отчетливо выражена царем); обвинялись, в сущности, Церковь и ее догматы, вернее, то самое православие, которое уже тогда считалось более чем судьбоносным для русского человека, и Афанасий не то чтобы не был согласен с Иоанном, но, оскорбившись — и за народ, и за себя, — дерзнул было даже возразить царю; но, возразив, не смог ни забыть, ни выбросить из себя это оскорбление и возвращался к нему всякий раз, когда наступала минута подумать о судьбе народа, Церкви и государства. Как Первосвятитель, как высший иерарх русской православной Церкви, он, естественно, не мог смириться с высказываниями Иоанна, но как человек мыслящий, всегда и во всем стремившийся доискаться до правды (другое дело, насколько удавалось это), старался понять, что могло скрываться за сими царскими нападками. «Ведь Церковь непогрешима и свята, и что может быть угоднее Богу, чем служение и хвала ему?» — спрашивал он себя, отвергая этим самую возможность сомневаться в святости Церкви, а значит, и церковников, то есть попов, как их не без иронии назвал Иоанн. Весьма возможно, что этим аргументом митрополит Афанасий и ограничился бы, если бы не то обстоятельство, что Византия действительно-таки пала; пала под напором «неверных», возглавлявшихся Магометом II, и — Господь ли отвернулся от православного воинства (но тогда возникает вопрос: почему, за какие грехи?), или неумело распорядились в бою войсковые начальники (но кто и по какому признаку выдвигал и назначал их?), или же все зависело от настроения и духа воинов, то есть от того главного (когда есть что защищать, и люди готовы защитить свой дом и землю), что во все времена являлось определяющим и приносило успех, — войска Византии были разбиты, императоры свергнуты, Церковь подверглась поруганию, а верующие — гонениям, каких невозможно и описать; так в чем же прав и в чем не прав Иоанн, и позволительно ли, когда речь заходит о судьбе народа и государства, презреть ради чести мундира истину и продолжать творить то, что ведет к гибели? Разумеется, митрополит Афанасий не проводил параллелей между Византией и Россией, так как Византии уже не было,

а Россия была; была в поре своей молодости, набирала силу, мужала, и, кроме как свет к благу, никакой иной еще не освещал ее исторический путь (ведь если что-то и скрыто от человека во мраке, так это будущее); но если то, что господствовало теперь в России (в смысле веры), уже привело одну державу, и довольно могущественную, к гибели, то не постигнет ли подобная участь другую, то есть Россию, если все византийское будет безоглядно копироваться в ней? Подобный вопрос, может быть, и не столь ясно сформулированный, как он звучит здесь, ставил митрополита в тупик и в какие-то минуты заставлял вдруг по-иному и смотреть на Иоанна и думать о нем. «Господи, Господи, Господи!» — крестясь, скороговоркою произносил он, но мысли не отступали, сознание рвалось к истине, в то время как плоть, старческая и немощная, облаченная в святость иерархических одежд, требовала покоя и отдохновения.

Историки любят утверждать, что падение Византии было делом предрешенным, и приводят достаточно убедительные доводы, уточняющие или поясняющие их мысль, и главным в этих доводах выставляется то, что все мировые империи рано или поздно изживают себя, разваливаются и умирают и что происходит это оттого, что стареет и деградирует власть, деградирует система, и выдвигавшиеся в ней ценности, к какой бы области человеческой деятельности ни относились, перестают быть ценностями, оплевываются и выбрасываются на задворки. Конечно, можно увидеть историю и так, если смотреть лишь на черепки бывших империй и не приподнимать той надгробной плиты, под которой как раз и бывает захоронен ключ к познанию. Византия, во-первых, не изжила себя, а была завоевана войсками Магомета II, и, во-вторых, если согласиться, что изживает себя система, то и Церковь (в данном случае, православная) как часть системы, как идеология, со всех сторон подпиравшая эту систему и, в сущности, державшая ее на себе, — Церковь как своего рода именно идеология не может или, вернее, не должна пребывать в прежнем значении; святость ее — уже не святость, а нечто иное, нечто — как одежда с покойного, передающаяся подростку в виде символа вечной жизни. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что религия и Церковь, основывающаяся на ее постулатах, — понятия далеко и далеко не однозначные и могут соотноситься между собой как суть предмета и оболочка, в которую заключена сия суть (и оболочка может быть прочной, непрочной, тленной), так что заранее отвергаю даже самую попытку обвинить меня в нападках на религию; нет, речь идет не о христианстве вообще, а только об одной ее ветви, о православии, сыгравшем в нашей истории роль особенную и, позволю заметить, далеко не изученную по своим последствиям как в положительном, так и в отрицательном планах, хотя тяга к подобным исследованиям жила в обществе всегда, со времен еще Ярослава Владимировича, когда Русь только-только начала покрываться сетью монастырей, привносивших в народ дух иноческого смирения, отречения от земных благ и поисков спасения в служении Богу, в угнетении плоти, нищете, безволии, и митрополит Афанасий в теперешних своих недолгих и трудных раздумьях предстает лишь одним из тех обеспокоенных судьбою державы церковных деятелей, кои в такой ли, в иной ли форме приступали к этому вопросу и искали ответ на него.

## LXVII

«В эпоху, когда Русь приняла христианство, православная церковь была пропитана монашеским духом, и религиозное благочестие находилось под исключительным влиянием монастырского взгляда», — заметил в одном из своих трудов историк Костомаров. И далее он говорит, что «сложилося представление, что человек может угодить Богу более всего добровольными лишениями, страданиями, удручением плоти, отречением от всяких земных благ, даже самоотчуждением от себе подобных, — что Богу приятна печаль, скорбь, слезы человека; и, напротив, веселое, спокойное житье есть угождение дьяволу и ведет к погибели», и что «так было в византийском мире; то же перешло и к нам». Трудно, конечно, предположить, чтобы во времена Иоанна, то есть митрополита Афанасия (ведь о нем речь), люди столь же ясно представляли себе панораму миновавшей жизни, тем более иерархи, прошедшие сами через иночество и

разве что, как они полагали, сумевшие лишь просветиться в нем; но, может, именно с высоты этого просвещения, как и было теперь с митрополитом Афанасием, и открывался им совсем иной, новый, не замутненный еще идеями собственного величия взгляд на народ, Церковь и будущее державы, которой служили и от которой неотделима была их судьба и жизнь. Митрополит Афанасий лишь пытался ответить Иоанну на его упрек Церкви, лишь пытался определить, в чем прав и в чем не прав царь-самодержец, и в поисках не то чтобы оправдания, — нет, митрополит этого не хотел, — а в поисках истины невольно приходил к мысли, что, пожалуй, Иоанн прав и что дух монашества, получивший наивысшее к тому времени распространение и силу в Византии, как раз и поставил народ в положение, когда ему нечего и незачем было защищать. Подобная мысль (мысль Иоанна — это для уточнения, чтобы не забыть) может показаться преувеличением, так как, повторю еще раз, падение Византии как империи неверно было бы связывать лишь с ослаблением духовных сил народа; причин на то было предостаточно — и действительных, и воображенных, — и только совокупное рассмотрение их может хоть как-то приблизить нас к правильному ответу. Но митрополит Афанасий (в силу определенных, разумеется, обстоятельств) брал лишь одну эту сторону, лишь то, что относилось или могло относиться к Церкви и монашескому духу в ней, то есть к тому самому «религиозному благочестию», находившемуся под влиянием монастырского взгляда, какое проникало в народ и приглушало в нем энергию жизни. Схема же подобного влияния чрезвычайно проста. Если происходящее в стенах монастырей и с отшельниками — благочестие, а то, что за пределами этих стен, в миру, — разврат и служение дьяволу, чреватое вечными муками (что не распространялось, однако, на великих князей да и прочих мирских или духовных владык), то, естественно, чтобы спасти сь, надо было либо постригаться в монахи, либо, во всяком случае, жить с поскоянной оглядкой на иноческое благочестие. Считалось (и мнение это поощрялось и насаждалось далеко не только Церковью), что чем полнее отречение от всего: дома, семьи, собственности, воли, даже своей плоти, которую надлежало только угнетать и истязать, денно и нощно молясь при этом и воздавая хвалу Спасителю нашему, — тем выше почитался иноческий подвиг, тем больше чернец или отшельник обретали святости. Его славили в церквях, говорили о нем в народе, возвеличивали при царских и великокняжеских дворах, и простой люд, чтобы спасти сь для потустороннего вечного благоденствия, толпами валил к нему, лишь бы прикоснуться к его лохмотьям и приобщиться таким образом к его святости. Символ иночества как некоего спасения (от кого, от чего, спрашиваю уже я, от жизни?), словно невидимый херувим, витал над обществом, скопя и наводняя аскетизмом его, и неважно, что зарождением просвещения да и самой государственности народы во многом обязаны Церкви и монастырям (взять хотя бы тех же Кирилла и Мефодия); неважно, что многие нравственные начала действительно исходили из монастырских келий, как, впрочем, и летописный труд, без которого все прошлое лежало бы для нас в полнейшем и непроглядном мраке (хотя ведь и монастырская нравственность рождалась не на голом месте, а имела соответствующее тому народное основание); неважно, что в монастырях именно возрастали и являлись затем державе личности незаурядные, великие, память о которых и поныне нетленна в наших сердцах (разными были иноки, отшельники, разными были и уставы монастырской жизни, то действительно восходившие до высот нравственного благочестия, то опускавшиеся чуть ли не до откровенного стяжательства и разврата, что отмечалось еще при Иване III и Василии III и обрело особый размах уже в царствование Иоанна); неважно, что из монастырских келий приходило в мир, в народ это благотворное, что нравственно отрезвляло и сдерживало его (так ведь, не будь монастырей, нашлась бы некая иная форма для утверждения общественной жизни), а важно другое, что как раз и вызывало теперь беспокойство у митрополита Афанасия своей мрачной направленностью и объединялось в понятия монастырского взгляда на жизнь. Соизмеримы ли блага привносившиеся с теми, что отнимались, духовно ослабляя людей? И как можно желать процветания народу, отбирая у него самую цель жизни — радость бытия и лишая его, пусть даже в угождение Богу, святых роди-

тельских чувств, то есть возможности иметь семью, детей и возможности трудиться во благо и счастье их? Такой человек безроден, всепланетен (что, может быть, и угодно Богу, но, в сущности, обрекает народ на бесплодие и вымирание), и что и кого было защищать подобному византийцу в своей Византии? Митрополит Афанасий ничего не утверждал, а лишь, сясь понять Иоанна, приходил к этой страшной по еретичности своей и приближавшей его к истине мысли о влиянии монастырского благочестия на общую жизнь людей, и, не желая принять ее и противостоя ей (по положению Первосвященителя да и по итогам всей своей почти полувековой церковной жизни), вместе с тем и не хотел и не в силах был прервать этого являвшегося ему просветления.

Тут, пожалуй, самое время чуть прервать повествование и обратиться к некогда уравненным между собой и официально господствовавшим в нашем обществе понятиям самодержавия, православия, народности, за которыми ясно можно разглядеть, с одной стороны, базовую основу, то есть миллионы и миллионы простых людей, а с другой — мирское и идеологическое (Церковь) правления над ними. Затем, в начале двадцатого столетия, мирское правление, вернее, тот инструмент жизни, через который хоть как-то, хоть ущемленно, но люди могли все же оказывать влияние на формирование своей судьбы, — мирское правление как совершенно будто бы изжившее себя было упразднено и оставлено лишь идеологическое (с тем только различием, что функции Церкви, расширенные до безмерного влияния на все и всех, взяла на себя партия), и независимо от того, захотим или не захотим мы признать это, всем своим новым государственным устройством страна наша неизмеримо ближе, чем когда-либо, придвинулась к византийскому варианту. Проще говоря, то, к чему столь безуспешно, казалось бы, и в величайшем противоборстве сил стремились российские великие князья, цари, императоры, разрешено было одним, как утверждают теперь (правда, холостым, как добавляют, сигнальным), выстрелом с «Авроры», и на месте старой, до корней будто бы прогнившей империи явилась миру... не новая, нет, а все та же в проявлениях своих, но лишь с более ужесточенными законами держава, по закабаленности человека в которой не мог бы сравниться, пожалуй, даже весь сложенный воедино древний дохристианский мир. Победители же, впрочем, ликовали, выдавая это забытое старое за новое и тем обманывая себя и народ. Но ведь не только на людях изнашиваются и истлевают одежды; изнашиваются, истлевают и одежды политические, и, когда приходит время менять их (как нам теперь), содеянное и правителями, и народом хоть на миг, но предстает перед историей в своем истинном смысле и значении.

Нам всегда представлялось и представляется теперь, что человечество, идя к совершенству, располагает неограниченным простором для действий, тогда как на самом деле, если приглядеться к историческому процессу, оно столь же ограничено в выборе, сколь и стеснено и обречено повторять то, что было в прошлом, облекая лишь это прошлое в новые, более привлекательные обертки. Когда христианство, возведенное отцами Церкви среди европейских народов как идеология над правлением мирским, над всей, по существу, общественной жизнью (по византийскому варианту), достигло пика в своем безудержном мракобесии, европейцы, чтобы стряхнуть сию идеологическую тоталитарность с себя, обратились в поисках к античному миру. «Почитание святых уступило место богам Греции и Рима», а «знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодной для черни, которую, ради выгоды, следует держать в заблуждении». Европа таким образом сделала для себя тот выбор, вернее, нашла тот компромисс — из двух безусловно равных и безусловно противоборствовавших начал жизни, — который, всем известно теперь, к чему он привел; мы же, решив (и с многовековым, разумеется, опозданием) обновить жизнь, не нашли ничего лучшего, как с большей еще, чем прежде, ревностью повторить тот гибельный, однажды уже навязанный нам византийский вариант, последствия которого столь трагично переживаем сейчас. Мы взяли главное, чего более всего следовало опасаться, — верховодство

идеологии над мирской властью, — и дух иночества из тесных монастырских келий перенесли на простор общей, государственной жизни; народ даже не заметил, как в одночасье после Октября семнадцатого был целиком пострижен в монахи, лишен собственности, закабален, унижен, государство превращено в казарменный монастырь с наставниками и паствой, в котором паства на диво всем остальным государствам и народам, пребывавшим еще в пороках и не умевшим очиститься от них, подавала пример нового, социалистического (вместо прошлого, религиозного) благочестия. Одиночные монашеские подвиги во имя собственного спасения, столь прославлявшиеся и властями, и Церковью, заменены были теперь единым трудовым подвигом народа, уже не имевшим никакого отношения к спасению личному, а совершавшимся ради светлого будущего для всех. Но вместо светлого будущего, вместо этого нового обещанного рая (объявлялись даже конкретные сроки) надвигалось лишь обнищание: и экономическое, и нравственное, и ничего не получавший за свои подвиги и пребывавший в состоянии обмана и миражей трудовой люд все более обретал черты того бездумного овечьего стада, в котором никто не может двинуться без окрика пастуха или лая сторожевых псов.

Там, где правит идеология, для естественных законов бытия не остается места; бездействие же естественных законов ведет лишь к развалу и хаосу, и падение Византии есть не больше, не меньше как плата за иерархический произвол над жизнью, достаточно верно, впрочем, подмеченный и понятый Иоанном. Но Россия — не Византия, и пишу я об этом не для того, чтобы сказать, что и нам уготована та же судьба; нет, история еще не завершена, и время покажет, на что способен или не способен русский народ и позволит ли в третий и, может быть, последний раз обмануть себя или найдет силы прозреть и опомниться; я же уповаю лишь на одно — именно на прозрение, во имя которого и тружусь и беру на себя сию ношу. Ведь житейное монашеское сформировалось не само по себе, в нем так ли, иначе ли явилась потребность — и личности, и общества, и власти; и в то время как для личности это было лишь способом удалиться от мирских невзгод, для общества — пережить нашествия, мор или притеснения властей, то для иерархов, будь то светские или духовные, — для иерархов, озабоченных тем, чтобы держать паству в повиновении, образ монашества был если не главным, то по крайней мере одним из главных институтов воздействия на умонастроение и психологию людских масс. Добровольное отречение от собственности, от себя самого, от всех благ жизни, — да никакой власти и никаким насильем не достичь этого, что достигалось с помощью идеологии (в данном случае церковной), и потому-то с таким усердием сей самоубийственный для народа иноческий аскетизм провозглашался подвигом. Так что — нет, нет, не из атеистических соображений кинулись разрушать у нас соборы, храмы, церкви; одним надо было просто пограбить сей богатейший материк, что и было исполнено, другим же — расчистить место для возведения новых святыниц, партийных, на кои, впрочем, не достало у них ни ума, ни рук, и, если задаться вопросом, во имя чего же все это совершалось, бесчинствовали власти и страдал народ, ответ напрашивается сам собой: во имя все той же власти, личной, безраздельной, самодержавной, диктаторской. Проходят века, меняются правители и их политические одежды, и неизменными остаются лишь — властолюбие и пренебрежение (ради этого властолюбия) самодержцев к жизни простых людей.

## LXVIII

Именно эти судьбоносные для жизни народа и государства вопросы, на которые мы столь судорожно ищем ответ, хотя и по-своему, в рамках тогдашних понятий и представлений, как раз и занимали митрополита Афанасия. Мысли его, обращенные как будто в прошлое, на самом деле были обращены в будущее. Из своей срединной точки жизни, как мы бы сказали теперь, оглянувшись на то столетие, вернее, на Иоанново время, уже вселявшее в митрополита, бояр и даже частью в простой, обывательский люд предчувствие надвигавшихся на страну неурядиц и смут, — из этой своей срединной точки жизни (если брать, повторяю, в масштабах истории), окруженный мраком неведения, он старался отыскать тот про-



свет, который позволил бы ему выйти из удушья на воздух, и просвет этот, как ни странно, то есть завал на пути к этому просвету, казалось митрополиту, выдвигался из прошлого и еще более духовного, чем ныне обступавшая его вязкая и бестелесная вроде бы духовность, но вроде бы и нечто неуловимое, лишь напоминающее устремления и силы некогда свежего и жизнерадостного (в восприятии и устройстве бытия) славянского люда. Он не то чтобы осознавал себя провидцем или мессией (подобный взгляд на себя вообще не в традициях русского человека, расположенного более к состраданию и сочувствию, чем к подавлению воли других), — нет, подобное, если бы даже отдаленно явилось ему, он троекратно бы отрестился, как отрещиваются от нечистых, злых духов, и силой воли, приписываемой лишь Творцу, ибо Он и только Он призван управлять человеком, погасил бы в самом зачатке сие коснувшееся души расстление; беспокойство его было — тем обычным беспокойством мыслящего гражданина отечества, кои в разных вариантах и на разных уровнях государственной и общественной жизни всегда являлись в народе, общине, миру, человечеству и оставляли свой добрый след. На старом, морщинистом лице митрополита, уже тронутым как будто бы маской вечности, отражено было все его теперешнее душевное состояние, он не ворочался, не постанывал, как это бывало с ним, когда впадал в забытие и когда ломота в ногах, мучившая его, становилась особенно невыносимой; то, что он старался разрешить, требовало мужества, и он собирал оставшиеся еще в себе силы для этого шага.

Зимний полусумрак, и тепло, исходившее от хорошо протопленной печи, и тишина, установившаяся в гостиной, в которой он теперь полулежал в кресле, откинувшись головой на высокую спинку и безвольно, расслабленно вытянув по подлокотникам руки, да и общая, постоянно будто царившая в митрополичьих палатах умиротворенность, что ли, как можно было бы ее назвать (ведь святость не любит суеты, и лики святых, устремленные с икон в мир, каждую минуту, как стражи, готовы предупредить нарушение сей строгой святости), — все это окружавшее теперь Первосвященника и должное будто бы располагать к покою, на самом деле располагало лишь к воспоминаниям, от которых не то чтобы согревалась, теплела душа, но ощущение безнадежности заменялось иным чувством, хотя вроде бы и не сопоставимым с радостью земного бытия (сия радость во многом обошла Афанасия), но сопоставимым с радостью открытий — мира святых, мира вечности, — столь потрясших в свое время его жаждавшую познаний и по-своему романтическую натуру. Может, потому-то и не ощутил так всей тягости иноческой жизни, что более проводил время не в молитвенных бдениях, преклонясь перед ликами святых на холодном церковном полу, и не в усердном угнетении плоти, молодой, жаждавшей жизни, а в обительской читальне за книгами, где, впрочем, было еще холоднее, чем в церкви и келье, было голо и неудобно от промозглой каменной сырости, исходившей от пола и стен, но — что было ему тогда до этих неудобств, которые, если бы их не существовало, предписывалось уже самой сутью иночества искать и находить для себя, да и как вообще можно было думать о себе, когда со страниц книг словно бы выливалась на него сама святость, воплощенная в живых свидетельствах жизни? В молодом сознании его уже тогда и с ясностью возникла та простая схема бытия, по которой все в мире было разделено на три составные части: Творец, то есть Спаситель, затем угодники, достигшие своими иноческими подвигами святости, и паства, которая пребывала в заблуждении и которой давался (иночеством, разумеется) шанс прозреть и достичь святости. Афанасия привлекал именно этот средний между паствой и Спасителем слой, в который он ставил себе целью войти, совершив для этого положенный подвиг, и потому-то, видимо, его более привлекали жития своих, отечественных святых угодников, столь недавно еще ходивших по этой же земле, по которой ходил теперь он, и молившихся в этих же церквях, где преклонял колена и он, стремясь к благочестию. Особенно же он читал и перечитывал печерский патерик, написанный знаменитым для своего времени летописцем Киевского печерского монастыря Нестором. Нестор, обладавший, несомненно, художественным даром, не просто рассказывал, но живописал основателей печерского монастыря преподобных Антония и Феодосия (особенно Феодосия), и

юный послушник, а затем инок Афанасий даже не замечал, как, читая эти жития, словно бы переносился в ту глубокую старину, когда поощряемые Великим Князем Ярославом монастыри еще только-только начинали зарождаться на Руси и когда для молодой, свежеекременной паствы открывался непечатый простор для иноческих подвигов.

Воображение святителя и воображение простых людей разнятся разве что тем, что каждым в меру своих понятий и представлений воссоздается тот мир совершенства, к достижению которого с юных лет устремлялись его нравственные силы; и не реальность событий и дел, не боренья с самим собой и отказ от потребностей и соблазнов жизни, а лишь то именно пригрезившееся в иноческие и предыноческие годы совершенство, каким оно представало в сознании Афанасия тогда, — представало теперь окрашенное все теми же будто романтическими красками, звывшими к возвышению и возвышавшими душу, но в то же время смотревшимися уже вроде бы по-иному, словно не по горизонту, не в плоскости, а в разрезе исторических напластований дней и веков открывалось пространство и прожитой самим, и прожитой человечеством жизни. Он думал о себе, и все прошлое и настоящее соизмерял как будто бы лишь со своим чувством приятия и неприятия, но правдивость и откровенность, с какими позволял себе теперь смотреть на все, — правдивость и откровенность словно бы выводили его из оболочки личных страстей и соединяли с тем пластом жизни, какой принято называть народом, людом, и без понимания, или осознания, что было бы точнее, нужд которого нет и не может быть ни святости, ни самой жизни. Он сознавал это так же реально, как чувствовал свои больные ноги, слегка уже согрешившие в мехах и начавшие чуть успокаиваться; и чем больше они успокаивались, вернее, чем меньше отвлекала его эта старческая, как полагал он, ломота в ногах, тем свободнее (в теперешнем напряженном своем состоянии) перемещался во времени и тем шире, панорамней представала перед ним картина паломничества, когда с группой таких же, как и сам, богомольцев решил сходить и поклониться святым мощам преподобных Антония и Феодосия.

В то время как молодой Иоанн то в позлащенной карете, то верхом скакал по просторам России от монастыря к монастырю, отыскивая мифического, в сущности, сына Соломонии царевича Георгия, забавляясь при этом лихими, разбойными наскоками на деревенских и посадских мужиков и посещая между этими наскоками монастырские кладбища и чревоугодничая на игуменских застольях, — десятью, может быть, с лишним годами раньше и тоже от посада к посаду и от монастыря к монастырю шел, меряя версты к древнему граду Киеву, лишь с котомкой за плечами да с надеждой приобщения к святости инок Чудова монастыря Афанасий. Теперь, сидя в кресле, он словно бы издала, из глубины своей почтенной (и благословенной, как считал) старости смотрел на себя того, молодого, которому не то чтобы все мирское было неведомо или чуждо, — нет, в любой святости человек всегда остается человеком, но, как и предписывалось канонами церкви, в земной жизни вообще видел лишь ту скоротечную дорогу, которую следует лишь пройти (и чем быстрее, тем лучше), не впад в греховные искушения, и в конце которой, как и в конце богомольного пути к Киеву, ожидало некое будто приобщение к вечному благоденствию. Верно говорят, что когда есть цель, не страшны никакие лишения. Инок Афанасий ночевал, где придется, кормился тем, что подадут люди; случалось, останавливался в монастырях, которых уже тогда достаточно было понастроено на Руси, случалось, заходил в крестьянские семьи и ночевал либо в избе, либо на сеновале, а иногда и вовсе в поле, в стогу, и так ли, иначе ли в мир книжных, зашоренных иноческих бытием мечтаний, как нечто очистительное, врывалось дыхание повседневной людской жизни, той самой, из которой еще недавно будто бы, мальчонкой, был вынут он сам и которая, открываясь теперь (главным образом, не лучшей своей стороной: нищетой и забитостью), как раз и порождала то великое смятение духа, какое, на мой взгляд, только и способно подвигать человечество к искомой, желанной цели; и это-то смятение, с годами лишь укрепившееся в сознании Афанасия, позволяло ему с иных, еретических, как оценили бы их, откройся он тогда перед кем-либо, а по сути реалистических, как можно было бы сего-

дня определить их, позиций взглянуть на события давно минувших и недавних и живых еще в памяти лет.

## LXIX

Земля не засеивалась тогда столь обширно хлебами, как она засеивается теперь, реки были многоводными, густые леса и чащобы полны разнообразных птиц и зверей, всюду курчавились березняки, дубравы, плотные, непроходимые малинники на версты окаймляли лесные опушки, и среди этой не тронутой еще человеком природы узкими змейками вились едва заметные (от малого употребления их), более похожие на тропы дороги, соединяющие между собой деревни, посадки, монастыри. От крымцев ли, разбойно наведывавшихся сюда, от своих ли ночных или дневных татей или оттого лишь, что возле городов и посадов легче было кормиться и жить, люди, казалось, жалась к этим посадкам и городам, словно бы живым ожерельем обустраиваясь вокруг и оставляя нехоженными безмерные пространства лугов, лесных зарослей, то есть глухих, как мы бы теперь назвали их, и неопишуемых по первозданности своей красоты медвежьих углов. Все лето, задерживаясь лишь на переправах (да на ночлег где-либо, как уже говорилось), прошагал Афанасий по этим истинно немерянным, как только и могло тогда представляться ему, просторам, поражаясь благодати, вернее, какому-то будто величию духа, простиравшемуся над всем, на что от ног до горизонта падал взгляд, и еще более поражаясь, что люди, получив сей божественный дар жизни, не умели или не хотели использовать его во благо себе. Он верил тогда в верховенство добра так же беспредельно, безоглядно, как верил в Спасителя, Господа нашего, перед коим все люди равны, и вера эта, с тех пор достаточно поколебленная общим и неуправляемым будто течением жизни, вдруг, словно проснувшись от воспоминаний, радостно шевельнулась в нем. Жизнь людская, жизнь вообще — все, все имеет свою молодость и минуты наивного удивления, и может быть, нет более естественного (и здравого, добавлю от себя, что приводило бы нас к согласию), чем эти минуты удивления, когда отметка доброты, то есть осознания не использованных для блага возможностей достигает в человеке наивысшей черты и не мнимо, а действительно возвеличивает душу. Митрополиту Афанасию теперь особенно приятно было вернуться в то иноческое, а проще — юношеское состояние, и, не поднимая головы, не шевелясь, не открывая глаз, он словно бы вновь измерял взглядом то пройденное пространство от Москвы до Киева, которое не книжным, нет, а невытравимым зримым понятием отечества утверждалось в его душе.

Задолго еще до того, как открылся взгляду древнейший град Киев Афанасий и богомольцы, с которыми он шел, ощутили его историческое дыхание. Плотнее, населеннее становилась местность, чаще попадались деревни, посадки, монастыри, обнесенные стенами, пасущиеся на лугах стада, хлебные нивы, полосами сбегавшие с раскатистых взгорий, и по всему равнинному горизонту, на возвышениях, как и должно быть, и в окружении крытых соломою изб видны были церковные маковки с крестами, на которые, поворачиваясь, истово крестились Афанасий и богомольцы. Иногда дорога выходила к Днепру, и всякий раз, как только распахивался вид на эту полноводную с ивняком и затонами реку, о которой спустя столетия будет сказано, что редкая птица долетит до середины ее, — всякий раз и Афанасий, и паломники останавливались как вкопанные и молча и молитвенно смотрели на светлое и беспорочное, как им казалось, течение ее вод. Хороша ли, плоха ли православная вера, история еще не завершила свой виток, и народ не сказал последнего слова; сиюминутные суждения наши, какими бы смелыми и правдивыми ни представлялись нам, еще не есть истина, и ничто и никто не может дать права на осуждение отцов; видимо, стоя перед выбором, как и мы сегодня, они металась в нерешительности, что принять, чтобы и сохранить достоинство, самобытность, и не отстать в развитии от других народов и государств, и, не найдя ничего лучшего, чем это, что приняли, надели, в сущности, на себя те нравственные наручники, кои и по сей день сковывают нас. Понимал или, точнее, мог ли понимать это Афанасий? Чин Первосвятителя и опыт жизни во многом приближали его сейчас

к этой истине; но тогда, на берегу Днепра, иноческая убежденность диктовала ему иные мысли и он лишь молитвенно омывал лицо и руки в священных водах сей великой реки, в которой принято было Божье благословение всем русским народом и откуда как раз и берет начало наша судбоносная и не выясненная еще до конца святость.

Надо ли говорить, что города прежде смотрелись иначе, чем смотрятся сейчас, и в них не то чтобы было больше теплоты, уюта, что ли, то есть той трогающей русского человека душевности и (тогда уже!) историзма, какой и ныне ничуть не меньше, если не сильнее волнует нас. Не от любви к женщине, как бывает с молодыми людьми и что вполне понятно и объяснимо, не от изумления жизнью, как можно было бы истолковать еще, ссылаясь на романтичность природы, но — словно бы от некоего высокого предназначения, должного совершиться (да и начавшего уже совершаться), затрепетало иноческое сердце Афанасия, когда неказистый, в сущности, давно утративший свое былое столичное значение город крепостной стеною, соборами, княжескими и архиепископскими строениями вырос перед глазами. Богомольцы поднялись на пригорок, чтобы лучше разглядеть и запомнить хотя бы общие очертания столь дорогого для них, как и для всякого русского человека, святого места. Отсюда, как им казалось тогда, не только началось для россиян православие, но пошла сама Русь, лежавшая теперь немеряным простором от ледяных беломорских широт до этого благодатного юга, и старина, как она продолжает неизменно волновать нас, волновала тогда и богомольцев, и Афанасия с его романтическим (иноческим) воображением; отсюда, от этих стен, от княжеского двора отправлялась за данью в свои разбойные походы великокняжеская дружина, как если бы подданные для того только и существовали, чтобы обирать их, и сюда, под эти стены, не раз и не два подступали печенеги и половцы, грозясь пожечь и пограбить все, что предается огню, увозится и конвоируется, и отсюда же, да, именно отсюда — хлынуло и растеклось по городам и весям, наполняя людские сердца и души смирением, а землю соборами, церквями и монастырями, спасительное и единственно будто бы приемлемое для нас православие. Еще и еще раз повторяю: я не хочу вдаваться в подробности созидательной ли, разлагающей ли роли какой бы то ни было религии; идеология, сколько бы красивой лжи ни вываливала на человека и человечество, напоминает лишь коридор без ответвлений и выходов, по которому предлагается идти тому или иному народу, а свет в конце его, как и огонек в непроглядной ночи, всякий раз только отдаляется или исчезает вообще, едва люди начинают приближаться к нему. Врата рая столь же недостижимы и обманны, как и обещания земного (и тоже в будущем!) всеобщего процветания, но, сменяя ложь на ложь, можно ли добиться совершенства и благоденствия? И если сия простая истина и сегодня остается неопостижимой в народе, то насколько же она была отдалена от Афанасия и богомольцев, смотревших на древний град Киев так, словно на них и в самом деле от одного лишь вида сих стен и строений снисходила елейная благодать?

## LXX

Сотворив молитву и с молитвой же на устах они вступили в город. Солнце уже перевалило за полдень, и всюду меж домами, соборами и на площадях, да и в торговых рядах или на рынке, как мы бы сказали теперь, — всюду, словно застыв в безветрии, густо держалась сухая летняя духота; и, может быть, от этой именно духоты город показался малолюдным, пустынным, будто вымершим или испуганно затаившимся в преддверии каких-то непредсказуемых событий. Таким в первые минуты предстал перед Афанасием Киев (и представал теперь в воображении — с той лишь разницей, что на фоне общей картины видел себя шагающим в толпе богомольцев); но впечатление это — впечатление безлюдности — было ложным, и чем ближе Афанасий подвигался к центру, тем оживленнее становилось на улицах и тем ощутимее чувствовался ритм южного, пограничного, в сущности, для тех времен города. Конечно, его нельзя было сравнить ни с Царьградом, ни с Иерусалимом, и всякий, ходивший к Гро-

бу Господнему, мог бы вполне подтвердить это. Но для инока Афанасия, во все глаза смотревшего на все, что открывалось, град сей по святости имел ничуть не меньшее, если не большее значение, чем священный Иерусалим. Перед княжеским двором, у ворот, стояли ратники в доспехах, томившиеся от тяжести своего воинского труда; на церковных папертях, облепив их, ютились калеки и нищие, ожидавшие подаваний, а в торговых рядах бойко покрикивали лавочники, зазывавшие покупателей и предлагавшие товар; тут же, при лавках, работали ювелиры, сапожники, в кузнях стучали молотки, раздувались горны; скорняки вымачивали кожи, правили хомуты, седла, сбрую, а ближе к сенному и скотному рынкам стояли возы с мукой, пшеницей, овощами, ранними яблоками и еще, еще разнообразнейшей снедью, которая тут же, на глазах, варилась, жарилась, подавалась и поедалась толкавшимся людом; здесь, в центре, несмотря на жару и некое будто малолюдство, бросившееся в глаза при входе в город, жизнь, казалось, только набирала обороты, и было в ней не то, чтобы что-то нерусское, противное нашей неспешности и размеренности, но — нечто будто восточное, суетное и красочное, вкрапленное в жизнь древнего русского города; и это вкрапление, этот в осязаемой близости азиатский мир, на постулатах которого, если оглянуться с высоты времен, как раз и замешана вся наша национальная самобытность (хорошо ли это, плохо ли, вопрос другой), вызывал у Афанасия и настороженность, и любопытство. Как инок, он не должен был интересоваться ничем мирским, но как человек с извечной своей потребностью к познаниям, — как человек, волею судьбы оказавшийся в сих новых обстоятельствах, вглядывался во все с жадностью, складывая или, вернее, расширяя в сознании своем социальную и нравственную географию людского бытия. Он впервые тогда ощутил смятение в душе, хотя и не понимал, от чего оно происходило, как, впрочем, не до конца понимал и теперь, возвращаясь мыслью к тем дням, и ему лишь странным казалось, что между тем, что угодно Богу от человека, — отречения от себя, послушания и смирения, — и тем, что необходимо человеку иметь для жизни, не было и нет ни согласия, ни единства.

## LXXI

В Киеве к тому времени действовало уже достаточно монастырей (о церквях уже не говорю), заложенных еще при Ярославе Владимировиче и затем при Изяславе и Владимире Мономахе. Но первым и главным, по крайней мере по святости, как подается историей, считался печерский монастырь. Он располагался за чертой города и возник, если так можно сказать, самым случайным образом. Некий отец Иларий — священник из села Берестова — вдруг ни с того, ни с сего будто начал копать пещеру, чтобы отдалиться от мира и жить в ней. Что подтолкнуло его на это неслыханное дотоле на Руси отшельничество: просто ли желание прославиться или, выказав, хотя бы и таким образом, святость, привлечь к себе внимание духовенства и прихожан, — теперь трудно сказать; во всяком случае, ясно только одно, что сей «подвиг» его был замечен, он получил нужную известность и был возведен в сан митрополита, а на его место вскоре пришел Антоний, принявший монашество на Афонской горе, но не прижившийся (по слабости будто бы уставных порядков) ни в одном из тогдашних в Киеве монастырей. Отшельник этот столь основательно изнурял себя, питаясь, как повествует Нестор, лишь хлебом и водой, да и то через день, что весть о его святости вскоре разнослась далеко за пределы Киева. О нем, прослышав, с похвалой отозвался князь, к нему потянулись люди, почувствовав в нем спасителя и заступника (ведь многие и теперь полагают, что если человек нищ, если отшельничает, значит свят), и вокруг его имени начал как бы сам собой складываться некий ореол славы, вызывавший зависть у людей честолюбивых, не умевших иначе, чем через подобную святость, проявить себя. Привлеченный, может быть, как раз этим ореолом рядом с пещерой Антония принялся копать подобное же убежище для себя некий сельский священник Никон, и уже следом за ним явился жаждавший послушания Феодосий.

Он был молод, крепок телом, но еще более, как оказалось потом,

крепок духом и представлял собой личность незаурядную, способную не столько на смирение, сколько — на проявление воли, к кому бы и к чему бы это ни относилось, к себе ли, к подавлению ли своих страстей и желаний или по отношению к другим, над кем обретал власть. Но Антоний, несмотря на решимость молодого человека посвятить себя служению Богу, не сразу согласился принять его, и между ними состоялся тот разговор, который (по слухам уже, по живучей иноческой памяти) приводит в своем патерике Нестор и который, сообразуясь с сюжетной необходимостью (и для пущей, конечно же, убедительности), должен и я привести здесь.

«Чадо, — сказал Антоний, — пещера — это место скорбное и тесное, ты же молод и, я думаю, не вытерпишь скорби в сем месте».

«Честный отче, — ответил Феодосий, — ты все проразумеваешь, ты знаешь, что Бог привел меня к твоей святости. Все, что велишь, буду творить».

«Чадо, — сказал Антоний, — благословен Бог, укрепивший тебя к такому намерению. Пребывай здесь».

Отец Никон совершил над ним обряд пострижения, и чадо, то есть новоиспеченный монах Феодосий, приступил к своей трудной, но единственно будто бы ведущей к спасению иноческой жизни.

В повседневности человеку обычно не просто бывает проявить себя. В нем вырабатывается некий автоматизм, приводящий в движение ум и руки, и требуется нечто экстремальное, чтобы опять и с новой силой могли всплунуть желания и страсти, подвигающие к доброму или злomu поступку. В отшельнической пещерной жизни не то чтобы каждый новый день, как две капли воды, был похож на предшествовавший, — нет, случались холода, мели снега, дули ветры, гремели грозы и затем вновь, после дождей, появлялось солнце и согревало землю и продрогших в ней иноков; но независимо от этих внешних неудобств жизнь духовная, нравственная, — жизнь эта, заключающаяся в воздержаниях, истязаниях плоти и восхвалениях Господа, которому добровольно, разумеется, по какому-то, может быть, сверхгипнотическому внушению или самовнушению отшельники отдавали плоть и дух, не только оставалась неизменной, но известными друг перед другом стараниями лишь ужесточалась в этой своей неизменности. Чтобы вынести подобное на себя наложение, можно представить, какой нравственной силой должен обладать человек (и насколько быть убежденным в правоте и достижимости цели!); подвиг, душевный порыв, длящийся мгновенья — это одно, а подвиг, душевный порыв, длящийся годы, всю жизнь, — это совсем другое, и Феодосий (пусть будет сказано в похвалу ему) не только обладал мужеством безропотно переносить сии нечеловеческие, в сущности, тяготы, но и выказывал изо дня в день примеры все нового и нового иноческого усердия. О себе он не любил рассказывать, никто не знал, кто и откуда он, и, может быть, так бы и осталось все тайной, если бы на четвертый год пострижения не явилась бы в монастырь его мать, долго и безуспешно искавшая сына, и не потребовала бы, вернее, не настояла бы на свидании с ним.

Первым разговаривал с ней Антоний. Он пригласил ее в свою маленькую, более похожую на конуру, чем на человеческое жилище, пещеру — без окон, без дверей (вход был завешен какою-то ветхую полотняную тряпкой), с одним лишь пристроенным к стенке столиком и приставленным к нему чурбаком вместо табуретки (или скамьи, присесть на которую и была приглашена гостья), да невысокой, из сухой соломы и листьев постели в дальнем, темном углу. Было это осенью, только что прошли окладные дожди, от промокших пещерных стен тянуло сыростью, и пахло гнилью и невымытым человеческим телом. На столике перед горевшей восковой свечой стоял образок Пресвятой Богородицы да деревянная миска с ложкой, что только и положено было иметь отшельнику в личном, так сказать, пользовании, потому что иначе, во-первых, нарушился бы устав (негласный пока еще, правда, неписанный) и, во-вторых, о какой святости можно говорить, если отрекшийся от собственности, вдруг вновь и хоть в какой бы то ни было форме обретает ее? Вот в этой-то обстановке и оказалась мать Феодосия, войдя к Антонию, и, не без брезгливости покосившись на чурбак, на который предлагалось ей сесть, устроилась на нем. Она была хорошо, модно (по тем временам) одета, считалась женщи-

ной состоятельной, и нетрудно вообразить, каковым было ее чувство, когда увидела все это, что предстало перед ней в отшельническом жилище Антония. От слез, ужаса, от того материнского горя, какое охватило ее при одной лишь мысли, что сын, которому могла бы дать и воспитание, и средства, и дело, доставшееся ей по смерти мужа, что сын вместо блестящего будущего, уже уготованного ему, предпочел ютиться в сей нищете и сырости, долго не могла вымолвить ни слова. Антоний то подавал ей воды в ковше, полагая, что это успокоит ее, то поворачивал к ней образок и предлагал помолиться, чтобы Пресвятая Богородица, заступница матерей и жен, дала утешение, но, может быть, потому, что делал все безучастно, — от его слов, движений, от всей мрачной иноческой отчужденности, как и от сырых стен, веяло лишь холодностью и неприступностью и не утешало, а, напротив, только сильнее расстраивало ее.

Впрочем, как ни покажется подобное странным, но рядом с безволием и слабостью всегда соседствуют жестокость и непримиримость, и потому-то минутами, когда полные слез глаза матери просыхали, лицо ее вдруг словно преображалось и обретало черты непримиримости и жесткости. Только что сосредоточенное на сыне внимание ее переключалось на тех нечестных, злых и страшных для нее людей, которые как раз и затуманивали сознание ее сына, приносили молитвенники и, отвращая от мирской жизни (от дома и от нее, матери), постоянно уговаривали уйти куда-то и с которыми она и боролась во всю меру своих материнских сил. Рассказ ее, казалось, только и состоял из беспрерывных побегов и поисков; она всюду, как по пятам, следовала за сыном, нанимала людей, чтобы его ловили, запирали на неделю, а то и на две в чулан, била, срывала с него всевозможные власничицы и цепи, которые, прослышав о веригах, он напяливал на себя и которыми до кровоподтеков растирал плечи; стараясь удержать его силой, она не понимала, что любое насилие вызывает лишь желание освободиться от него, что, в сущности, и сделал Феодосий, пристав однажды к купеческому обозу, направлявшемуся в Киев, и навсегда покинув отчий дом.

«Верните мне сына», — наконец, резко заявила она Антонию, закончив рассказ. Она и теперь, надеясь на силу и на свое неотъемлемое материнское право, хотела применить ее, на что Антоний суховато, как и подобало ему, ответил известным выражением Христа, что «тот недостойн Его, кто ради Его и Евангелия не оставит отца, матери, жены и всего, что есть для него дорогого в мире».

## LXXII

Есть два толкования приведенному Антонием выражению. По одному из этих толкований не только оправдывалось вступление в монастырь, но и само иноческое бытие возводилось в некий наивысший идеал жизни, к которому будто бы как раз и должно стремиться человечество; по второму же — требовалось от последователя Христова, как замечает известный исследователь прошлого века, лишь «предпочитать всяким родственным и кровным отношениям правду, возведенную учением Спасителя и подкрепленную примером его жизни и смерти». Здесь, кстати, можно заметить, что не только религия, но в еще большей степени любая идеология, пытающаяся провозгласить себя истиной истин, то есть верхом совершенства в устройстве или переустройстве мира и человеческих отношений (на поверку же, создавая лишь новый механизм для подавления и ограбления народа), — любая идеология, встающая или вставшая уже на пьедестал, не может не потребовать от человека самых непомерных и ужасающих для своего прославления жертв; и в этом отношении — разве большевизм, захвативший власть и провозгласивший религию опиумом для народа, то есть осудив самую изначальную суть ее, не взял те же извечные ее постулаты и не потребовал от граждан, обращенных в свою веру, не щадить ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни близких ради утверждения своих новейших будто бы идеалов (и что символизировалось в поступке Павлика Морозова)? Власть в любой одежде — всегда есть власть, и если что и удивляет и поражает в неизменной ее живучести, то не разнообразие, нет, а, напротив, однотипность ее приемов, преподносимых обществу, народам всякий раз лишь на новоизготов-

ленных (с оттенком фольклорности, а как же иначе) блюдах. Но дело, разумеется, не в этом отступлении, без которого, наверное, вполне можно было бы обойтись, а именно в толковании и восприятии приведенной Антонию сей великой во всех отношениях, как без преувеличения можно было бы сказать, истины, с которой человечество, получив ее словно бы в награду два тысячелетия назад, разбираясь и разбираясь, не находит и сегодня сил и мужества разобраться в ней.

Антоний был убежден в своей правоте и неумолим. Евангельское наставление Спасителя не вызывало у него никаких сомнений, потому что, во-первых, он беспредельно, как и большинство простых людей, верил в божественное устройство мира, в жизнь преходящую и жизнь вечную, к которой будто бы и должен готовить себя каждый, и, во-вторых, изречением этим оправдывались те физические и нравственные мучения, на какие монахи ли, отшельники ли неизменно и добровольно обрекают себя; более того, в юношеских поступках Феодосия, огорчавших и убивавших мать, в его побегах из дому и стремлении посвятить себя служению Господу увидел не драму, связанную с нравственным распадом семьи, но то величие духа, ту изначальную будто бы святость, которая и была затем столь красочно описана Нестором в патерике. Но для матери Феодосия все выглядело по-другому. Высшее, абстрактное, стоящее будто бы над человеком и человечеством, столкнулось в ней с личным, конкретным, соединенном в чувствах и правах матери, и она не то чтобы не хотела, но не могла понять ни обоснованности, ни законности того, что происходило с ее сыном и с ней. Ученые, в том числе и теологи, разбирая этот житейский, по существу, конфликт, напишут позднее, что тогда еще сильно было в народе языческое начало и что оттого-де самая суть святости была недоступна ему; народ будто бы не понимал, в чем заключено было для него спасение, и потому противился подобно матери Феодосия этому величайшему предначертанию. Впрочем, идея очищения и спасения через страдания, уже тогда столь упорно навязываемая народу, но не принесшая ему, однако, ни в чем облегчения, — идея эта сегодня вновь как некое безотказно будто бы действующее средство (имеется в виду: для социального и нравственного оздоровления общества) подается на потребительский стол жизни. Абстрактное и относимое к вечному опять противопоставляется личному и сиюминутному будто, чем определяется благополучие или неблагополучие каждого отдельного человека или человечества и что, на мой взгляд, более, чем что-либо иное, следовало бы отнести к вечному, и — не подвигаемся ли мы к новому величайшему обману? Может быть, может быть, хотя — волен ли, вернее, был ли хоть когда-либо человек волен в своих желаниях и поступках? Права провозглашенные и права действительные никогда не имели между собой знака равенства, и в какую-то минуту жизни все мы вдруг начинаем испытывать груз обстоятельств, сложившихся в обществе и вокруг нас; мы оказываемся словно перед горой, которую нельзя сдвинуть, и, может быть, в эти-то мгновенья как раз и подавляется в человеке то, что делало его человеком и обесмысливается для него все: и борьба, и сама жизнь, и приходит то угодное Богу, да, возможно, не только Богу, смирение, с каким он затем и покидает сей мир для вечного успокоения и блаженства.

Ошеломленная и не сразу понявшая, что к чему (что не люди, а нечто большее и неумолимое противостоит ей), она попросила Антония лишь повторить, что он сказал, и, не дослушав, почувствовала, что будто и земля, и все вокруг ускользало из-под ее ног, и если бы не расторопность Антония, кинувшегося поддержать ее, рухнула бы всей тяжестью своего полного тела на пол. Лицо ее, Антоний видел, давно уже наливалось бледностью, напористый голос словно бы стихал, и она лишь шевелила обескровившимися губами, пытаясь что-то еще произнести, что было для нее важным и могло бы растопить иноческую душу Антония (да и уменьшить давление обстоятельств, тяжестью общественных уложений навалившихся на нее), но — святое для нее отбиралось у нее именем святости же, и, впервые осознав наконец свое полное бессилие и ужаснувшись ему, уже не могла и не хотела сопротивляться. Антоний уложил ее на свою соломенную постель, хотел было сбегать за Феодосием или за кем-либо еще, но затем, опустившись перед образком Богородицы в ризе, принялся молиться, истово прося крепости и заступничества. Понизу, из-



под полога, трепыхавшегося от порывов холодного осеннего с реки ветра, тянуло промозглой сыростью, язычок пламени на свече вздрагивал, готовый вот-вот оторваться и отлететь, и та словно бы соединяющая его со свечой невидимая нить, которая удерживала его, — нить эта, как нечто символическое, приложенное к разыгравшемуся в пещере событию, казалось Антонию, натянута была не между свечой и пламенем, а между ним и Богом, между тем, о чем он просил, и волей Божьей, и от крепости этой нити зависел исход дела. «Удержит? Нет? Удержит?..» Ноги его застывали, он ежился и дрожал всем своим истощенным — под ветхую одежду и под власяницей — телом, но, привыкший изнурять себя, привыкший к подобным физическим лишениям, хотя и страсть как хотелось теплоты и уюта, лишь истовее просил Бога о помощи, не забывая упомянуть и Богородицу, образок которой стоял перед ним; он смотрел то на образок, то на свечу, то оборачивался на гостью, без признаков жизни будто бы покоившуюся на соломенном лежаке, и всегда полагавший, что смерть (при такой-то жизни!) есть лишь спасение, что совершается в таких случаях лишь угодное Богу действие, тем не менее не хотел, чтобы гостя умерла в его пещере. Что заставляло его опасаться, он не знал, но чувство какого-то будто страха с каждой минутой нарастало в нем, и когда душевное напряжение достигло предела, — не двинулся, нет, а кинулся к лежаку, подгоняемый страхом, что гостя уже мертва и что не так-то просто будет найти объяснение подобной кончине.

Но мать Феодосия вовсе не собиралась умирать. Она была лишь в обморочном состоянии и, когда, открыв глаза, увидела склоненное над собой бородатое и серое от худобы лицо Антония, со стоном произнесла, чтобы ей дозволили встретиться с сыном. Но не во власти Антония было разрешить или запретить эту встречу. Все упиралось в Феодосия, и как ни крепки были его воля и убеждения, но при виде страдающей матери, он чувствовал, нервы могли не выдержать, и боясь именно этой своей слабости (в подобных случаях лучше не искушать себя), — как встал с утра на колени перед иконой Христа, размещенной на полочке, в углу, и освещенной горевшими свечами, так и молился, не разгибаясь, не принимая ни воды, ни пищи, пока мать находилась у Антония. Нестор, взявшись (и гораздо позднее уже) за описание жизни Феодосия, усмотрел в этом величайший, во славу Господа, подвиг. Феодосий, по его мнению, подвергнув себя испытанию, выдержал его и обессмертил свое имя. Но только ли мысли о Боге и вечности занимали его, когда мать домогалась с ним встречи и когда по настоянию Антония и братии он вынужден был согласиться на нее, или все же было что-то иное, приземленное, что ли, что подвигало его к этой крепости, и не здесь ли впервые проявилось в нем желание власти — над матерью, над собой, а через это и над всем остальным окружающим людом? Ведь мысль о вечности и спасении тогда только действительна, когда (и хоть в чем-то!) дает удовлетворение земным, сиюминутным страстям.

### LXXIII

Так не бывает, что человечество переживает одно (ведет одно противоборство), а человек переживает другое (ведет другое противоборство); различие между бытием общественным и бытием личным, часто не столько даже очевидное, сколько воображенное нами, заключено лишь в масштабе совершающихся событий; между отдельными людьми происходят, в сущности, те же столкновения, какие происходят и в обществе, размежеванном на полюсное противостояние сил, и если с этой точки зрения взглянуть на конфликт между Феодосием и матерью, то придется признать, что он далеко выходит за рамки только семейных отношений; в общественной жизни того времени, как, впрочем, и теперь, и всегда, происходила борьба сил отживающих с силами нарождавшимися и требовавшими простора и власти, и коль скоро историческая кривая развития человеческих отношений, если бы кто-то без предвзятости попытался составить подобную диаграмму, поднимается не от зла к добру, а, напротив, от добра к злу, то и в представленной здесь семейной драме ясно просматривается та же неизменная тенденция. Мир языческий если не во всем объеме, то, во всяком случае, в главных его направлениях, как

утверждают летописец и затем историки и философы позднейших времен, сталкивался с миром христианским, то есть одно восприятие жизни сменилось другим, представленным самой крайней обостренностью, как это и бывает обычно на первых этапах, и в столкновении этом на стороне матери было лишь ее материнское чувство и материнское право — право человека, дарующего жизнь и требующего взамен лишь уважения и признания, тогда как на стороне сына, стороне Феодосия, — открывавшиеся человечеству врата вечного рая; семейный уют, тихое (и великое!) семейное счастье подменялись жестким каноном спасения через страдания и угнетение плоти, и сколь ни крепки были, еще раз повторю, воля и убежденность Феодосия, но сомнения все же нет-нет да и пробуждались в нем, как затем пробуждались и в сознании человечества, оборачиваясь после мрачных крестовых походов эпохой расцвета и возрождения, и хотя верх оставался в итоге не за этими сомнениями, не за разумным, реалистическим началом, но аскетизм, представавший во всей своей ужасающей (для россиян по крайней мере) грядущей перспективе, и подавлял, и надламывал, и набычивал перед матерью и по отношению к ней иноческую душу Феодосия.

Он согласился встретиться с матерью лишь через несколько дней, и во все это время, до самого того утра, когда она вошла к нему в пещеру, пребывал в том смятенном состоянии, когда ни угнетения плоти, ни молитвы, в которых, усердствуя, всегда прежде находил утешение, — ничто не могло отвлечь его от его тяжелейших над жизнью своей и над жизнью вообще раздумий, и от того противоборства сил человеческого естества и божественной заданности, какое, каждую минуту как будто разгораясь все с новой и новой страстью, терзало его нравственно истощенную, зашоренную в иноческом восприятии душу. Почти тотчас, как только начинал молиться, он словно бы отключался от нее; обращенные к Богу слова раскаяния звучали как бы сами по себе, отдельно от него, и не занимали его, а мысли о мирской жизни, о матери, возбуждавшие душу, звучали отдельно, то есть текли в нем своим неостановимым потоком, пенясь и рассеивая вокруг мириады брызг. Он высовывал босые, оголенные до колен ноги за полог, раздевался до пояса, снимая с себя все, даже власницу, чтобы этими физическими на холоде страданиями унять страдания нравственные, но, дрожа от стужи, сырости и от голода, к которому сколько ни старался приучить себя Феодосий, так и не смог, лишь глубже погружался в свои сомнения и думы. Он чувствовал себя на середине пути, когда, с одной стороны, впереди, словно забрезживший рассвет, проглядывали уже врата вечного рая, а с другой, позади, столь же ясно представало то прежнее, земное, домашнее, семейное, что было для него миром детства и лишь теплотой только и могло в воспоминаниях отозваться в нем; к вратам рая предстоял еще путь, предстояли лишения, которые, он понимал, сколько потребуется сил, чтобы пройти их, тогда как к прежнему, земному, семейному, был всего шаг; и шаг этот, этот соблазн, когда можно разом покончить со всеми и всякими мучениями, как раз и пытался истязанием плоти и молитвами преодолеть Феодосий.

Ни днем, ни ночью он не мог спать. Силы противоборства были настолько велики в нем (силы, естественно, духовные, нравственные), что после этих своих переживаний он уже ни разу не испытывал ни подобного раздвоения мыслей, ни, тем более, столь очевидной их равнозначности, когда и прошлое, и настоящее, и будущее — все представало одинаково правдивым, осмысленным, способным в равной же степени как возбуждать, так и привносить благочестие в человеческое бытие. Отвергавшийся им мир матери — мир этот, он видел теперь, имел и свой смысл, и свои преимущества, и поскольку не одно, не два, а десятки, сотни (до появления христианства) поколений людей жили (и выжили!) в этом мире, то, значит, некогда и он был благословлен Богом и принимался им. Феодосий приоткрывал полог, чтобы проветрить пещеру, с тем чувством, будто приоткрывал окно в тот самый мир, о котором думал, но мир этот в реальной своей действительности не выглядел ни привлекательным, ни радостным. Над всем обозримым пространством, по-зимнему уже оголенным, хотя и незапорошенным еще (по-зимнему же) снегом, ветер гнал низкие серые облака; все небо, до горизонта заволоченное ими!, предста-

вало как одно неуютное серое полотно, как нечто грядущее, готовое накрыть (или накрывавшее уже) человечество, и — кто может сказать, в какие минуты и какими знаками природа подает нам сигналы из будущего? Если бы даже Феодосий захотел, вряд ли смог бы осознать и объяснить свое предчувствие, какое охватывало его при виде этого мокнущего осеннего простора, самой этой грусти, словно бы символизировавшей (пусть не прямо, пусть косвенно) предстоящую поколениям безрадостную жизнь; в нем поднималась непонятная будто, будто беспричинная и не связанная ни с думами о судьбе человечества, ни с думами о судьбе россиян тревога (я уж не говорю о том, сколь различными оказались эти судьбы), но ему и в голову не приходило, что со всеми своими пристрастиями и выработкой воли он, по существу, является лишь частицей того огромного механизма безжалостности — и по отношению к матери, да и по отношению к себе самому, — какой неотвратимо, оползнем уже накатывался на Русь и готов был накрыть ее. Нет, он не осознавал этого; ему казалось, что он лишь выбирал между любовью к матери и любовью к Богу, то есть между соблазнами мира преходящего и вечного, и так как понятие вечности, соединенное с понятиями о спасении и благочестии, по воздействию своему несравнимо ни с чем, что бы ни предлагалось взамен, то и — можно было бы и не сомневаться в исходе иноческого противоборства.

## LXXIV

Всякое событие только потом становится историческим, когда, во-первых, открывается действительная, а не придуманная, не мнимая его значимость и, во-вторых, когда о нем начинают либо складывать легенды, либо писать. Ни мать Феодосия, ни сам Феодосий, ни тем более Антоний, проводивший гостью утром до пещеры ее сына, названной им, как и подобает в монастырях, кельей, вряд ли предполагали, что все в тот день (да и после) происходившее с ними и вокруг них, не только станет предметом изучения или исследования, но, зафиксированное в словах Нестора, будет столетиями, с одной стороны, служить примером святости и святостью же своей волновать людей, а с другой — удивлять той непомерной людской, именно, людской, а не Божьей, ибо творившееся творилось людьми, лишь возмнившими, что ими руководит некая Божья воля — жестокостью, которая, как ни стараются богословы и теологи перекрасить в добро, остается не только несовместимой с этим величайшим по первородству толкования понятием, но прямо и резко противостоит ему. Происходило же все на редкость буднично: Антоний, перемешивая жидкую под ногами грязь, шел впереди, выбирая дорогу, мать Феодосия, по-деревенски подхватив с боков юбку, да так, что видна была белая кружевная исподница, шагала следом, то и дело останавливаясь и озираясь и с ужасом обегая взглядом склон с прорытыми в нем и теперь занавешенными тряпьем пещерами. Вокруг было так убого, пустынно и голо, что, казалось, даже трава не хотела расти на этом словно бы забытом или проклятом, как можно было бы сказать еще, Богом месте. Но и чувства, и мысли матери были настолько сосредоточены на предстоящей встрече с сыном, что она не замечала ни сей убогости, ни пустоты; не принимавшая всем своим естеством (здравостью рассудка, конечно же, прежде всего) никакой иной жизни, кроме своей, какою жила, тем более не понимавшая и не принимавшая иноческого аскетизма, когда человек не просто лишается неких земных благ, но лишается самого удовольствия и счастья бытия, она переносила это свое восприятие на сына, и вновь прежняя и застарелая уже мысль, что сын ее околдован злыми людьми, что над ним, в сущности, совершено насилие, от которого надо извратить его, — мысль эта яснее, чем когда-либо прежде, поднявшись в ней, захватила ее. Она не то чтобы надеялась, но была убеждена, что наконец-то вырвет сына из сих порочных цепких рук, но перед самым входом в пещеру (келью, так и хочется облагородить), когда Антоний подвел ее к пологу, ее вдруг охватило сомнение, и она, словно бы за благословением, несколько раз, оглянувшись, просительно посмотрела на молчаливо стоявшего перед ней чернеца.

Антоний приподнял полог, пропустил спутницу и вернулся к себе, чтобы помолиться за благополучный (в его понимании, разумеется) исход встречи; он верил в твердость Феодосия и полагал, что если и случится что-либо непредвиденное, то на все есть воля Божья; с этими привычными словами, прежде трехкратно перекрестившись, он и обратился к Пресвятой Богородице, мрачно из обрамлявшей ее лик ризы смотревшей на него. Между тем в пещере, в которую вошла мать Феодосия, с первых же как будто мгновений началось то страшное молчаливое душевное противоборство, то противостояние матери и сына как противостояние двух взаимоисключающих друг друга миров, — в котором (по исходу столкновения сих нравственных сил) на столетия вперед должен был определиться характер и уклад всей нашей народной жизни. Кому-то покажется, что вывод этот неправомерен, что подобные преувеличения никогда не вели и не приведут к истине и что — не в воздержаниях ли как раз и заключена сама суть нравственности? Может быть, может быть, если отбросить прочь все исторические свидетельства и если закрыть глаза на странное будто бы наше неумение (из века в век!) навести порядок в своем собственном национальном доме. Для нас почему-то всегда важнее не реальное, а внушенное благо, и если мы на чем-то настаиваем, то есть решаемся проявить характер, то иллюзии жизни оказываются для нас выше самой жизни и мы упорствуем уже лишь ради упорства, готовые и на самопожертвование, и на жестокость. На жестокость, пожалуй, прежде всего, как подсказывают все те же факты истории. Измученный бессонницей, то есть измученный и нравственно, и физически теми сомнениями, какие, как червь, все эти дни и ночи подтачивали его, — как только услышал чавкающие шаги за пологом, вернее, понял, что мать здесь, что Антоний привел ее, торопливо и уже как будто не думая ни о чем опустился на колени перед изображением распятия спиной к входу и молча, молитвенно, ни о чем уже не прося, так как все, что нужно было высказать Богу и о чем попросить, было с лихвой высказано и испрошено, принялся смотреть на сие страшное даже в изображении действие — распятие, — стараясь и в красках, и в душевных мучениях оживить его. Под распятием горела свеча, освещающая и напряженный лик Христа, и страдальческие будто бы судороги его тела, и столь же страдальчески вытянутое лицо Феодосия. Понимал ли Феодосий всю сценическую картинность своего положения, когда входящий видел лишь его словно бы зачерненную сгорбленную фигуру перед освещенным распятием, — не знаю, вряд ли; но именно таким, зачерненным, сгорбленным, ничем даже отдаленно не напоминавшим ей сына и увидела его мать, войдя к нему. Остановившись, она смотрела на него в недоумении и ужасе; даже несколько раз оглянувшись, словно Антоний был рядом, чтобы спросить, туда ли привел, не ошибся ли; но спросить было не у кого, кроме как у самого этого чернеца, стоявшего на коленях перед распятием, и она, не дыша почти, ожидала, когда, пообщавшись с Богом, он либо встанет, либо просто обернется к ней.

Она не помнила, сколько ей пришлось простоять в ожидании; время, казалось, тянулось для нее бесконечно; и чем дольше оно тянулось, тем ошутимее какая-то странная и страшная будто неизвестность вползала в нее. Любая мать даже в темноте всегда способна безошибочно угадать, ее ли, чужого ли ребенка подвели ей, но это-то чувство как раз и говорило ей теперь, что перед ней был не ее сын; не ее ни по облику, хотя все еще видела лишь зачерненную, только сильнее будто сгорбленную его спину, ни по духу, по тому нравственному началу (кто, кто, а она-то уж более чем знала!), какое, давая ему жизнь, вложила в него. Вместо сострадания и жалости на лице ее вспыхивали отчужденность и холодность; и то (жестокое, я бы назвал) равнодушие, с каким и всегда, как и теперь, многие готовы смотреть на обнищавших, падших духом сограждан. «Нет же, нет, это не он», — говорила она себе, вместе с тем как пообвыкшим к темноте взглядом невольно (и въедливо!) осматривала еще более, казалось, сырое и неуютное, чем у Антония, иноческое, или отшельническое, может быть, вернее, жилище сына. Тот же лежак из соломы и листьев, те же сочащиеся влагой стены, такой же из неоструганных досок столик, приткнутый к стене, и чурбак вместо табуретки возле него, и деревянные миска и ложка, накрытые темной ветхой скатеркой;

ни по монастырскому уставу, ни по обету, дающемуся при пострижении, ни по самой той убежденности, какую как залог спасения в будущей вечной жизни только и положено было иметь иноку, Феодосий не допускал излишеств; и эта-то самообездоленность, столь угодная как будто бы Богу, но вызывающая лишь недоумение и протест у всякого, кто привык нормально питаться и жить (и что, видимо, если проникнуться иноческим идеалом, не только неуютно Богу, но и решительно осуждается им), — эта-то самообездоленность и поражала, и пугала стоявшую в отшельнической пещере мать. Она снова и снова переводила взгляд на сына, с железным упорством не желавшего вернуться к ней, и теперь, когда вместо зачерненного сгорбленного пятна различала и овал головы, и форму плеч, и одежду, — только что, минуту назад, владевшее ею «нет, это не мой сын» вновь сменилось сомнением, и она готова была, рванувшись, заглянуть в лицо и глаза сына.

Но условность, не позволяющая нам и теперь тревожить молящегося человека — прерывать его общение с Богом, — удерживала ее, она выжидала, борясь со своим желанием и уступая исходно, изначально уже, упорству сына. По этому-то хорошо знакомому ей упорству она и узнавала его. Вот так же, в очередной раз пойманный, избитый и посаженный ею в чулан, он часами, когда она входила к нему, чтобы поговорить, сидел молча, не поворачиваясь к ней и даже вроде бы наслаждаясь, что хоть так, хоть этим может досадить ей; уже тогда она улавливала в нем эту страшную жестокость, которая, разившись теперь и затмив разум, не просто руководила всем его иноческим существом, но, как пища, как хлеб, соль, вода, воздух, являлась необходимостью, без которой все обесмыслилось бы и истаяло: и плоть, и дух; да, она чувствовала эту именно жестокость, глядя на сына и все более узнавая его, и тот извечный вопрос, какой так ли, иначе ли каждый хоть раз в жизни, но задает себе и в котором, может быть, более, чем в каком-либо ином, заключена трагическая бессмысленность бытия, мучительно возникал в ней и обескураживал ее.

*(Продолжение следует.)*





И привычный ветер  
 Дальних странствий  
 Приласкает волосы твои

...Нам с тобой бы  
 Поездом вернуться  
 С мерным стуком крутятся колеса  
 Медленны  
 Пейзажи за окошком  
 Шорох деревенской тишины

Горечь  
 Безнадежных расставаний  
 Грозный голос  
 Рупоров вокзальных  
 Суматоха сборов бесконечных  
 Поцелуи наспех —  
 Скоро в путь

Нам с тобой бы ехать —  
 Тихо-тихо  
 Слушать стук колес на стыках рельсов  
 Слушать стук колес на стыках рельсов  
 Долгожданный отдых —  
 Долгий путь

1982  
 Красный Яр

\* \* \*

Вы здесь свои  
 А я  
 Чужая  
 И никогда своей не буду  
 Какой страной ни окружили б  
 Меня  
 К какому бы народу  
 Ни причисляли  
 Результат  
 Все тот же  
 И толпа своих  
 Кружится светлыми тенями  
 И протекает сквозь меня

1982—1989

\* \* \*

Водку и хлеб  
 по-братски на всех разделим  
 свечи зажжем  
 огонь разведем в камине  
 сядем к столу  
 и встанут теплые тени  
 темными крыльями прирастут к нашим спинам

Выпьем крепко  
 чтоб память освободилась  
 дым березовых дров  
 пахнет солнечным зноем  
 ветер в трубе зашумит  
 смешиваясь с треском камина

и напомним море  
и рокот прибоя

Не торопи  
неожиданный ласковый вечер  
пусть скрипнет дверь'  
и тихо войдут музыканты  
пусть нам сып्राют'  
и пусть'  
последний бокал — за встречу  
а последняя песня  
о тех  
кто там навеки  
остался

1990

### Король

Я один в этом мире  
И голос мой слаб  
Словно луч  
Одинокой звезды  
В заволоченном небе  
осеннем  
Ночь черна без свечи  
Черен очерк  
стремительных туч  
Пролетающих мимо  
И ветер растрепан  
и нервен  
Черной ночью наполнен  
На черной горе мой дворец  
Стынет  
Бурей встревожены  
Плещутся по ветру флаги  
Как томительно тянется  
время  
Как тяжек венец  
Золотой  
За стенами  
В глубоком овраге  
Все слышнее и ближе

Отточены их топоры  
На рассвете  
Им сонные слуги откроют  
ворота  
Разбегутся вассалы  
Чтоб выйти из смертной  
игры  
Дружба льстивая их —  
Словно  
На медяках позолота  
Попаду безымянным  
В больничную жалкую  
вонь  
И  
Безумьем увенчан  
Окончу свой век в заточенье  
Белоснежный дворец мой  
в горах  
Обовьет повиликой  
забвенья  
И заплачут по мне  
Шут мой  
Пес мой  
Мой конь

1989



## Д о л г и й в е к

Старуха жила в ветхом деревянном доме, в Сокольниках. Когда улицу стали ломать, ей было под девяносто и она очень боялась переезда в новый район, чего с таким нетерпением ждали другие жильцы дома, молодые в особенности.

Старуха была высокая, голубоглазая. Ее спина слегка круглилась, но легкие серебряные волосы всегда были аккуратно причесаны, а шею украшала нитка жемчуга. В пушистых, цвета бирюзы домашних туфлях было что-то диснеевское, не идущее ко всей обстановке.

Она жила в первом этаже, занимая две маленькие комнаты в общей квартире и террасу, куда летом прямо из комнат открывалась застекленная дверь. В палисаднике росли кусты сирени и шиповника. Сирень не успевала отцвести, — по ночам ее обламывали. Зато розовый шиповник цвел долго, почти до июля.

У крыльца была клумба с бархатцами, — старуха звала их чернобривцы. Они напоминали ей Украину, где она родилась и прожила большую часть своей долгой жизни.

Старуха жила одна. В хозяйстве ей помогала пожилая женщина, она приходила два раза в неделю, делала покупки, постирушку.

Готовила себе старуха сама: варила кашу, кофе, а порой, когда хватало денег, и курицу.

— Я не вегетарианка, я курянка, — говорила она, посмеиваясь.

Теперь уже не спросить, как мама узнала, что Надежда Александровна — старуха — жива и что она в переписке с Дадой. А Дада — в Америке...

Дада... Так ее звали в детстве и на заре их с мамой общей юности, когда в начале двадцатых годов в Харькове возник студенческий театральный кружок — «Зодиак». Смешные сценки на злобу дня и одноактные пьесы собственного сочинения имели бурный успех у зрителей. У каждого артиста был свой знак: у мамы — Водолей, у ее старшего брата Якова — Козерог. Знаком Дады была Дева.

Она и впрямь была дева. Гренадерского роста, с ясным, открытым лицом, с пепельно-русскими волосами. Мягкие славянские черты придавали ей женственность, сглаживая первое впечатление некоторой громоздкости.

Отец Дады, профессор Тимофеев, был известным ученым, химиком, последователем академика Бекетова. Он родился в Полтаве. Дружил с Линтваревыми, приезжал к ним в гости. У них однажды познакомился с Чеховым.

Брат писателя, Михаил Чехов, вспоминает:

«Одновременно со Свободиныным гостил на Луке у Линтваревых их знакомый — молодой профессор из Харьковского университета В. Ф. Тимофеев. Он только что вернулся из командировки за границу и отлично представлял тамошних профессоров-немцев. Это был веселый, жизнерадостный молодой человек, с которым Антон Павлович, к ужасу Линтваревых, любил выпить по-студенчески. Линтваревы же боялись в своем доме водки как огня. Я уверен, что если бы

В. Ф. Тимофеев приезжал на Луку чаще и гостил в ней подольше, то он и Антон Павлович сделались бы большими друзьями.

Однажды мы пошли на Псёл купаться. (...) Когда Тимофеев разулся, то мы, к удивлению своему, увидели, что одна пятка у него темно-желтого цвета. Намазал ли он её йодом или таким появился на свет, я не знаю.

Но, заметив это, Антон Павлович серьезно спросил профессора:

— Владимир Федорович, когда вы курите, то вы далеко держите пятку от папиросы?

Мы все так и покатались со смеху».

Тимофеевы жили в собственном особняке, они владели им и после революции. «Зодиак» служил он местом читок и репетиций, студенческих вечеринок, богатых более фантазией и юмором, чем закуской. Иногда здесь же устраивали и самое представление — для своих. И тогда, вспоминает Дада в одном из своих писем уже оттуда, из-за океана, «мама садилась спиной к сцене, лицом к зрителям, чтобы наслаждаться их реакцией».

Родителям Дады был присвоен «Зодиаком» общий знак — Рыбы. Часто они уходили по вечерам, предоставив компании резвиться на свободе.

Это называлось: «Рыбы уплыли!»

Сохранился любительский снимок. На нем гостиная в доме Тимофеевых. Обои с узором в виде медальонов. По стенам статуэтки в римском стиле. Фигурные бронзовые часы. Угол тахты, обитой атласом. И в этом интерьере — весь «Зодиак», снятый, видимо, после спектакля, вечером, со вспышкой.

Тут и моя мама, золотоволосая Зоя и мой дядя Яков, будущий крупный ученый, а в ту пору студент-химик, «король чарльстона», и художник Всеволод Аверин, и Ксения Матвеева, по кличке Гуна, — автор зодиаковских водевилей. И конечно, Дада. Она застенчиво прячет свой рост за чьей-то спиной...

Уже в глубокой старости, ночами, когда ей не спалось, мама припоминала обрывки куплетов из репертуара «Зодиака».

Дал червонец в зубы загсу  
И опять я холостой...

Водевиль «Интернационал любви». О том, как любят французы, китайцы, немцы...

Пусть Франц толстяк ужасный.  
Но — магазин колбасный!..  
Колелбюсь я...

Чтобы эти немудреные словечки веселили душу, добавьте к ним солнце юности, час надежд и ожиданий, влюбленности в жизнь «и, конечно, немножко друг в друга».

«У Зои и Яши была совершенно замечательная мать. Я ей очень нравилась, и она очень хотела, чтобы я вышла замуж за Яшу. Но ей хотелось этого больше, чем Яше», — напишет Дада годы спустя уже из Америки.

Я не знаю, кто был ее мужем и как они расстались. На мой вопрос Надежда Александровна сказала только, что Да д о ч к и н муж был мурло.

Она произнесла это как-то мурлыкающе, и на лице ее появилось выражение брезгливости. И я не стала о нем расспрашивать. Не захотелось.

Надежда Александровна Конисская, старуха, а некогда девушка Надя с русой косой, окончила киевскую гимназию в 1897 году, получив звание домашней учительницы.

Род Кониских издревле славен на Украине. Пушкин упоминает архиепископа Георгия Конисского как одну из самых интересных фигур восемнадцатого века: «Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории».

Отец Надежды, Александр Конисский, адвокат и литератор, переводил Шевченко на русский язык, Пушкина — на украинский. Младшая дочь (детей в семье было семеро, пять дочерей и два сына) унаследовала от своего отца интерес к лингвистике.

Учительствовать она начала рано. Вместе с закадычной подругой Верой Евгеньевной Тимофеевой, матерью Дады, образовала в Харькове домашнюю начальную школу. Их учениками были дети с ослабленным здоровьем, а также неординарные. Часто именно из них получаются в будущем видные ученые, артисты, художники. Но, чтобы взрастить их, нужен особый, благодатный климат. Дети обретали его в этой домашней школе.

В годы войны сюда приводили своих детей те, кто не желал при оккупантах посылать их в общую школу. Так попал в ученики Тимофеевой наш друг, доктор наук, математик. Он показал мне свидетельство, выданное ему Верой Евгеньевной при переходе в четвертый класс. Там среди прочего сказано: «Имеет «отлично» по всем предметам, а по арифметике «сверхотлично».

Вот такой сверхотметкой уже тогда, в сорок третьем году, означалось его призвание.

Он приходил к Тимофеевым каждый день. Дома учил уроки. Вера Евгеньевна читала ученикам сказки, — он после таких нигде не встречал. Читала и «Три толстяка» Юрия Олеши...

Среди чтения она иногда умолкала: ее мучила одышка. Небольшого роста, болезненная, она шаркала по полу отеками ногами. Но уроков не бросала. Ученики платили продуктами: три стакана чечевицы, муки или пшена...

А война все шла и шла...

Тимофеевы не успели уехать. Перед войной Дада работала машинисткой в горсовете. До последнего часа занималась эвакуацией населения. А самой бежать не удалось. Будь она одна!.. Но слишком тяжел был багаж: сын двенадцати лет и три старые женщины — мать, тетка и Надежда Александровна...

Перемогались кое-как. Поденщиной.

Харьков наши брали дважды. Первый раз не надолго. Но и тогда уже она испытала на себе косые взгляды. Услышала слово оставанцы. И — испугалась. Не за себя, за сына. Вова был крупный мальчик, казался старше своих лет...

Какая ждет его судьба? Ведь он оставанец...

Соседи, жители коммуналок, вожделенно поглядывали на особняк Тимофеевых. Возможно, уже строчили какой-нибудь донос. Тридцать седьмой год был у всех на памяти...

Вова плакал. Не хотел уезжать. Но она решилась. Впряглась в лямку, за ней двинулся весь обоз... Было нестерпимо больно. И сердце Веры Евгеньевны не выдержало. Она умерла в дороге, не доезжая Винницы. Там ее похоронили. Оплакали. Там же Надежда Александровна Конисская навеки простилась и с Дадой, — со смертью любимой подруги ее отъезд на чужбину утратил смысл...

Она вернулась в Харьков. Когда окончилась война, перебралась в Москву: здесь жили ее родственники...

Выступала с лекциями. Преподавала в Институте усовершенствования врачей. Обучала китайских студентов русскому языку. Уехав, они слали ей письма. (В ее записной книжке среди адресов хранится и такой: Ли Хэ-минт, Пекин, Храм Неба...)

Пенсия в двадцать семь рублей была ей определена еще до войны.

## 1. Да́да

— Что за имя — Дада? — спросила я у мамы.

Она не знала. Никогда не называла Даду ее настоящим именем — Лидия... Лидия Владимировна Тимофеева...

Не знала этого и Надежда Александровна, на глазах у которой Дада выросла.

И пошел запрос в Америку. Оказалось, домашним именем Дада обязана своему брату Володе. Мальчиком лет шести он то и дело подбегал к двери, за которой хлопотала акушерка, и спрашивал, кто родился.

И наконец на вопрос: «Девочка?» — услышал поспешное: «Да, да!» Растерянный, он вбежал к взрослым и объявил:

— Родилась какая-то Дада!..

После войны, почти двадцать лет спустя, Дада отыскала Надежду Александровну. Это было чудо. Старухе казалось, что она обрела дочь. Даде — что она обрела родину.

И началась переписка. Дада писала часто. Отпечатанные на машинке, каждый лист с обеих сторон, ее письма пестрели подробностями. И если описывалась дружеская вечеринка — партии, шел перечень всех закусок и блюд и даже указывалось количество пирожков, испеченных Дадой с помощью ее невестки Эммочки, — «двести тридцать пять пирожков».

Приходили и посылки. Мелочи старуха раздаривала. Кое-что оставляла себе: мягкие домашние туфли, теплый халат. Остальное продавала. Дада знала об этом и посылала ей на продажу ходовое — яркие махровые полотенца, шерстяные японские плаги с сочными розами по черному полю, пластиковые скатерки, плащи «болонья» (они шли дешево, потому что уже вышли из моды).

Вырученные в комиссионном магазине деньги старуха тратила на питание: можно было лишний раз полакомиться курицей, купить фрукты. Лекарства. И, конечно, подарки Да дочке — детские книжки для ее внуков (их было у Дады трое), пластинки с записями русской классики...

Дада писала: «Зачем вы тратитесь? Здесь все можно достать!». Но она все равно посылала, не желая остаться в долгу.

Это была очень гордая старуха.

Американской статуе Свободы она противопоставила свою свободу.

Внутреннюю...

Время от времени она извещала нас, что от Дады пришло письмо. Купив по дороге пирожных или яблок, мы с мамой ехали в Сокольники. Выйдя из метро, вскоре попадали на дряхлую пыльную улицу, усаженную тополями. Многие дома на ней — теперь их часто уже называли строения — еще помнили дачников, выезжавших сюда, в пригород, на лето. Это давно уже стало городом. И на каждом доме словно стояла метка, которой лесник метит обреченное дерево.

Иногда мама заготовливала письмецо, чтобы старуха переслала его Даде.

Переписка с иностранцами не поощрялась. С Америкой тем более. Людей, состоявших в подобной переписке, брали на заметку.

Мама не боялась за себя. Но не хотела неприятностей для нас и предпочла переписку через Сокольники. И не она одна. Многие с помощью старухи получали весточки от живущих за границей друзей. Узнавали о близких.

Дада знала, что не только Н. А. (будем иногда для краткости пользоваться инициалами) читает ее письма. И не только Зоя (так, по-юному, она звала маму). Но и я (дочь Зои). И другие. Те, кто ее еще помнит. Кому интересна ее жизнь.

И она писала для всех.

К счастью, она любила писать. Писание всяческого рода бумаг входило в ее обязанность, она работала в секретариате Толстовского фонда, у бабы Саши. Так называли сотрудники Александру Львовну Толстую.

Терраса отбирала часть света, и в маленьких комнатках было полутемно. Их дощатые стены были такого свойства, что даже кнопка в них легко входила. Это было очень кстати: так густо, по старинной моде, они были увешаны фотографиями. Тут же тулились поздравительные открытки к праздникам, красивые, с пейзажем или репродукцией известной картины.

Со старого комода смотрели кумиры — Лев Толстой, Шалапин и непринужденно составивший им компанию Александр Солженицын.

На столе, покрытом вышитой скатертью, стояли в вазочке искусно сделанные матерчатые цветы. — Дада прислала к Пасхе. А в блюде крашенные луко-

вой шелухой и молодым березовым листом яички. — их принесла племянница  
Мама садилась в кресло и погружалась в чтение.

«Дорогая!

Только что вернулась от своих и вот пишу Вам Сначала ответчу на Ваши вопросы.

Я работаю в центре Нью-Йорка. Перед окнами перекрещиваются Бродвей и другая авеню. Все кино, театры в пяти минутах от меня Но я не люблю Бродвей. Прочтите В. Некрасова в «Новом мире» № 12. Мы вчера кончили. Читали с интересом. Прочтите — и будете себе представлять улицы, по которым я хожу в перерыв, магазины, где делаю покупки ..

Сама я живу в Глен Кове, на работу езжу поездом. Вокзал в двух остановках метро от моей работы. Всегда прихожу первая. Открываю дверь своим ключом Ставлю электрический чайник и пью кофе. Утром дома я не ем. Беру с собой котлеты, сосиски или отварное яйцо, укладываю все в эмалированную коробку с крышкой и ставлю в незаметном пакетике на отопление. (Сиюю я в комнате одна. Цветок на полочке, словари там же, два ярких календаря с картинками. Кресло, ко мне любят забегать во время завтрака сотрудницы.) Так вот, к часу дня мой завтрак горячий, как бы из печки. Это в три-четыре раза дешевле, чем еда в ресторане. И берет две минуты, а не полчаса. Зато когда не надо делать покупки, работаю без перерыва...

Об одиночестве. Конечно, я и мои здешние приятельницы в Н.-И. страшно разобщены, встречаемся один-два раза в месяц. Это не друзья молодости, со всем ее великодушием, великолепием, жадным впитыванием всего и всех.

Есть Наташа и Павлуша, ценители живописи и музыки, у которых я часто ночую. Есть Катюша. Есть Анечка — она моложе меня на двадцать лет. Очень добрый человек. Но это не та дружба. Вот я вспоминаю Марусю крымскую<sup>1</sup>, ведь я неделями могла мечтать о встрече с ней... Переслали Вы ей мое письмо?..

У нас новость. Вова идет работать в другой колледж, три часа машиной от Н.-И. на юг. Зовет меня переехать к ним, объединиться. Но не хочу бросить работу. Лучше буду ездить туда каждый месяц на две недели.

Завтра день смерти Мамочки. Как это было давно. Сколько событий легло между нею и нами. Вова, тогда еще ребенок, теперь профессор, отец троих детей. Новая жизнь, новая обстановка, в которой многое чуждо...

Сейчас Вова читает Ирочке «Дети подземелья» Короленко. Но это для нее абсолютная абстракция, — нищих она в своей жизни не видела. Работница, которая милостно согласилась помочь Эммочке в генеральной уборке, имеет два дома: один в городе, другой на берегу моря. — и приезжает на своем автомобиле.

Ясно, что она нуждается, идя на уборку в чужую квартиру, но это не та нужда, которую знаем мы с Вами...

Здесь рассказывают анекдот о школьнице, которой было задано сочинение. Она написала: «Жила одна семья, очень-очень бедная. И шофер у них был бедный. и кухарка бедная, и няня бедная, и садовник бедный...»...

Когда Надежда Александровна болела — а случалось это часто, особенно донимало ее хроническое воспаление легких, — письма накапливались, и она при встрече вручала нам пачку со словами: «Дома прочтете».

Она ревновала мою маму к письмам Дады. Как все старые люди, она нуждалась в живом общении. Ее интересовала жизнь нашей семьи, она расспрашивала меня о дочке — в то время школьнице, а после уже студентке. Что читает, любит ли музыку. Расспрашивала пристрастно. Советовала. Учителство было у ней в крови. Даду, которой за шестьдесят, она с высоты своих девяноста продолжала воспитывать. Как-то пожаловалась:

— Получаю письмо от Дадочки и ничего не могу понять!.. Какие-то незнакомые имена, события, в чем дело? Неужто у меня такой оклероз? Спросила Даду. Она успокоила. Оказывается, ей было очень некогда, и она написала одно

<sup>1</sup> Мария Степановна Волюшина

большое письмо и послала сразу нескольким лицам в разные адреса, изменила лишь в каждом обращении. Это уж чисто американское!.. Я очень была на нее сердита, отчитала как следует. Не хочу получать общих писем. Пусть пишет коротко, но мне!..

Голубые холодноватые глаза. Рассыпчатый смех. Тот тип учителей, что внушает одновременно любовь и робость. Палка в руке. Скипетр. И он же посох...

У нее был друг. Музыкант. Они познакомились, когда ей было семьдесят, ему пятьдесят. Разговорились, сидя на скамье в летнем парке. И началась эта дружба-привязанность, обмен книгами и пластинками. Мыслями и впечатлениями.

Ревность жены Музыканта, женщины простой — простоватой, — не понимавшей и не принимавшей этой странной дружбы, в которой ей не было места, придавала их отношениям романтическую окраску. Боясь скандала, он иногда проникал сюда тайком. Слушанье музыки в этом случае превращалось в некое таинство. Почти грех.

Надежда Александровна возмущалась, когда измученный домашними сценами Музыкант отменял намеченную встречу.

— Трусишка! Заяц! — жаловалась она на него, в свою очередь ревнуя к т е м н о й б а б е, — так она называла жену Музыканта.

Она жаловалась на него и Даде, и та мягко увещевала ее из-за океана.

А он вновь приходил. И они вновь слушали Шаляпина, и она знала, в каком месте он будет плакать...

Н. А. когда-то бывала на концертах великого певца. Близко дружили с ним сестры Веры Евгеньевны, матери Дады. Близился его юбилей, и старуха расспрашивала о Шаляпине в письмах к Даде.

«Дорогая!

Вы спрашиваете о Шаляпине. У нас не сохранилась тетина переписка с ним.

Моя тетя, Мария Евгеньевна Бураго, как вы, наверное, помните, никогда не была замужем. Человек она была необычайно яркий и обаятельный. Имела близкую дружбу с Екатериной Николаевной Немирович-Данченко. Настолько близкую, что, когда Екатерина Николаевна умирала, Владимир Иванович вызвал тетью из Харькова в Москву. И при ее смерти их было трое — Вл. Ив., пасынок (или приемный?) Миша и тетя. Ее большим другом был и Шаляпин. Я помню, в детстве пришла к тете и бабушка — они вместе жили. Вдруг звонок телефонный из Петербурга: «Марусенька, я пою в среду, в четверг в такой-то опере... Приезжайте!» «Выезжаю!..»

Чемодан сложен в пять минут, и тетя едет в Петербург.

Она приехала сюда с нами, здесь и умерла. Я, конечно, пересмотрю ее чемоданчик, но вряд ли найду что-нибудь. Тетя встречалась здесь с женой его, Марией Валентиновной, до ее отъезда во Францию, и если что-нибудь было, вероятно, дала бы ей.

Я видела Шаляпина близко два-три раза. Кажется, году в шестнадцатом, Шаляпин приезжал в Харьков и давал концерт, на котором мы были все. А другая моя тетя, Варя, давала обед в его честь. С ним была и его собака Булька.

Помню, как он на нее почему-то рассердился и прогнал ее. И Булька пошла покорно и стала за дверь столовой, где все сидели за длинным столом. Потом, по прошествии получаса, он вдруг крикнул: «Простил!». И Булька, как сумасшедшая, ринулась в комнату к хозяину.

Помню его концерт. Как он сказал тете: «Буду петь про любовь, кивну вам. (Это относилось и к тете Марусе, и к тете Варе...)» И действительно, когда он запел «Молодушку», то бросил выразительный кивок и жест в сторону ложи, где они сидели.

Перед глазами одна из его фотографий, что были у тети: он стоит и кончает свой скульптурный портрет. Только голову, замечательно выразительную.

Его фотографии, с бесконечными ей посвящениями, украшали тетину комнату.

И вот все ушло. И он, и тетя, и фотографии, и комната...

И память бледнеет».

Надежда Александровна пересылает посылки и письма от Дады в Коктебель, где доживает жизнь слепнущая Мария Степановна Волошина. Ответные письма с веточкой засушенной полыни тоже идут через Сокольники. Так надежней. Для Дады Коктебель — воплощение земного рая. «Обитель дальная трудов и чистых нег»...

«Спасибо за письмо из Коктебеля. Вы пишете, что некоторые упрекают М. С. в тяжелом характере, в скупости. О характере не спорю. Она всегда была взбалмошна, впадала в нервозность, грозила «сжечь дом», что воспето даже в шуточных стихах. Но кто из нас с легким характером?.. А судьбы кто?.. Все в жизни воспринималось ею через Макса. Ты благоговеешь перед ним, ты восторгаешься его рисунком, стихом, его морем, — ты хорош. Она его всегда охраняла, оберегала от всего и при этом часто наступала на больную мозоль кому-нибудь. А теперь одинокий слепой человек, утративший все.

Какой тут характер может быть?..

О ее скупости. Я видела нужду в их доме. И какую!.. Зависимость от чужого (чаще гшего с любовью, но все же чужо.о) поднесенного ко рту куска.

Они оба — она и Макс — так себя полностью расточали людям, что о какой скупости может идти речь...

О том, имея новую рубашку, донашивать старую?..

Может быть, это моя самозащита. Сколько лет подряд у меня не бывало галаш. Были периоды, когда у нас с мамой была одна пара обуви. А голод на Украине!.. Ведь я себе яйца не позволяла в такие годы. Если оно было в доме, оно шло ребенку, матери, мужу.

И вот теперь у меня все есть. А я сплю на сшитых простынях. Туфли рвутся — подошью кантик. Я и чулки штопаю. Здесь никто их не штопает. Выкидывают. А я не могу. Скупость? Да, скупость тратить на себя. А вот сейчас заказала десять билетов на МХАТ — самых дорогих — и послала в подарок друзьям. Это пятнадцать пар туфель!.. Но какой-то протест против разбазариванья, расшвыриванья.

Никогда не выброшу корки хлеба. Размочу, поджарю на сковородке... И мы все, кто прошел через голод войны, все мы такие.

Что же винить ее?

А билеты я заказала на «Три сестры», «Вишневый сад», «Мертвые души». Понимаю, что буду плакать от поднятия занавеса до закрытия его...»

«Теперь у меня все есть», — говорит она. Но никогда уже не будет у нее своего дома. Комната в пригороде Нью-Йорка, которую она много лет снимает, чередуется с комнатой в доме сына. Суматоха Бродвея — с тишиной университетского городка. Автобусом одиннадцать часов. (Чтение, бутерброды, кофе в термосе.) Ночлег у приятельницы. (Зубная щетка, ночная рубашка.) Дальние концы, вечная спешка. Этот ритм с годами дается ей все труднее. Но Вова преуспевает. В нем — смысл ее жизни. Ее оправдание.

Он читает лекции по экономике. Его приглашают в Европу с циклом докладов. Он советолог. Слово на родине почти бранное. Она даже боится послать старухе его фотографию. Советолог! Там это все равно, что шпион, — знает о России больше, чем иной русский экономист. Изучает статистику. Она неутешительна. В своих докладах говорит о том, о чем вслух скажет когда-нибудь Гласность. И тогда с делегацией американских ученых-советологов он приедет в Ленинград на совещание по экономике.

Его старшей сейчас столько, сколько было ему тогда, в сорок третьем.

По ночам, когда все в доме спят, Дада видит свет в его комнате: он составляет упражнения по русской грамматике для Ирочки.

«Не могу прийти, бо чилдренята засикувалы», — говорят украинцы в Канаде. Больше всего он боится, что и его дети утратят родной язык.

И Дада крестит его украинкой.

Надежду Александровну удивляет, что Дада ударилась в религию. Семья Тимофеевых не была религиозной!..

«Мне трудно ответить, как я стала верующей. Возможно, сыграла свою роль встреча с человеком истинной веры. Многого я не достигла. Хотелось бы глубины. Чтобы, когда нет защиты, какой были когда-то отец и мама, — иметь Высшую Защиту. Ведь ребенок бежит к матери, если ушиб палец. А к кому бежать мне?.. Люблю церкви маленькие, темные, суботные — со свечечками, с тишиной, с небольшим хором. Не люблю пышных служб с епископами, с сонмом духовенства. Это не для меня. А вот: панихида, память, моление о прощении, когда сам себя проверяешь и хочешь все о себе узнать — это радость.

Стараюсь идти по пути радости. Увы, слишком рационально смотрю на все. Но когда перебегаю детей на ночь, мне становится за них спокойно».

«Вы спрашиваете о детях. Трудно сказать. Очень вижу их недостатки. А в общем, дети как дети. Младший, Алеша, своеволен, но так очарователен, что все перед ним тают. Сегодня Эмма искала его и уже волновалась, а он ушел к соседям (это напротив, через частную проезжую дорогу) и смотрел телевизор.

Старшая, Ирочка, обидчивая, — «не тронь меня». На глазах часто слезы. Любит писать письма писателям, которых читает, и артистам, которых видит в кино. (В наше время кто бы это придумал делать!) Она и Кеннеди когда-то писала — ей было тогда девять лет — и получила от Жаклин Кеннеди фотографию ее с дочкой.

Фантазерка. Любит рисовать. Скучает без сверстниц, но охотно гоняет и с семилетними девочками, подружками нашей средней — Танюши.

Эта очень требовательная. Только и слышим: «Хочу», «Хочу»... Ей за это от нас попадает. Но она совсем еще дитя. Страшно ласковая. Не ляжет, пока всех не перецелует.

В эти весенние дни все дети до темноты играют на поляне перед нашим домом. Тут и «прятки», и качели, и два кролика, и дерево, на которое можно забираться..

Конечно, мое детство прошло иначе: страшно воспитывалось сознание долга перед людьми. Еще в Киеве — мне пять лет — у мамы школа для неимущих детей. В мои четырнадцать — воскресная школа для детей рабочих, лазарет...

У моих полное отсутствие этого. Дом полная чаша. Хорошо ли?..

Сейчас вечер. Кажется, и смотрю в широкое Вомино окно. По радио классическая музыка. Кажется, Брамс. Стройные зеленые сосны залиты вечерним солнцем. Домики все, как наш, — один-два этажа. Все разные, все нарядные.

Уже отцвели сирень, вишня, яблоня. Кончат цвести «догвуд» — редкой красоты цветы на деревьях, которых здесь без конца: есть белые, как невеста, есть розовые...»

«Дом полная чаша...» Но русская бабушка американских внуков, она знала любящим сердцем, что нить, протянутая между детьми и ее родиной, истоньшится со временем, перетрется... И эта щемящая нота исподволь пронизывала ее письма. Лишь однажды у нее вырвалось: «Как вы ужасно далеко, и как нет никакой возможности уничтожить расстояние между нами...»

Эмиграция... Ее вторая волна. В каждой волне — свой трагизм. Эта вторая породила определение — перемещенные лица. Не эмигранты. Не диссиденты. Нет. Перемещенные лица... Словно какая-то неведомая сила, что таинственно передвигает предметы, — полтергейст, как ее именуют теперь, — вмешалась в жизнь людей и по своей воле переместила их на чужую землю.

В первые после войны годы часто звучала забытая нынче песня. Сочинили ее в эмиграции. Подобная крику отчаянья, неслась она душными южными ночами над темным морем:

Я тоскую по родине,  
По родной стороне своей.  
Я в далеком походе теперь,  
На чужой стороне.

Было в ней что-то кустарное. Ресторанная, кабацкая даже тоска... Но за душу брала!..





было смотреть на его усталое лицо. Мы знали, что у него было два сердечных приступа. После концерта ждали его у подъезда в надежде увидеть вблизи. Но его вывели другим ходом, и его машина осталась стоять пустая.

И вдруг из подъезда вышел очаровательный юноша. Анечка крикнула мне: «Клайберн!» — и подлетела к нему. Он написал ей автограф на программе Рихтера. Сказал, что 1 июня будет в Москве. Он уже сел в свою машину, когда я сказала: «Вы не знаете, сколько мне причинили хлопот! Из Москвы шлют заказы на Ваши фотографии, а достать их невозможно!» Он рассмеялся, выскочил из машины, пожал мне руку. Потом меня все окружили, хотели узнать, что я ему сказала...»

Пройдут годы, и телевидение покажет нам прием в Вашингтоне, в нашем посольстве, встречу президентов. Мы увидим стройного светловолосого человека за роялем. Вана Клиберна, бывшего юного победителя конкурса имени Чайковского в Москве. Он сыграет «Подмосковные вечера», столь популярные у нас и во всем мире в годы его триумфа...

«Была в Н.-И. в кино на «Шинели» Гоголя. Впечатление на меня сильнее, чем МХАТовское. Режиссер Баталов, Акакий Акакиевич — Быков. Душа разрывается от жалости к этому маленькому, незаметному человеку, исполненному такой скорби, такого унижения, таких страхов. Я понимаю горести, которые победить нельзя: болезнь, смерть. Но почему есть такие Ак. Ак., нищие, несмотря на труд (и во всех правительствах, во всех режимах они есть). Тот дрожит над копейкой, другой — что потеряет работу или не получит ее. Или его не пустят туда, куда пускают других. Девушки идут на улицу, матери бросают детей. И вот в прошлом нормальный, живой ребенок, мальчишка или девчонка, сталкивается с жизнью, и что-то его гнет к земле, превращает в существо приниженное и жалкое. Вот так жалок Акакий Акакиевич.

Такая благородная простота игры и постановка. Ком сжал горло. Вот когда читаю получаемые мной из Москвы журналы, тоже больно, когда описываются бюрократы или очковтиратели, которые калечат души. А сколько зла они успеют наделать. Пока их устроят!..»

Любопытно, что это написано в шестьдесят пятом году!..

«Баба Саша улетела вчера на три дня читать лекции об отце. Одна. Восемьдесят один год! Вот колосс. Вообще толстовского в ней много. Обо мне. Я по работе — нашла матери (из Латвии) дочь — здесь. И брату — брата, причем оба живут в Канаде, на расстоянии ста миль, и четверть века не знали ничего друг о друге.

Искать и соединять потерявшихся людей входит в мои обязанности».

Наподобие римской богини судьбы Парки, той, что прядет и обрезает нить жизни.

Искать и соединять потерявшихся...

Иногда она обращается за помощью к Надежде Александровне. «Теперь просьба разыскать через адресный стол Раису Степановну Краковскую (урожденная Стоянова), родилась в 1909 г. в станице Канеловской на Кубани. В 1941 г. жила в совхозе «Майнефть» в Армавире...»

Старуха скрупулезно выполняла эти поручения. Иногда и сама давала задания Даде. Найти сына Шульгина. Но об этом речь впереди.

«Мы все полны пережитым (письмо от 9 ноября 1965 года). Я ночевала в Нью-Йорке у сослуживицы. В тот день было много работы, и я решила задержаться и поехать домой следующим поездом. Вова мне звонил. Он после заседания в Объединенных нациях собирался ночевать у родителей Эммы. Я вышла в 5.25 и обратила внимание на то, что лифт еле ползет. Так как он у нас с капризами, а я боялась опоздать на поезд, то побежала по лестнице пешком. Вошла в метро. Вижу стоят два поезда — половина у платформы, а половина уже ушла в туннель. И вдруг тухнет свет. Через две минуты появляется человек с мегафоном и объяв-

ляет, что все метро встало: что-то с током. При свете контрольных лампочек взбираюсь по темным лестницам с двумя сумками, как всегда набитыми доверху: книги, покупки, вещи, купленные для посылки. Чудом втискиваюсь в автобус и еду на вокзал. Город во тьме, светят только фары автомобилей. Светофоры не горят. Неимоверная толпа кишит просто под колесами: конец рабочего дня, час «пик». В толпе движешься, как в церкви стоишь. Страшно, что в темноте всякие мелкие воришки и хулиганы начнут действовать. На вокзале темно. Но все же добираюсь до зала, откуда ходят поезда. По слабенькому радио сообщают, что случилось что-то на электростанции вблизи Ниагарского водопада. И темно не только в Нью-Йорке, но на всем восточном побережье, включая часть Канады. И что ведутся поиски повреждения.

Поезда не ходят. Сидеть негде, — лавочек мало, а народу тьма. Длинная очередь к телефонам. Сижку-стою-гуляю в толпе. Проходит четыре часа. И еще час. А толпа все больше, больше. Но тихо. Много смеха, шуток, делаются пережитым. Один застрял в лифте, и его вынули через два часа. Из метро тоже вывели всех часа через четыре. Думаю о сослуживцах, друзьях. И — где мой Вова?.. Какая-то дама смеется: оставила своего мужа с молоденькой девушкой, которая следит за детьми (бэби-ситтер): «Но, поверьте, не подымусь пешком на 19-й этаж, чтобы проверить, что делается дома».

По радио объявляют, что один магазинчик нажился: согласился отпускать за доллар кофе и булочку, но из-за темноты не мог давать сдачу. И вот каждый охотно давал им доллар, переплачивая вдвое. Не знаю как, но поезда по одному вывозили, — надо ехать одну остановку под Гудзоном. Но вот доехала до Филадельфии — это для меня полпути. Узнала, что надо ждать до 8 часов утра. Дозвонилась до Эммочки, Вова шел пешком два с половиной часа, остался ночевать у приятеля. (В метро застряло 800 000 человек.) Хорошо, что не было дождя. Через десять часов свет был дан.

Уже дома, выпив кофе и согревшись, вспоминала, как достойно вели себя люди в час испытания: провозжали по ступенькам, терпеливо все объясняли. Те, кто был в белых костюмах, образовывали цепочки, чтобы другие, видя во мраке светлое пятно, могли найти переход. А по радио рассказывали о врачах, делавших во тьме сложные операции, о том, как шли роды... о госпиталях, о тюрьмах, о сумасшедших домах... В газетах писали об ужасном положении зверей в зоопарке. Там электрические обогреватели, и вот кобры и крокодилы начали мерзнуть. Их стали спасать, обложили мешками, провели к ним газовые трубы — все за несколько часов...

Да, о крокодилах то я и не подумала!..»

«Вова вчера улетел в Лос-Анджелес делать доклад. Улетел на каком-то частном малюсеньком аэроплане на пять мест. Долетел благополучно. Я все никак не могу привыкнуть к здешним удобствам и размаху, Вова заказал себе машину на прокат в Лос-Анджелесе, к его прилету она была подана к аэродрому. Это чтобы не зависеть от такси и машин друзей. Разве не чудо? Сегодня он уже звонил. Доклад прошел очень хорошо. Собралось много народа из разных штатов.

Вы пишете, что Вам мало надо в Вашем возрасте. Мне тоже. Пенсия моя — 109 долларов, квартира с телефоном — 100, т. е. почти вся пенсия. Зарабатываю чистыми около восьмидесяти (дорога оплачена не мной). На жизнь хватает, но все время какие-то расходы: то у пятерки моей именины, то Рождество, то Пасха. По субботам ездила с девочками в кино, даю им мелочишку, чтобы купили, что захотят, — книгу или альбомы для рисования. Я получаю проценты со сбережений и это тоже беру на жизнь.

Вова уже на ногах, вряд ли ему нужны мои сбережения. Да и мне уже шестьдесят пять!..

К пенсии нельзя брать приработок больше ста долларов. А пенсию я терять не хочу...

Как в будущем сложится моя жизнь? Кто это может знать? Иногда шучу: «Через двадцать лет переезжаю в Глен Ков выходить замуж». В Глен Кове наш старческий дом. И вот каждая деловая поездка туда вызывает такие грустные

мысли. В прошлый раз узнала о шести «браках» восьмидесятилетних. Я понимаю тягу в старости к другу-подруге, чтобы кто-то проявлял к тебе интерес, внимание... Но это не совсем то. Здесь можно услышать: «Надечка, кто за вами сейчас ухаживает? Приходите ко мне на чашку кофе, я вас познакомлю с одним инженером, он очень мил. Ему восемьдесят четыре года, но вы никогда не скажете...»

И тут же, рядом, мелочный, старческий эгоизм. О нем мало принято говорить. А он хуже эгоизма молодых. Неприятней. Там — начало жизни. Боязнь не состояться. А тут — итог. И такой жалкий итог...

А как хорош Глең Ков — все в цвету, море голубое. Тишина. Покой. И — грусть...

Мы ведь часто говорили, главным образом с Эммой, что двум поколениям не надо жить вместе. Она меня считает исключением на фоне других «свекровей»? (Так это говорят?) Конечно, жить вместе не надо. Но, когда я приезжаю, по 5 часов в день занимаюсь с Танюшкой, и 5 часов готовлюсь к этим занятиям, и затем помогу в доме — не тяжелой работой, причем с Эммой мне легко: она сама, не стесняясь, просит помочь, но всегда старается, чтобы это были легкие поручения — почистить картошку, сделать салат, винегрет или зашить что-то детское. А я делаю, что по силам. Вот вчера у нас опять были гости — Эммы nepoсpедственные шефы. Пара из Ленинграда. Пережили осаду. Были вывезены доходягами. Попали на Кавказ и там попали немцам в руки, немцы вывезли их на принудительные работы. Оказались они во Франции, а после войны жили у дочери Рахманидова — Татьяны. Очень приятные, культурные, интересные. Вот я ей, конечно, помогла — и наведением лоска в квартире и в кухне. И сама с ними с удовольствием посидела. А потом пошла, уложила своего малыша (увлекаемая чтением Носова, автора Незнайки, — сборник рассказов), а потом почитала Тане — Гайдара «Чук и Гек». (Обе книги я им подарила на Рождество.) А затем немного убрала посуду и легла. Наши сидели в гостиной далеко, так что не мешали. Но мне не спалось.

Утром Эмма поехала принимать экзамен у своих студентов. Вот перлы из их переводов на русский: «Козел в отпуску» (отпущения). «Поезд для того, чтобы переезжать пассажиров» (перевозить). «Поехал в деревню на бабушке»...

«Июня 17-го 68. Дорогая Надежда Александровна. Приехала домой и застала Ваше письмо от 7-го июня. Если Вы сражены убийством Роберта Кеннеди, то как же сражены мы. Он не был той политической фигурой для меня, на которой я остановила бы свой выбор. Но — такая смерть... за что? За то, что он политически был против одной страны, поддерживал другую — или еще по каким-то причинам. Это же не метод борьбы. Это слепой фанатизм, который отталкивает и пугает. У меня были огромные симпатии к его брату Джону, нашему президенту. Я в того верила...

Каково родителям, жене, 10 детям это все переживать. Мы не отрывались от телевизора. Шаг за шагом следовали за ним, раненным сперва на земле, затем в полете в Н.-И., затем в поезде Н.-И. — Вашингтон, затем похороны ночью. Когда семья с ним попрощалась, поцеловав гроб, а затем стали прощаться друзья и публика, мы выключили телевизор и остались сидеть в полной растерянности.

«Кто будет очередная жертва?»

Джон Кеннеди... Это было осенью шестьдесят третьего. Америка провожала в последний путь своего тридцать пятого президента. Гроб везли на лафете, в годы второй мировой Кеннеди был морским офицером.

За гробом, вскинув красивую голову, шли вдова президента Жаклин и два его брата, такие же рослые, крепкие янки — Роберт и Эдвард.

Мир прильнул к экранам телевизоров — была прямая трансляция. Вели белого коня... Было так тихо, что слышен был цокот его копыт. Звучал залп орудий. Сын президента, Джон-младший, клал на могилу цветов.

Убийство в Далласе потрясло всех. Бесконечно мелькали повторяемые кадры кинохроники: эскорт машин въезжает на роковую улицу, президент, сидя рядом с женой, машет встречным, приветствуя их. Внезапно его голова резко откидыва-

ется, Жаклин склоняется над ним... Хроника беззвучна, но нам кажется, что мы слышим ее крик... Потом снимки дома, меченное крестом чердачное окно, откуда был сделан выстрел. Траектория полета пули черным пунктиром одна за другой. Мир ужаснулся. Каждый по-своему пережил эту смерть. Одни оплакивали президента страны, другие — просто счастливого человека. Любящего отца и мужа.

Наша лифтерша, тетя Поля, существо доброе и забитое, — муж, выпивая, бил ее утюгом (она говорила ласково: «утюжком»), — очень жалела вдову. Спрашивала: «Как же она теперь жить будет? Ведь двое детишек, их поднимать надо!..»

«...Я и мои друзья все сравниваем русский характер с иностранными. Ведь такой порыв, такие чувства, как в Вашем Друге, — это же так возвышенно, так замечательно, что перед этим хочешь склонить голову. Ищу в себе чего-либо подобное (теоретически) — ни капельки не нахожу. Что это, измельчание чувств? Вот попала в красоту, в материальный покой, а главное, в удовлетворение своей семьей, — все имеют недостатки, и немалые, но это СЕМЬЯ, единая, крепкая, как мне кажется. К прогрессу (в космонавтике и пр. технике) я отношусь с отрицанием. Считаю, что это лишило нас радостей жизни. Поездка «на долгих» вела к размышлению, созерцанию. Но в искусстве сдвиги дают новые восприятия, новые ощущения.

Я помню, когда мы приехали в США и увидели на женщинах красную юбку, желтые чулки, зеленую блузку, лиловую шляпу и т. д., мы оттолкнулись. Теперь трактора окрашены в желтый, красный цвет. Пестрота красок нам кажется необходимым аксессуаром жизни. Нужна только гармония этих красок. Раньше искала я пастельности. Сейчас — яркости. Потом, Толстой, Тургенев и наши классики давали нам образы ЗДОРОВЫХ людей. Увы, мы нездоровые люди. После пережитого здоровым быть нельзя. И новая литература дает нам описание наших больших глубин. Вы могли бы сейчас перечитать с удовольствием «Новь»? Я на второй странице отложила бы. Для счастья, для любви не нужно ни звезд, ни шепота моря, ни благоухающих цветов. Вот когда священник-католик попал с группой евреев в лагерь, и евреев ввели на сожжение, и он пошел в газовую камеру вместо молодого еврея, у которого могла еще быть жизнь впереди — то это та любовь, которая рождается только внутри и которой не нужно ни звезд, ни ветерка. Не знаю, писала ли Вам: в Филадельфии есть небольшая церковь, поставленная после войны в память 3-х священников — католика, протестанта и раввина, — которые во время войны, когда в военный корабль попала японская бомба и корабль тонул, отдали свои спасательные пояса трем молодым матросам, а сами пошли ко дну. И крепкая любовь в семье — мужа к жене на твердой койке, верная после всех бурь жизни, — это так же глубоко и красиво, но больше трогает, чем «ветерки». Вот я такая стала. ВНЕШНЕЕ — не нужно, нужно только то, что внутри. Есть поклонники барокко — мне оно чуждо. Я люблю готику. Мне два старых башмака шахтера кисти Ван Гога говорят больше, чем, может быть, «Ночной дозор». Мне краски Вермеера ближе, чем всеми признанного Рубенса.

Близится день отъезда — не увижу своих почти два месяца. Привыкла быть всегда вместе, т. е. не всегда, а полмесяца, так что не представляю себе, как это будет. Наши, наверное, НЕ поедут по США — слишком трудно, дорого, требует большой подготовки. Вова не потянет ее в этом году.

Так как дети сейчас много дома (вне школы), наблюдаю за ними и грущу. Очень уж бурные темпераменты и страсти!»

Взяв у Надежды Александровны очередную «порцию» писем Дады, мы аккуратно возвращали их ей, — мама прирожденный архивариус, даже завела нумерацию, чтобы письма — главы эпистолярной повести не теряли своей последовательности.

Однажды мы застали старуху в плохом состоянии. Нет, ее пышные седые волосы были, как всегда, аккуратно причесаны, и нитка жемчуга, как всегда, украшала шею. Но она стала жаловаться на слабость. На то, что упала, и вот теперь болит бок. И голова часто кружится.

Вручая нам новую пачку писем, вдруг сказала:

— Пусть то, что вы прочли, остается у вас...

Ее беспокоила судьба писем Дады, тех, что останутся после нее, в этом ветхом доме, в Сокольниках. Будущее сиротство этих никому, кроме нас, не нужных писем...

Она вообще стала мнительна, беспокойна. Зимой семидесятого Надежда Александровна пишет моей маме, — телефон в квартире был, но она предпочитала общаться письменно:

«Дорогая Зоя Павловна!

Вчера получила Ваше милое, теплое, сердечное письмо, за которое очень, очень благодарю.

Продолжаю хворать, но боли как будто не такие сильные. Был доктор, подтвердил диагноз — межреберная невралгия. Прописал все то же, что я делала. Но сегодня я умудрилась упасть вторично и ушибла ногу, так что охромела совершенно. Хорошо, что эти дни была интересная книга, и я могла спокойно сидеть в кресле с грелкой... (...).

Очень волнуюсь, что от Дады 17 дней нет вестей. Она никогда так долго не оставляла меня без писем!

Вот пишу Вам, а сама ежеминутно смотрю в окно, не несут ли мне письма от Дады. Ведь заказные разносят и по воскресеньям... Надеюсь, дорогая Зоя Павловна, что Ваш грипп уже прошел. Жду Инночку.

Целую горячо Вас, и горячий привет всей Вашей семье.

Н. Конисская».

Тетрадный лист «в линейку». И этот до неправдоподобности каллиграфический — у ч и т е л ь с к и й — почерк, который сохраняется до конца дней...

«...Вот и опять Пасха. В субботу я заезжаю к Катюше. Ее еще нет дома, но у меня есть ключ.

Все готово к празднику — на столе под платочком куличик, покрытый глазурью. Крашеные яйца. Все блестит, вымыто, вычищено, празднично.

Последний — даже не день — час поста. Съедаем по тарелке постного борща, лапшу с грибами, салат. Потом быстро оделись — и в церковь. Народу полно. И подумать нельзя, чтобы войти внутрь.

Люди — сотни людей — стоят в кладбищенском саду перед церковью, на широких дорожках. Проведен громкоговоритель из церкви, и каждое слово службы слышно. Много детских лиц. Глазенки у всех расширены сном и любопытством. Стоят со свечами. Родители все поднимают их на руки, сажают на плечи, чтобы дети видели, что происходит. А из церкви выходит крестный ход. Певчие — ведь это все почти знакомые. И дети наших друзей в хоре. Все парадные, в светлом. Ночь прохладная, но не холодная. Три раза обходим с крестным ходом кругом церкви. Море свечей. Ветра нет, так что не задувает. Сколько встреч тут происходит, сколько дружеских рук пожмешь!.. Говорить нельзя, — слишком торжественно, — но как не переброситься словом:

— Танечка, Наташа уже вернулась из поездки в Москву?

— Да, вернулась. В таком восторге.

— Асенька, Андрюша во Флориде?

— Его обокрали, я ему переводила деньги на билет.

— Почему нет Ирочки?

— А Саша-то, Саша — совсем уж взрослый мужчина...

А то просто пожмешь дружески руку... Сколько лет не видела Вас... Все в порядке? Слава Богу... А у Вас? Детки растут? — Все в порядке. После крестного хода протискиваемся в церковь. Служба продолжается, а мы идем на кладбище. Тишина... Кладбище залито мерцающими огоньками лампадок. Вероятно, монашки перед службой пошли и зажгли все лампадки, которые были на могилах. В темноте находим могилу моей тети. И на ней горит лампадка. Вероятно, тоже зажгла монашка. Отдаем дань ушедшим, помним о них, скорбим. Затем — опять

в церковь. Но вот уже половина четвертого. Служба кончена. Все расходятся. За-тор машин. Кто-то еще христосуется. Кто-то улавливается на завтра.

Мы идем в столовую разговляться. Накрыто три стола по 12 человек каждый. Размещаемся. Катюша накладывает мне на тарелку и индюшку, и куриное заливное, ветчину. После поста все очень вкусное. Две сырных пасхи — шоколадная и обычная. Два вида куличей. Чай, кофе. Сидим целый час. Разговариваем.

Наконец в 4.30 уезжаем. Каждый в своей машине. Мы вдвоем с Катюшей. Ночь уходит, светлеет небо, начинают гаснуть звезды. Начинают выделяться кусты, облитые цветами. Едем к Катюше. Доезжаем до Гудзона, когда солнце встает, — и картина непередаваема. Гудзон весь розовый, весь блестит в лучах солнца. Проезжаем мимо церкви в Катюшином городке. И оттуда расходятся после разговен. Город спит, и на улицах слышна только русская речь».

«Вы спрашиваете о Катюше. Я знала ее немного еще дома, а потом мы встретились на пароходе, который вез нас в США. На пароходе нас везли бесплатно, но мы должны были работать. Мы, женщины, обслуживали столовую. Я была старшей, так как немного понимала по-английски. А они раскладывали еду, подавали, убирали посуду. Потом мы вместе с Катюшей поехали на ферму. Я — всего три дня, так как устроилась прислужгой, а Катюшу поселили вместе с моей тетей Марусей. Так и завязалось знакомство. Когда муж Катюши ушел от нее, она очень переживала это и мы стали ближе. А потом уже просто друзьями».

«Ах, дорогая, какие у нас два дня были — просто выбиты все из колеи, и ничего делать не хочется. На днях узнала, что Вовин университет пригласил Бородинский квартет на одно выступление. С трудом достали билеты, так как это абонементный концерт, зал маленький, человек на 500. Так как в университете почти нет говорящих по-русски, то профессор, руководящий всеми музыкальными начинаниями, просил В. принять участие во встрече их. И вот Эммочка в четверг в час дня поехала на аэродром с представителем университета встречать. Мы их уже раз слышали и видели, три года тому назад в Ланкастере. Они сразу вспомнили Эммочку, даже фамилию один вспомнил. Эмма их отвезла в отель. А потом в 5 В. поехал за ними — забрал их к нам на обед. Весь день накануне мы, конечно, не выходили из кухни, так как после обеда были приглашены на парти около 20 американцев. На обед зажарили индюшку которая была встречена шумным восторгом. В 8.30 стали приезжать американцы, все связанные с музыкальным миром, мы их почти никого не знали. Но так как бородинцам уже осточертели эти парти, то больше всего мы с ними говорили — так дружелюбно, так просто. Они играли с детьми — все же семейные, скучают по детям. Много говорили о музыке. Для нас это был голос с родины, а им, наверное, интересно было посмотреть обстановку русско-американского дома. Ушли в 2 ночи, а мы все еще не могли успокоиться. Наши легли, а я посуду пока убрала, уже 4-ый час шел. На след. день наши поехали за двумя из них и повезли их кататься, показали им университет, аудитории, кабинеты, окрестности, парки. Потом они поехали отдыхать, а вечером мы поехали на концерт (Танюшка ушла спать к подружке, у Ирочки ночевала подружка). Играют они замечательно. Особенно хорош был Квартет № 7 Шостаковича. Кроме того, был бородинский № 1 и бетховенский. Ох, какие у нас сложные чувства в связи с их посещением... Такие они простые, нам понятные, хотя все и разные. Один резал индюшку, другой помогал накрывать на стол. Третий играл с детьми. Рассказывали о создании квартета, о своей работе. Они без конца ездят по белу свету: по-моему, это просто утомительно — столько быть вне дома, где семья и привычная обстановка. Страшно рвутся домой...»

«Июля 16-го 69. Дорогая. Через час космонавты полетят. Такое двойное чувство: миллиарды брошены в полном смысле слова на ветер... Ну мир узнает, что там холодно или жарко, что там новый элемент какой-то есть, что там была культура или не было культуры. Что с того? Лучше бы заняться «культурой» на

земле, чтобы не было голодных, чтобы дети миллионами — по всему свету (одна Индия чего стоит!) не мерли от голода. Бог с ним, с этим достижением. А вот за людей, которые на этот риск идут, бьется сердце с волнением. Какие нервы должны быть! Время идет — все смотрю на часы, — миллионы съехались смотреть, как произойдет запуск. Я никогда не решилась бы сказать: все готово. А вдруг...»

«21-го 1969.

Всеходим с ума от полета на Луну. Вчера до 2-х ночи с 2-х дня смотрели, слушали, плакали, волновались — все смотрели и смотрели. И не верили тому, что видим и слышим. Например, сегодня утром, когда они уже вошли в кабинку, после двух с лишним часовой «прогулки» по Луне, которую мы видели, и легли (сели?) отдыхать. И вот из Центр. станции на земле докторá шлют рапорт, что за сотни тысяч километров пилот корабля Майкл Коллинз, который летает вокруг Луны, уже три часа крепко спит, а два спустившихся на Луну лежат тихо, но не спят... Ну можно ли этому поверить?! За сотни тысяч миль аппараты улавливают различия в дыхании спящего и неспящего человека. Когда говорил с ними президент, то это тоже было так волнующе — как будто бы в соседних комнатах. Конечно, заглушенно, но можно было нам, не понимающим хорошо по-английски, разобрать половину. Президент потом пошутил: «Надеюсь, мне не пришлют счета за этот телефонный разговор?». Все время связь. На Земле находилось два человека, которые повторяли все то, что делали летчики на Луне, и по ним можно было определить, сколько времени берет та или иная операция. Ведь надеть костюм для путешествия по Луне в кабине взяло 2 часа времени. И с большим трудом стаскивался этот костюм. Ну, разве обо всем напишешь? Дорогая, кончаю — складываю все дела на работе: у нас сегодня не работают — все продолжают смотреть. И я сейчас пойду домой — включу телевизор...»

Включим телевизор и мы. Увидим кадры, снятые двадцать лет назад: первый землянин Нейл Армстронг, согнув одну ногу в колене, словно пловец, исследующий неизведанное дно, ступает на лунную твердь.

За ним последует Эдвин Олдрин, по кличке Баз, которому на всю жизнь останется роль — второго шага. Мы увидим это только теперь, двадцать лет спустя. И узнаем, что только две страны отказали своим гражданам в участии во всемирном космическом телешоу — Советский Союз и Китай...

Включим телевизор и увидим их, всех троих, двадцать лет спустя. Облученные славой, они уцелели в ее беспощадных лучах.

И теперь, улыбаясь, смотрят на нас с экрана. Постаревшие, но еще brave парни. Американцы.

«Была в библиотеке и принесла себе 6 книг. Два номера журнала «Н.-И.», где напечатана повесть Лидии Чуковской. Один криминальный романчик Сименона по-франц., «Записки из подполья» Достоевского. Прекрасно изданные книги издательства «Скира» по изобразительному искусству. Взяла книгу о художнике Босхе (1450—1520 гг.). Я видела его картины, и, так как он не похож ни на одного из своих современников, — мир фантазии, символов, кошмаров и пр., хотелось узнать, «как дошел он до жизни такой». И вот подцепила книгу. И большую книгу о Моне, к сожалению, мало иллюстрированную. Вот и будет, что делать на выходной день.

Вещи Вересаева о Коктебеле я не знаю. А самого его встречала, когда жила у Макса (Волошина. — И. Г.). Как-то Макс пошел к Вересаеву и взял меня с собой. Но мы пришли в неудачную минуту, так как он красил в ярко-зеленый цвет свою уборную во дворе. Он после бывал раза два на лекциях и докладах у Макса.

Спасибо за пересылку письма Маруси... Воскресает прошлое, увы, далекое и невозвратное...

Алешенька мне сказал: «Почему, бабушка, когда тебя нет две недели, я думаю, что это два месяца, а когда ты здесь две недели, то я думаю, что это два дня?»



Вот как мне мой мальчик хорошо сказал. Я была счастлива и побранила себя, что ему столько от меня попадает.

Вчера позвонила мне баба Саша — хочет меня видеть. После работы я сразу же поехала к ней. Она погрузнела как-то, была очень усталая — копалась больше часа в огороде, нагнувшись, и едва могла разогнуться. Принесли ей обед (суп с лапшой и ленивые вареники). Она обязательно настояла, чтобы я поела с ней. И мы говорили, говорили. Ей трудно уже выезжать с лекциями. Вспоминала свою — одну из последних. — где она выступала в негритянском колледже и как ее окружили, как горячо жали руки, как просили приезжать еще и еще, и были такие, которые подошли и сказали, что будут стараться так построить жизнь, что бы быть достойным всего сказанного ею.

Александра Львовна выпустила брошюру-протест на книгу Труайя о Толстом и разослала ее по всем университетам, крупным библиотекам, так как считает, что там многое неправильно освещено. Я ее читала до юности. Теперь прочту еще раз. У бабы Саши есть более чем верный помощник — некая Татьяна Алексеевна. Они уже более 30 лет вместе. Это — государственный ум, невероятный апломб, умение всего добиться. При этом адский характер, от которого страдают сослуживцы. Но, кто понял ее ценность, тот старается не реагировать. Александра Львовна шагу не ступит без нее, но у них разные сферы. Баба Саша пропагандирует учение отца (может быть, до известной степени в адаптированном виде), читает лекции о нем, выпустила книгу «Отец» — двухтомник, легко пишет и любит писать. И занята фермой, понимает в хозяйстве. Сидит за обедом, и к ней идет какой-нибудь свинарь или ведающий куриным хозяйством с вопросом: не дора ли резать поросят, не изменить ли корм курам?.. Увлекается садоводством, выращивает изумительные экземпляры цветов и помидоров, которые привозятся в контору для сотрудников, так как такие на базаре не купишь. Увлекается рыбной ловлей, и сама до сих пор svoю добычу коптила (во время двухнедельных каникул во Флориде). По вечерам картишки.

А Татьяна Алексеевна ведает всей финансовой стороной, набором персонала, пробиванием всех вопросов в соответствующих инстанциях, полетами на три дня то в Южную Америку, где, например, в Аргентине построен специальный дом для престарелых, которые, мягко выражаясь, «впали в детство». — иногда это очень мучительная форма. То выхлопывает у местного правительства (например, в Чили) единовременное пособие тем, кто благодаря этому может стать на ноги: купить пишущую машинку, швейную, какие-нибудь инструменты. Она то в Женеве, то в Бразилии, то в Вашингтоне... А возраст — через пару лет 80...

О моих средствах, пожалуйста, не думайте. Со мной произошло то, что говорил Макс: чем больше льешь воду из кувшина, чтобы дать напиток другому, тем больше в кувшине воды прибывает. Я не сказала бы, что становиться больше (значит, мало выливаю), но не понимаю сама, почему держусь на одном уровне своих сбережений. А тратчу немало. Вот сейчас Ирочке будет 16 лет. Хочу открыть ей сберегательную книжку — она через месяц получает права водить машину, — положить 250 долларов. Но мы хотим купить ей в будущем году, когда пойдет в предпоследний класс. Вова говорит, что она у руля «хороша» — не дергает, спокойна, не теряется. А 250 долларов — это моя двухмесячная пенсия. Но я же еще и зарабатываю столько же. Так что не беспокойтесь — деньги у меня есть. Через два года я могу зарабатывать сколько угодно (после 72 лет не ограничивают), а теперь только 140 долларов в месяц».

«Ну вот, я уже у своих. Просто попадаешь как на другую планету. Все, все здесь иное. Там я окружена овыми сверстниками, усталыми, больными, у которых только одно в мысли, как бы ничего не случилось, не напали бы на улице, не упасть бы, не сломать ногу и т. д. и т. д. У каждого свои трудности и благодаря возрасту впереди ничего отрадного. Шум и скученность большого города: забитые метро, где стоишь на одной ноге (в пик-часы) и потеешь даже в холод.

А дома — все другое: дивная погода, которой наслаждаешься, так как часть дня проводишь в шезлонге в саду. Жара, но приятная. Сосны ароматны, как никогда. Цветов, правда, мало; засуха, трава пожелтела. Тишина... А внутри дома

жизнь кипит и бьет полным ключом. Приятнее всего смотреть на Ирочку — просто вулкан. Сто планов, сто занятий. Она — во французском клубе. Она секретарь клуба дерочек. Она записалась волонтером раз в неделю, а иногда и два работать в госпитале — хочет в хирургическое отделение. Она редактирует классную газету. Она готовит какие-то лозунги и плакаты к спортивному состязанию.

Эмочка всегда безумно волнуется перед занятиями. У нее 29 новых учеников. Самое начальное, Алфавит. Но в учебнике много глупых слов. Проходит ударения на таких словах, как «мастодонт», когда надо бы попроще. Принесит после каждого урока 29 работ и тщательно все исправляет. Бойтся, что нет педагогического умения. Но она скромная вообще и отвечающая за свои поступки и потому волнуется.

А Вова не знает, за что хвататься: стопы книг разложены по всей комнате. Эти — для одного курса, эти — для другого. Эти — для руководства студентами, которые будут писать диссертации. Эти — для его научной работы. Он требует от своих студентов прочтения двух книг русских авторов, определенных, солидных. Современных. Хотя это не имеет никакого отношения к его курсу.

Он эти дни был занят и сердит: прислали сюда в порядке обмена студентами, уже окончившими университеты, двоих 35-летних (всего их в США из СССР приехало 32 человека, а эти два попали в Вовин университет). Вова их встречал, но оказалось, что они почти не говорят по-английски. Как же при этом можно писать докторскую или кандидатскую работу, — область не то инженерная, не то электроника, не знаю. Оба себя чувствуют, конечно, очень неловко. Жизнь в чужой стране нелегка, еда им не нравится, хотят русской или своей кухни. Думали, что при них будет переводчик, но нельзя же им давать переводчика на целый день, ведь все книги, инструкции и все по-английски. Как они будут ходить на лекции? Пока что Вова с Эммой ездили к ним немного приободрить, Эмма сегодня после лекции поедет с ними, покажет им, где что покупать и прочие бытовые условия (прачечная, «забегаловки», магазины...). Вова нашел им студента, говорящего и по-русски, который проведет с ними эту неделю, знакомя их с профессорами, распорядком.

Погода райская, розы в цвету. Я весь сентябрь буду дома и могу себе разрешить прочитать то, на что в нормальной жизни не хватило бы времени. Я писала Вам, что недавно перечла «Бесов», а теперь читаю «Войну и мир». С таким трепетом, с таким волнением. Опять, конечно, глотаешь, — а сколько там мудрости! И новая встреча с Ростовыми, Болконским, Пьером!.. Ведь у нас был культ Толстого в доме. И знакомые страницы, которые почти на память знаешь, — это возвращение к тому восторгу, который испытывал в молодости, когда читал это вместе с мамой...

Не удивляйтесь нашему теплу. Ведь наш Чапел Хилл прямо на юг от Нью-Йорка. На полпути Вашингтон, а потом и Чапел Хилл. Это километров пятьсот, что ли! Самолетом до Н.-И. час десять минут. Билет — сорок долларов. Я предпочитаю автобус... Это одиннадцать-двенадцать часов чтения, дремоты, мыслей наедине, полного отключения от всего и всех. И дешевле — двадцать долларов.

Только что отзанималась полчаса с Алексеем. — ох, туго идет Этот метод чтения целых слов!.. Занимались, но вижу, уже стал зевать. Выпил два стакана какао и стал мне ставить патефон. А сейчас пойду опять его возьму и пойдем читать и усваивать то, что — вижу — дается ему нелегко. С Татьяной читали и писали по-русски. А вот выкроить время для занятий с Эмочкой мы не можем, когда дети дома.

Да, как изменились бы занятия и речь моих детей, если бы Вы были здесь. Увы, это даже не мечта. Это — нереальность...

Кончила книгу Артура Миллера (его пьесы шли в Москве). Пишет о своей поездке в СССР. Вероятно, в 65 или 66 г. Две трети книги — иллюстрация. Его жена (говорят, что это его жена) фотограф и замечательно снимает. Такие виды Там и Ясная Поляна, и Ленинград, и много портретов: поэтов современных, артистов, художников. Почти каждая фотография сопровождается текстом стихов, увы, по-английски. Много Пушкина, Маяковского, есть и Евтушенко, Вознесенский. Евтушенко и его жена Галя много ему и жене его показывали. Водили их всюду. Не

знаю: как он с русским языком? Думаю, что не говорит. Это, конечно, жаль. Но был у Эренбурга (поэтому я и отношу к 66 г.) и вообще у многих и многих. Он большая умница, близок был к коммунизму. Вещи его очень сильные. В переводе они потеряли остроту свою. Но вообще, конечно, очень трудно одному народу понять другой народ, если знаешь его поверхностно. Вот мы уже здесь столько лет, а можем ли мы сказать, что знаем Америку и американцев?.. И, конечно, в каждом народе есть свои крайности. Единственно, что просто потрясает, что здесь сами себя не щадят. И если виноват и поступил грязно, то обо всем этом будет написано, и будет сто высказываний по этому поводу, так что каждый может вынести правильное впечатление, ибо обсуждается всесторонне. Это — не русское раскаяние (глубокое, потрясающее, но касающееся только личности), а просто настоящая свобода мнения и оценки. Оно может быть не на пользу государству. Все равно...

15-го. Вчера прилетела в Н.-Й. У наших солнце, зелень, в одном свитере сидела в саду. А здесь серая мгла, дождик сеет, ветер. Так было противно выйти. Звонила уже своей Наташе и Катюше. Дня два посижу дома — уберу немного, подгоню дела на работе, сготовлю, а потом начну порхать... Иду сейчас на почту. Целую».

Она ровесница века. В семьдесят один год она еще по р х а е т. Как иначе назовешь эти бесконечные перелеты, переезды...

Чапел Хилл — Нью-Йорк — Чапел Хилл...

Родина Томаса Вулфа.

Удивительный писатель, автор удивительного романа «Взгляни на дом свой, ангел». При всем несходстве манеры письма и фабулы он родственен Маркесу. Оба умеют создать из любви к своей земле и близким некое плотное, вязкое вещество, — слово «повествование» лишено темперамента, а слово «стиль» слишком академично. Это в е щ е с т в о не отпускает тебя до конца и после прочтения книги оставляет в душе след подобно следу прививки.

Штат Северная Каролина... Родина Томаса Вулфа.

«Я люблю Северную Каролину, как никакое другое место на земле». — говорит он.

В своей любви к Америке он неистов.

«Жить надо у себя на родине, я в этом убежден», — пишет он из Европы другу Ж. Дэшиллу. А своему издателю Максвеллу Перкинсу так описывает — из Лондона — свой родной штат:

«В жителях Северной Каролины те же свойства, что в их огромных персиках, дынях, яблоках, табаке, устрицах, обильной красной глине, в их задумчивой незабываемой земле. В них есть широта природы, жизнелюбие, они полны сочного, едкого юмора, внешне консервативны, но на самом деле порывисты и неукротимы.

(...) неужели земля, на которой эти люди прожили три столетия, один на один с дикой природой, питаясь ее плодами, а потом уходя в нее, смешивая с ней свой прах, неужели земля эта не стала частичкой их плоти, крови, мускулов?»

И еще о Чапел Хилле: «в Чейпел-Хилле «философия» была главным делом на свете». Вулф описывает университетский городок. Здесь, в университете, спустя сорок лет преподает экономисту профессор Владимир Тремл, сын Дады. Здесь он устраивает для студентов слушанье советских песен, читает о них доклад. Это не по программе. Это потребность души. Дань его любви к родине, к своему далекому — о, боже, какому далекому — пионерскому детству...

Я спросила в письме к Даде, что ей известно о Томасе Вулфе. О его пребывании в Чапел Хилле. Она ответила, что Вулфа не читала.

«Наверное, Вова знает... Но, приехав сюда, мы читали все, что выходило в Советском Союзе, выписывали журналы. Потом читали книги русских эмигрантов, потом — русских «диссидентов»... Нас волновало все, что происходит в России. На Америку оставалось мало времени...» (Разрядка моя. — И. Г.).

«...Мы вчера до часу ночи прокручивали пластинки, отбирали тексты и по-русски и часть из них в переводе на английский. Возле русского текста имеются переводы таких слов, как «снега наст», «кайло» и т. д. Он ни за что не хотел, чтобы мы с Эммой шли, что он будет стесняться. Ведь это не его сфера. Он хочет только передать студентам свои эмоции. Студенты эти учат или учили русский, но, конечно, не все владеют им так, чтобы понять. Читать он будет доклад по-английски. А уже сопровождать его русскими пластинками. А Эмма сегодня была звана на «русский» обед. Студенты, изучающие русский язык, каждые две недели обедают со своими преподавателями, а те зовут всех имеющихся налицо русских, чтобы каждый студент имел больше возможности поговорить по-русски с русскими. Вот Эмма и пошла. И инициатор этих обедов, профессор русского языка, пригласила на Вовин доклад три русские семьи.

24-го. Вчера Эммочка все-таки попала на доклад. Вопреки ожиданию зал был полон так, что места не было. Эмма говорит, что все было удачно, видно было, как студенты вовремя переворачивали страницы текста, значит, понимали, что поется, вовремя смеялись или вздыхали. Было и несколько профессоров. Вова считает, что был не в ударе.

Кстати, Вова с удовольствием (я не ждала этого — он не любитель лирики) прочитал книгу Инны. Я говорю: «Ну, вот я напишу, что и ты оценил». А он отвечает: «Может быть, и я сам напишу». Но... я знаю, что этого никогда не будет. Ведь времени у него просто нет. А сейчас он еще мастерит шкаф Алеше в комнату (потом будут ему покупать большую кровать) и очень занят этим. Вообще в таком большом доме, как наш, — 16 помещений, как я писала Вам, — всегда что-то есть, что надо сделать: то подрезать деревья, то косить траву, то подсыпать удобрений, то чинить крышу... Вова все делает сам...»

«Относительно русской культуры. Мои родители привили мне культуру. Не будь их — я ничем бы не была. Но можно ли это назвать русской культурой. В ней была большая доля интернационализма. Они не дали мне православия — со всей его красотой. Это надо принимать только в детстве, тогда оно входит в тебя. Если я что-то получила, то от тети и бабушки, а не от родителей. Обвинять не могу — в них этого не было. Как же было давать то, чего в тебе нет? Русская литература и, вернее, русская печать XX века, с которой я росла, была до известной степени тенденциозна, — Герцен был настольной книгой. А сколько было литературы, которая никогда не попала на наш стол? Сколько было русских философов, о которых в доме не говорилось, — ни Бердяев, ни Соловьев у нас не котировались. А это часть русской культуры... В русской государственности было тоже много высокого, но жажда революции, свободы, равенства и братства топтала эту государственность и затираала то, что могло бы дать высокие примеры. Когда (или если) я писала о москвичах, то я хотела сказать, что росла на Украине, где своя культура. Надо быть в Москве, надо видеть сорок сороков, Кремль, боярские палаты, чтобы почувствовать это...»

«31 декабря 71 г.

С наступающим Новым годом, дорогая.

И желаю, чтобы Вас не переселяли, хотя Вам и тут нелегко. Но пережить всю укладку, перемещение — ужасно!..

Мои ушли встречать к соседям. А я сижу, помыла посуду, убрала и пишу Вам, а рядом на ковре четверо детей играют в какую-то игру. Через полчаса мальчики наденут маски и пойдут пугать соседей, а потом запихну их в кровать, пождут 12 часов для традиции и лягу спать. В комнате у меня полный бедлам — неотвеченные письма, летние вещи, которые надо опять прятать, счета и прочее, а я от плиты просто не отхожу — ведь послезавтра приезжают ночевать 9 человек. Получила Ваше письмо о посещении Маруси<sup>1</sup>. Ваша встреча с ней меня глубоко взволновала, как и все, что относится к Коктебелю. Как я рада, что выставка так хорошо прошла. Как я рада за Макса. В сердцах людей опять воскресла

<sup>1</sup> М. С. Володиной.

угасающая память о нем. Я просто счастлива. Буду нетерпеливо ждать альбом с акварелями и плакат.

Твардовского оплакиваем. О нем у нас были и статьи, и заметки. В американских газетах тоже».

«Января 3-го 72 г. С Новым годом! Ну вот, отпраздновали. Теперь только предстоит наше Рождество, говение и вечер у моей Наташи. И — будни. Наши после встречи пришли не так поздно. Ирочка встречала у друзей и ночевала у подруги (между прочим, внучки художника Шагала). Днем возила ребят на фильм Уолта Диснея «Леди и Бродяга» — история двух собак, рисованный фильм. Замечательно — просто художественное произведение. Потом начали стирать, убирать.. Вчера приехали друзья. Надо было накормить 13 человек и собаку приезжих. Эммочка приготовила замечательно вкусное блюдо — было отварено 3 большие курицы, сняты с костей, и запечены под соусом с сыром вместе с цветной капустой.

Буду здесь две недели. 6-го здесь вечер Евтушенки в Вовином университете. Эмма уже взяла 16 билетов для всей русской колонии. Хочу послушать его. Потом поеду в Н.-Й.

Сегодня Танюшкины именины. Едем сейчас в город за подарками. По дороге отправлю Вам письмо. У нас тепло. Два дня сидела в одном платье часа по два в саду на солнышке — с книгой. Как солнце зайдет за облако, так холодно, но когда ясно, хоть сарафан надевай, — жарница...».

Надежде Александровне Конисской оставалось жить чуть более года. В начале семьдесят третьего ее не стало. Ломка улицы, где она жила, подсознательно ускорила смерть этой древней старухи подобно смерти дерева, у которого повреждена корневая система.

Она успела умереть до того, как дом начали освобождать для сноса.

Вижу ее на деревянном крыльце дома в Сокольниках, высокую, голубоглазую — мы простились, — как-то уже отключенно смотрящую перед собой. Или в себя. Немошная, почти нищая, но независимая, до конца сохранившая внутреннюю свободу, она противостояла статуе, вознесшейся над Гудзоном.

Сколько лет она была связующим звеном в разорванной цепи людских судеб! Остались письма Дады. Те, что Надежда Александровна завещала маме. А мама — мне.

Сколько раз я доставала связки с датами, аккуратно помеченными маминной рукой!

Перебирала, перечитывала... И все больше казались они мне не востребуемыми. Ведь они адресованы нам всем. Пусть на конверте стоит лишь одно-единственное имя...

Живя в Штатах, Дада не сделалась американкой. Ее «у них» — означает «в Америке», ее «у нас» — означает «в России».

Русская бабушка американских внуков. «Духовная бабушка»... Так назвал ее в разговоре посетивший их дом американский профессор, изучающий русский язык.

Хранительница генофонда уходящего поколения. Письма Дады помогли мне узнать Америку. Не ту, которой потчуют туристов.

Америку русских...

Не скрою, эта Америка для меня интересней и ближе «Америки американцев»...

От родственников Конисской я знала, что Дада рассталась со своим жильем в Нью-Йорке и переехала на ферму Толстовского фонда, где и живет постоянно.

Сын с невесткой и выросшие внуки — старшая, Ирина, уже замужем — навещают ее. Иногда — редко — забирают ее погостить к себе, в Чапел Хилл.

Ей выделили отдельную комнату, там она как старейший сотрудник фонда работает с архивами — мечтает создать на ферме музей его основательницы Александры Львовны Толстой.

Узнав адрес, я написала Даде. Ответ пришел спустя три недели (так ходит почта!). И вот, словно не прошло пятнадцати лет, передо мной Дадино письмо, отпечатанное с двух сторон на машинке. Оно так похоже на те, что у меня хранятся.

В письме — ответы на мои вопросы о Надежде Александровне. И недоумение — как ее письма попали ко мне. И сомнение — могут ли они быть кому-нибудь интересны. («Ведь это письма обо мне и моей семье».)

И благодарность за обещание прислать коктейльные камешки: «Это для меня реликвия».

И грустно о себе:

«Я неподвижна, живу за городом и потеряла всякую связь с кипучей жизнью Нью-Йорка (библиотеки, театры, выставки, музеи)». «Но приобрела и нечто новое», — заключает она. Смысл этой фразы открылся мне во втором письме. Пожалуй, его следует привести целиком. С тщательностью, присущей добросовестным людям, Дада отвечает на новую «серию» моих вопросов. Она не возвращается к вопросу о публикации избранных мест из ее писем, лишь скромно протестует против причисления ее к мотиканам русской интеллигенции.

«Июня 15-го 89.

Дорогая Инночка!

Получила сегодня Ваше письмо от 27-го мая. Вы просите написать об Александре Львовне. Не мне писать о ней. Ведь это — гигант и верный отпрыск своего отца.

(Я была в приятельских отношениях с Софьей Андреевной Толстой-Есениной — племянницей А. Л. Когда бывала в Москве, останавливалась у нее. А познакомились мы в Коктебеле. И в Соне чувствовалась вся сложность и насыщенность толстовской крови.)

**Краткая биография А. Л.** После смерти отца.

В 1914 году — сестрой милосердия на фронте.

В 1915 году — в Закавказье. Оказывала помощь в труднодоступных местах. Часто верхом. Потом революция. А. Л. работала в Ясной Поляне, в школе, а также над изданием произведений отца.

Несколько арестов, живо описанных в одной из ее книг. В 1929 году — с лекциями об отце в Японии. В 1931 году — переезд в США, на Запад.

Полунищенский облик. Одно платье. Зарабатывала лекциями об отце. Имела маленькую куриную ферму вместе с приятельницей. В четыре утра выходила с коробками яиц на шоссе и продавала фермерам, едущим на базар. На участке сама ведет трактор. Убирает курятники. И тут вдруг приглашают читать лекции о Толстом.

1939 год. Война с Финляндией. Советское правительство отказывается платить в Красный Крест взносы — как платят все страны — в помощь военнопленным.

В это время приезжает в США (из Чехословакии) старая приятельница А. Л. — Татяна Алексеевна Шауфусс, которая сделала для создания и ведения Толстовского фонда не меньше, чем Александра Львовна. Приходит мысль: сбор средств для красноармейских военнопленных в Финляндии.

Создается Толстовский фонд. Весь он состоит из стола в общей канцелярии какой-то организации. Первое пожертвование — 25 долларов. Помощь Сикорского, Бахметьева, Сергиевского (летчика). Деньги собраны — и отосланы продукты и прочее.

1941-й год. Война. Всюду нужда, всюду вопли о помощи.

Одна американка дарит свою усадьбу — 35—40 акров с двумя большими домами и несколькими маленькими — Александре Львовне.

И возникает «Ферма Толстовского фонда», в которой я сейчас живу.

Из Европы бегут, — война!..

Рахманинов, Андреева, Извольские — прибывают на ферму. Как-то их устраивают. Заводят огородное, молочное, куриное хозяйства. Все работают.

Скупают старые кровати, одеяла, столы. Кто-то жертвует. (Однажды пожертвовали две свиньи!)

Приезжают первые беженцы, часто ночью, после 7—9 дней в океане на пароходе. Даже в два ночи их встречает горячий ужин — иногда я привожу очередную группу — и чистая постель. Спустя несколько дней начинаем устраивать их на работу. Дети остаются в подобии интерната, идут в местную школу. Жена Владимира Михайловича Толстого, племянника бабы Саши, преподает английский язык.

Так и я приехала. На третий день пошла в уборщицы — няньки в американский дом. После первого жалованья перебрались в Нью-Йорк. Покинули ферму с маленьким долгом за еду, и в три месяца все выплатили.

Итак Толстовский фонд начал расти и расти. Десятки тысяч приехали через него: поляки, венгры, афганцы, евреи из СССР, румыны. А в первые годы (1950—55 гг.) русские.

Александра Львовна была по-толстовски проста. Просто одевалась. Очень крупная. Жила вместе с Татианой Алексеевной в небольшом домике на ферме, а по утрам на автомобиле рулит в Н.-Й. в контору. Пример простоты жизни — ее разговор с заведующей фермы, ее старым другом, Марьей Алексеевной:

— Марточка, у меня в диване выскочила пружина. Когда я ложусь, она давит мне на ребра.

— А ты, Сашенька, ляг головой на то место, где лежали ноги, и тогда, может быть, давить не будет...

Как-то А. Л. вызвала меня к себе (я работала в Н.-Й.), и мне пришлось там заночевать. В 11 вечера поднимается, берет фонарик и отправляется куда-то.

Я: Александра Львовна, куда?

Ответ: Должна проверить, не достал ли где-нибудь Иван спиртное. Он обычно напивается в это время. Пойду посижу с ним и не дам выпить.

Характер крутой — толстовский. Все переживается ею с жаром и пылом. Отклик на все.

Вот сейчас разбираю архив и сколько нахожу писем благодарности.

Была и еще одна незаменимая помощница, бывшая сестра милосердия Петербургской общины — Ксения Андреевна Родзянко.

Вот эти четыре женщины и тащили весь Толстовский фонд на своих плечах. И все четыре похоронены по желанию Александры Львовны на местном русском кладбище.

После смерти нашли у них жидкие сберегательные книжки, так как ВСЕ они отдавали нуждающимся. Жалованья не брали, жили на пенсию, полагающуюся каждому служащему...

Вот это — могики. Вот это — русская интеллигенция. Вот это люди с о в е с т и, понятие, уходящее из нашей жизни.

Теперь о Берберовой...»

О Берберовой я спросила у Дады, памятуя, как в одном из писем, адресованных Конисской, она восхищалась книгой «Курсив мой». Ей удалось прочесть эту вещь на двадцать лет раньше нас. В том же письме Дада писала, что была знакома с Ниной Николаевной. Пришла пора и нам восхититься графически четким, острым, умным пером Берберовой. Гумилев, Ахматова, Бунин, Набоков, Мережковские... И, конечно же, Ходасевич. И Максим Горький, — три года прожиты под одной крышей...

Весть о ее приезде в Москву, а затем в Ленинград обрадовала и поразила. Поразило и все, что мы уже знали о ней: профессор Принстонского университета «в отставке», продолжает писать, в свои восемьдесят восемь еще за рулем (!)...

И она приехала. Оживленная успехом в Париже, где была мимоездом, — там сделалась Берберова в моде и ее книги стали бестселлерами. Приехала в Россию спустя шестьдесят семь лет, молодо подстриженная, бодрая, энергичная, в клетчатом жакете и черных брюках... Благотворительные и просто литературные ее вечера в переполненных залах. Интервью. Встречи... Меня не было в те дни в Москве. Приехав, я еще застала здесь Нину Николаевну. Мне хотелось спросить

ее о Даде,— в самый день, когда Берберова улетала в Америку, я позвонила ей. (О моем телефонном звонке ее предупредили накануне.)

Было утро. Точнее, девять часов утра.

— У вас ко мне вопрос? Мы имеем полчаса... Нет, двадцать минут... Потом ко мне придут. Не будем терять время...

Тон деловитый, четкий.

Я спросила о Даде. Естественно, назвала ее полным именем.

— Лидия Владимировна? — воскликнула она. — Ну, как же! Где она? Что с ней? Я ее давно не видела. Она переехала, поселилась далеко... Я ей напишу. Там были холодные чопорные старухи, а она умница! Стопроцентная русская интеллигентка, причастная спасению утопающих... Ее сын Вова суховатый. Может быть, его экономика виновата? Ведь он экономист...

Мы поговорили еще о Вове, потом о Каверине, — она огорчалась, что не застала в живых Вениамина Александровича...

— Я особенно дорожу людьми моего поколения, — вздохнула она. — Их почти не осталось...

Она сказала, что в мае приедет опять.

В эту минуту к ней пришли...

Положив трубку, я еще сидела некоторое время у телефона, думая о Даде, о разной судьбе этих женщин, живущих вдали от Родины.

В памяти стояло: «Причастная спасению утопающих»...

«...Нина Николаевна Берберова работала некоторое время после приезда из Франции в Толстовском фонде. Когда материально немного обеспечила себя, ушла, чтобы подготовить себя к профессуре. Читала лекции в одном из самых престижных университетов Америки. Лекции по русской литературе.

Во время ее работы в Толстовском фонде мы сидели вдвоем в одной комнате и были очень близки (не душевно близки, но какой-то стороной). Она мне тогда очень много дала, эта встреча второй эмиграции с первой. То особая тема. Мы потом не виделись, но Вова и Эмма встречали ее на славистских съездах, всегда окруженную молодежью.

Я была очарована ею, хоть я и не поклонница ее манеры письма. В ее мемуарах много сарказма и упоминания некрасивых мелочей, о которых лучше бы помолчать...

...Вы пишете, что она собирается осенью приехать в Москву, и приглашаете меня.

Инночка!.. Мне до соседского дома дойти трудно. Лестница для меня страшнее, чем когда-то Эльбрус. До езды ли? Лишь бы можно было ходить по ферме — к людям, в библиотеку... Пока еще с палочкой бреду, счастлива и благодарю Бога за такую старость.

Все залито цветами, перед глазами краски, краски весны и лета. Кругом русская речь. Кругом люди разных судеб, разных уровней, разных интересов в прошлом. Но каждый из них человек, и я рада выслушать историю его жизни. Иногда это цепь непостижимых, непреодолимых препятствий, но все же преодоленных.

Желаю Вам и семье Вашей полного успеха во всем

Ваша Дада».

«Кругом русская речь...»

Внуки выросли. Один за одним ушли в небытие друзья. И она, отдав земные долги, припала к живому ключу родной речи с жадной, которую не утолить...

Старая женщина, русская до мозга костей, она бредет с палочкой по земле, подаренной когда-то русским щедрой Америкой. Бредет среди пестроты пышно расцветающей природы. Часто останавливается, чтобы отдышаться. Вспоминает. Ее воспоминания не потускнели, но они уже лишены той боли, что звучала когда-то в письмах: «...как вы ужасно далеки, и как нет никакой возможности уничтожить расстояние между нами»...



## II. Шульгин

«В античном греческом мире людей, которые не занимались политикой, т. е. общественным, а только жили личной жизнью, называли «идиотами». Это отнюдь не было бранное слово».

И далее: «...я совершенный «идиот» в греческом смысле».

Так пишет Василий Витальевич Шульгин в своей книге «Годы», выпущенной издательством АПН в 1979 году. Он утверждает, что политику ненавидел с детства, но судьба принудила его к ней. Тираж не указан: книга не предназначена для нашего широкого читателя. Время Шульгина, интерес к отечественной истории — а он занимает в ней определенное место — тогда еще не пришли. Подзаголовок книги гласил: «Воспоминания бывшего члена Государственной думы».

Мне удалось прочесть ее еще тогда. Для меня то была вторая книга Шульгина. Первую — «Дни» — подарили родственники-ленинградцы. Последняя — «Годы», — изданная после смерти Шульгина, тоже была подарена.

Это яркие книги талантливого человека, пережившего и вобравшего в себя, в свою память нелегкое время. Как сказал поэт:

Чем эпоха интересней для историка,  
Тем она для современника печальней...

Шульгин...

Человек, принимавший отречение от престола у последнего царя России. Думец, монархист, реакционер, поклонник Столыпина, издатель газеты «Киевлянин», известной своим не ду ш к о м даже национализма, а его д у х о м...

В двадцатом году он бежал из России вместе с отступавшей из Крыма белой армией. (Вторая книга Шульгина и называется «1920». В 1927 г. подобно книге «Дни» она вышла у нас в издательстве «Прибой», в ней автор обосновывает «белое движение», одним из основателей которого он был, пытаясь его обелить.) Он живет многие годы в Югославии, в стане Врангеля.

В октябре 1944 года наши войска вместе с югославскими партизанами освободили Сремские Карловыцы, где проживали Шульгины — он и его вторая жена Мария Дмитриевна, дочь генерала Сидельникова, с которой он познакомился на пароходе в дни бегства из Крыма.

В январе 1945 года он был арестован за активную антисоветскую деятельность и приговорен к длительному тюремному заключению. Отбывал он его в России, во Владимирской тюрьме. Освобожденный досрочно в 1956 году, он остается жить во Владимире. Сюда приезжает к нему жена.

Здесь, в этом древнем городе, суждено ему прожить на воле еще двадцать лет, — он умер 15 февраля 1976 года, на девяносто девятом году. Похоронить жену, которую он страстно любил. Душевная молодость, живость, юмор — очень часто над самим собой. К нему тянулись все. Его особенно тянуло к молодым. Для всех них, приходивших к нему помочь по хозяйству, написать под его диктовку письмо, он был Дед.

Он снялся в фильме «Перед судом истории».

Ему было тогда восемьдесят шесть лет. Эти съемки, свет юпитеров доконали его зрение. Он почти ослеп.

Я видела его в этом фильме дважды. Впервые — тогда, в шестьдесят пятом. Запомнился рослый, худощавый старик, державшийся очень прямо, стук его палки о ленинградские мостовые, высокомерный взгляд и тон, каким он разговаривает с Историком и старым большевиком Петровым. Осталось впечатление значительной личности, отнюдь не подсудимого (эта роль отведена ему в фильме, заложена в самом названии). С у д а не получилось...

Из переписки Дады с Надеждой Александровной Конисской.

«Декабрь, 12-е, 1965 г. Нью-Йорк.

...О новом фильме с Шульгиным мы здесь читали. У него к старости открылись глаза и он стал на все смотреть по-иному... Но все-таки для такой перемены должна быть огромная и болезненная переоценка. «И сжег я все, чему поклонял-

ся», — процесс мучительный, и, может быть, мудрость старости внесет в это достояние».

Сентябрь, 3-е, 71 г.

«Отвечу на Ваши письма относительно Вашего знакомого старика (Деда). Я немедленно пересылала выдержки из Вашего письма Аничке, которая в контакте с друзьями его сына. Она когда-то была на свадьбе и видела там внука. А сына его я не видела уже 15 лет.

Одиночество — вещь страшная. Может быть, самое страшное, что есть в жизни. Иногда люди ставят себя в такое положение, что к ним не хочется подойти. Напротив, хочется быть подальше.

Не нам судить. Каждый имеет на душе немало грехов. Есть предел старости, бедности, беспомощности, где всякие «уважаю-не уважаю», «обвиняю-приветствую» должны отойти на второй план, перед человеческим отношением»...

Октябрь, 22-е, 71 г.

«...Я горжусь Вами, что Вы еще полны пламенных чувств и желаний кому-то помочь — в данном случае Деду. Жаль его, конечно, очень. Но он сам ковал судьбу своими руками. Вероятно, это и привело к одиночеству. Сразу же перешлю части писем, относящихся к нему, Аничке, чтобы она передала дальше. Хотела написать «заинтересованным лицам», но по тому, что узнаешь, не уверена — заинтересованы ли они? Или что-то другое мешает проявлению активности?

Во всяком случае, каждая весточка пересылается».

Декабрь, 31-е, 71 г.

«Конечно, сын может прислать Деду все, что нужно. Если будете посылать размеры, то обмерьте все — в сантиметрах: и длину брюк, и объем талии, и длину рукава, и длину пиджака. А здесь переведут в наши меры».

Шульгин — личность неординарная и неоднозначная, он необычайно интересен сам по себе. Но вряд ли я стала бы писать о нем, если бы не его переписка с Надеждой Александровной, хранившаяся у родственников Конисской вместе с ее скромным архивом: аттестат, выданный ей по окончании Киевской женской гимназии в 1897 году, «Трудовая книжка» (в 1939 году ее отмечают как «удачницу» в Харьковском Юридическом институте и награждают денежной премией в «400 карбованців»), старые фотографии на плотной бумаге. И блокнот с телефонами и адресами. (Есть среди них и мой). На одной из его страниц — по-русски и по-английски — адрес Дмитрия Шульгина...

Трудно сейчас узнать, кто обратился к Надежде Александровне с просьбой разыскать сына Шульгина, живущего в Америке. Связь с ним была в ту пору прервана. Возможно, он переменял адрес и не спешил уведомить о том отца...

Надежда Александровна обратилась за помощью к Дезде, и та, в свою очередь, взялась за дело. Адресат был вскоре найден. Возобновилась переписка.

Впрочем, можно ли это назвать перепиской? Сын хранил молчание. Письма Шульгина к сыну Дмитрию были гласом вопиющего в пустыне. И напрасно ныне здравствующий в штате Алабама Дмитрий Васильевич Шульгин «выразил сожаление, что престарелого отца в свое время не отпустили к нему». (См. предисловие к вышедшей в 1989 году книге: В. В. Шульгин. «Дни», «1920»). В письмах Деда к Надежде Александровне Конисской находим другое:

15.VIII.71 г.

(...) «Очень хорошо, и я благодарю Вас, что Вы, хотя без моего разрешения, узнали адрес моих друзей, из которых старший болен.<sup>1</sup> Это единственное, что я о нем знаю. Наладившаяся переписка прекратилась. (...) Я пишу им, а до меня доходят только извещения, что мои письма получены.

Естественно, что меня все это очень огорчает. Хоть бы фотокарточки прислали, так и того нет. Если при Вашей помощи Вам удастся что-нибудь наладить, буду Вам бесконечно благодарен».

<sup>1</sup> Под словом «друзья» Ш. имеет в виду «сына и внука».

Имя — Шульгин — возникло в наших разговорах с Надеждой Александровной раньше, чем он появился в ее доме, — высокий, сухощавый старик в мятых, колокольом брюках. Почему-то именно его неглаженные брюки особенно шокировали ее. Образ, созданный в ее воображении, требовал собранности и опрятности, какой отличалась она сама в свои девяносто лет.

Их встрече предшествовали розыски сына, переписка, посылки — орехи, кофе, — которые Надежда Александровна отправляла ему во Владимир.

Думаю, что эта романтическая переписка скрасила поздний возраст обоих.

Серо-голубая ученическая тетрадь «в линейку». Каждая такая тетрадь — письмо. На странице уместается всего шесть-семь слов. Это те, что написаны им от руки, почти вслепую.

«13.VI.71 г.

Дорогая Надежда Александровна!

Только что получил Ваше письмо. Отвечаю. Пишу очень плохо, в чем Вы уже убедились. Читать не могу совсем. Ваше письмо мне прочли. Читавшая не все разобрала и, кроме того, очень спешила. Поэтому могут быть недоразумения.

Из них главное: Ваша фамилия Конисская?

Допускаю, что это так, т. е. что Вы Конисская, доказывает нижеследующее.

У меня была сестра Алла Витальевна Шульгина. Три подруги по гимназии, невесты, а именно:

1) Гладина Людмила Васильевна. Она меня, мальчика, иногда замечала.

2) Кончковская (Любка). Я ее видел, она меня — нет.

3) Высокая, красиво сложенная девушка. Веселая, как только могут быть полки, если только они не мечтательны и молчаливы.

Замечала ли меня нравившаяся всем студентам девушка, не знаю. Но знаю, что она, несмотря на мой мальчишеский возраст, мне очень нравилась.

И она была **Конисская**.

(...)

Так это Вы, дорогая Надежда Александровна? Если это Вы, то Вас шлет светлый призрак ранней юности моей.

Если же не Вы, то хотелось бы узнать, хотя бы вкратце, кто Вы?

Вот что могу Вам сказать. Я не... (слово неразборчиво. — И. Г.) это все живая оболочка.

Я несчастный старик. Поэтому в моей жизни играют большую роль сны.

Сестра моя, Алла, в последнее время часто и очень живо и интересно мне снится. (Умерла в 1930 в Югославии.)

Приснилась еще вчера. Мы встретились (во сне) в Киеве, в кондитерской Жоржа, Вам, быть может, знакомой. Она, сестра, снится мне молодой, такой, как она была, уже окончив гимназию. Она была в черном бархатном платье, на груди золотая цепочка с каким-то медальоном. Это все было мне знакомо, т. е. такой я знал ее наяву. Но все же в этой «сонной» сестре было что-то такое странное. Она хотела заплатить за кофе и пирожные, но продавщица сказала:

— Без очереди?

И отказалась принять деньги.

А сестра сказала:

— Они тут все ничего не понимают.

После этого она исчезла, т. е. я проснулся.

Я так думаю, что если сестра мне снится, то она мне пророчит (?) подругу юных дней.

Целую Ваши ручки...»

Это первое письмо Шульгина в ответ Конисской я привела целиком.

Оно служит как бы камертоном всей их переписке.

Комнату в Сокольниках украсили две фотографии Шульгина. На одной из них он в светлой летней шляпе с черной лентой и в светлой рубашке с отложным воротником. Седые усы еще лихо загнуты кверху, седая короткая борода а-ля Хемингуэй охватывает подбородок и щеки. Он сидит на садовой скамье, позади видны деревья. Возможно, снимок был сделан в Голицыне, где Василий Витальевич

с женой жили какое-то время в Доме творчества. Поля шляпы притеняют лицо, глаза. Здесь он еще красивый старик, и, должно быть, он не случайно подарил Конисской эту свою фотографию.

Зато на другой, более поздней, он без шляпы, в темном костюме, с кончиком белого платка над верхним карманом. В галстук. Голая, лысая — под ноль — голова, усы и борода разрослись и не столь ухожены, как прежде. (Да и белый кончик платка несколько мят). Но взгляд наполнен иронией, мыслью... Здесь Шульгин — тот, что появился однажды в старом деревянном доме в Сокольниках, на Остроумовской улице.

— Подумать только! — сказала мне потом Надежда Александровна. — Он считал, что мальчиком был влюблен в меня! А то была моя старшая сестра, Евгения...

Она сказала это с искренним, чисто женским негодованием. Как это ни невероятно, но между ними возникает чувство дружеской влюбленности. Им обоим за девяносто. Но их соединяет Киев, гористый, золотой. Годы молодости под общим, таким ослепительным тогда и горячим солнцем...

Шульгин пережил Надежду Александровну на несколько лет. Ее письма к нему не сохранились. Но из его ответов, иногда очень пространных, можно узнать тему их эпистолярных бесед.

Писем, написанных им самим, не так много. Под его диктовку пишут «секретари» — добровольцы, и орфография указывает степень образованности каждого. Впрочем, это не играет особой роли...

Ведь диктует-то Шульгин...

Судьба наградила его долгой жизнью... Во имя чего?

«Долголетие... Разве оно дается только для того, чтобы старик повторял слова молодого? (...) Дожить почти до ста лет и ничему не научиться? Разве я могу сейчас, имея белую бороду, говорить, как тот Шульгин с усиками?»

Это слова самого Шульгина. Он повторяет их дважды: в фильме «Перед судом истории» и в книге «Годы».

Мудрые слова...

Но многим ли будет отпущен столь долгий срок, чтобы отречься от себя самих? Отпрянуть, может быть, с чувством стыда и раскаянья...

Те «нынешние, с усиками», успеют ли они получить у судьбы отпущение грехов?..

Поздний Шульгин... Его письма. Но прежде надо вернуться назад. Прodelать вместе с читателем путь, которым прошла я от раннего Шульгина к этому позднему...

Всякая сложная личность сложна еще тем, что каждый волен трактовать ее по-своему. Находить и подчеркивать то, что ему наиболее близко.

Я многим обязана его книгам. «Важно быть участником события», — сказал поэт. Историческое время, описанное страстным, а потому не всегда объективным пером, дает больше уму и сердцу, чем точно выверенное повествование ученого-историка. Пусть в фотографии больше сходства, но в портрете больше подлинности. Ибо портрет передает с о с т о я н и е. Не только модели, но и художника.

Трудность моя заключается в том, что одни знают о Шульгине много, другие — почти или вовсе ничего. Нельзя, чтобы первые заскучали, а вторые — недопоняли, не оценили...

Он родился 13 января 1878 года в Киеве. Его отец, профессор истории Киевского университета, основатель реакционной газеты «Киевлянин», умер в самый год рождения сына. Именно он, Виталий Васильевич Шульгин, продолжит в дальнейшем дело отца, став после смерти своего отчима Пихно редактором «Киевлянина». В двадцать восемь лет он уже член Государственной думы. Вскоре после Февральской революции — член временного комитета Государственной думы.

2(15) марта 1917 года он вместе с Гучковым едет в царскую Ставку и принимает у Николая II отречение от престола. На другой день ему же предстоит принять отречение и у брата царя, Михаила Александровича, провозглашенного накануне императором Михаилом Вторым.

После Октября он среди организаторов контрреволюции, идеолог интервенции. А в годы гражданской войны один из основателей Добровольческой армии, сподвижник Деникина, Врангеля.

После разгрома белых в 1920 году бежал в Югославию.

Эмиграция, скитания — Франция, Польша, опять Югославия...

Зимой 1925—26 годов он приезжает в Россию в поисках одного из сыновей, Вениамина. По фальшивому паспорту посещает Ленинград, Москву, Киев...

Вернувшись, пишет книгу «Три столицы», возмущившую многих эмигрантов неожиданным выводом: «Я думал, еду в умирающую страну, а я вижу пробуждение мощного народа».

Шульгин сложен. Часто противоречив.

Бывший вождь русских националистов, он признается в книге «Годы»:

«Уже в эмиграции я увидел изнанку всякого национализма». Во время второй мировой войны он не примкнул к Гитлеру, не видя в нем, подобно некоторым, «освободителя» России от Советов.

Можно ли назвать его черносотенцем? Безусловно, он был таковым во многих своих выступлениях, печатных и устных. Но он же выступил в защиту Бейлиса на всемирно известном процессе в Киеве. Выступил решительно, обвиняя в предвзятости высшую киевскую прокуратуру.

То было нашумевшее дело. Сам Шульгин сравнивал его с «Делом Дрейфуса» во Франции.

Приказчик, еврей Бейлис был обвинен уголовниками из притона некой Веры Чибиряк в убийстве русского мальчика Андрюши Ющинского «в ритуальных целях». Два с половиной года длилось расследование этого «дела».

В книге «Годы» Шульгин пишет:

«Решительный день приближался. Всего по делу было вызвано 219 свидетелей и 14 экспертов. Неудобные обвинению свидетели бесцеремонно отстранялись. (...) Не только Россия, но и Запад напряженно следили за ходом этого грандиозного процесса.

Но спасти честь русского имени перед лицом всего мира, спасти невинно пострадавшего должны были двенадцать человек присяжных заседателей, состав которых тоже был соответствующим образом подобран.

(...) в деле Бейлиса из двенадцати человек девять учились лишь в сельской школе, а некоторые из крестьян были вообще малограмотные.

(...) Но именно на это и рассчитывали организаторы процесса. Они были уверены в победе».

25.IX (10 октября) суд над Бейлисом начался.

В. Г. Короленко пишет:

«Мимо суда прекращено всякое движение. (...) На улицах наряды конной и пешей милиции (так в тексте. — И. Г.). В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно у Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки сгущаются среди тягостного волнения.

Становится известно, что председательское резюме резко и определенно обвинительное.

Но вот присяжные после обвинительной речи и после протеста защиты покинули зал. В ожидании их решения настроение в зале еще более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан.

Внезапно физиономия улицы меняется (...) Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно у собора теряет свое значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще более подчеркивает значение оправдания».

Так пишет Короленко. (Шульгин. «Годы», с. 135).

Приведя в своей книге эту цитату, Шульгин подхватывает и развивает мысль писателя:

«Радость и ликование охватили редакцию «Киевлянина», пострадавшую вместе со многими своими единомышленниками за это время. 29 октября (11 ноября) 1913 года я писал в № 298:

«Несмотря на то, что было сделано возможное и невозможное, несмотря на то, что были пущены в ход самые лукавые искушения, — простые русские люди нашли прямую дорогу. (...) когда мы думаем о том, что простые русские люди, не имея возможности силой ума и знания разобраться в той страшной гуще, в которую их завели, одной только чистотой сердца нашли верный путь (...), — с радостью и гордостью бьется наше сердце.

Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа!

Им — бедным, темным людям — пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кого нет доброго и злого, а есть только выгода или невыгода политическая.

Им, этим серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасти чистоту русского суда и русского имени.

Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо старому Киеву, с высот которого свет опять засверкал над всей русской землей!» («Годы», с. 136).

Националист, черносотенец сомкнулся с прогрессивным писателем в торжестве справедливости.

Есть люди и нелюди. Истину заменяет для вторых, по словам Шульгина, «только выгода или невыгода политическая».

Шульгин пострадал за свои взгляды. Ему в вину поставили конфискованный полицией номер «Киевлянина» с передовой Шульгина. (Шел третий день процесса над Бейлисом).

20 января (2 февраля) 1914 года его судили в Киеве и приговорили к тюремному заключению «за распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах». (Имелась в виду Киевская прокуратура).

Но тут началась первая мировая война. Он добровольно вступил в армию, получил ранение. Да и по закону без согласия Думы ее депутата не могли подвергнуть аресту.

Спустя год, день в день, 20 января (2 февраля) 1915 года, Шульгина разыскал вестовой в развалинах городка Тарнова.

Он вспоминает элегически, как за темными окнами усадьбы качались ели, ему было грустно, слышались звуки вальса:

Теперь зима, но те же ели,  
Тоскуя в сумраке, стоят...

«Вдруг я увидел автомобиль, с трудом пробивающийся сквозь сугроб. В ту войну не все имели машины. Ехавший, знать, был «кто-то»! И в такую погоду! Очевидно, по важному делу и притом к нам».

Прибывший полковник протянул ему бумагу.

«Я прочел: Объявить Шульгину В. В., редактору газеты «Киевлянин», что государю императору на докладе министра юстиции угодно было начертать:

«Почитать дело не бывшим».

Шульгин пишет далее:

«Почитать дело не бывшим... Греческая поговорка гласила: «И сами боги не смогут сделать бывшее не бывшим».

Но то, что не удавалось греческим богам, было доступно русским царям».

Убежденный монархист, он никогда не забывал о царской милости, оказанной царем лично ему. Вспоминает о ней он и на закате жизни в письме к Кониской от 19 апреля 1972 года.

Мемуары Шульгина служат нам пропуском на заседания Государственной думы. Родзянко, Пуришкевич, Милоков, Витте...

Павильон министров в Таврическом дворце. Полуциркульный зал со стеклянной верандой, — она завешивалась зеленой бархатной шторой, чтобы министров, идущих заседать, не было видно снаружи, из Таврического сада. Боялись покушений...

В живописной портретной галерее думских деятелей, изображенной Шульгиным, выделяются двое — Столыпин и Николай II. Неравнодушным пером описывает о обоих. В какой-то степени они оба герои единой драмы, из которой не суждено никому из них выйти победителями.

Вот как описан Петр Аркадьевич Столыпин:

«Был ли он красив? Пожалуй... внушитель, одет безукоризненно, но без всякого щегольства. (...) Его речь плыла как-то поверх слушателей (...) Он говорил для России. Это подходило к человеку, который если не сел на царский трон, то при определенных обстоятельствах готов был его занять. Словом, в его манере и облике сквозил всероссийский диктатор».

Шульгину нравились смелость Столыпина, бесстрашие. То, как он, будучи саратовским губернатором, подавил мужицкий бунт; скинул с плеч николаевскую шинель и бросил тому, что шел на него с дубиной, сказав: «Подержи!»

Воистину сцена для кинематографа... Как и та, в театре, когда смертельно раненный Столыпин успел повернуться к царской ложе и послать прощальный жест... Но, отдав дань Столыпинской реформе — земельной и его идее освоения Сибири с помощью переселенцев, поздний Шульгин в книге «Годы» делает жесткий вывод:

«Авторитет наследственной монархии падал не только в России. На помощь ему выступили «вожди», и, иначе сказать, нарождающийся фашизм».

Шульгин вспоминает в связи с этим высказыванием Муссолини. И добавляет:

«...я полагаю, что предшественником его был Столыпин».

Сейчас о Столыпине много пишут. Называют его выдающимся государственным деятелем. Конечно, он был незаурядной личностью. Но это ли влечет к нему экстремистов? Они предпочитают не вспоминать о «стольпинских галстуках», как называли в России виселицы в годы лютой стольпинской реакции (так оценивает эти годы Солженицын в «ГУЛАГе»).

Мы вкусили «вождей» и их кровавого произвола! Не по нему ли скучают сейчас иные новоявленные «стольпинцы»?

Сильный Столыпин и слабый царь... Интересно, что, ценя в первом силу, Шульгин даже как бы любит слабость второго... Во всяком случае, не осуждает ее. Николай II вызывает в нем сочувствие. Может быть, сожаление...

По словам Шульгина, императрица Александра Федоровна не любила Столыпина за то, что он «как бы заслонял от народа царя — ее супруга». Язычительная, обладавшая талантом рисования карикатур, она изображала мужа в уборе XVII века в виде безвольного царя Федора Иоанновича с его знаменитым: «Царя я или не царь?!»

Находя это на своем столе, Николай Александрович только посмеивался. Шульгин и это ставит царю в заслугу. Но он не намерен прощать другим насмешки над своим кумиром. В книге «Годы» читаем: «...цари живут в стеклянных дворцах. Всё, что делается в их стенах, становится сейчас же известно. И столица тоже смеялась над самодержавным царем, но далеко не добродушно. И это было грязно. (Разрядка моя. — И. Г.). Брюзжащий Санкт-Петербург называл царя «наш царскосельский полковник». Полковник потому, что после смерти Александра III никто не мог произвести Николая Александровича в генеральский чин».

Однако!.. Царь, могущий своей волей «сделать бывшее не бывшим», чего не могут «сами боги», лишен возможности произвести себя в генералы. Вступает в силу закон. И тут хочется остановиться. И отдать дань букве закона... Кого бы этот закон ни касался.

Принятие отречения от престола у Николая II осталось для Шульгина на всю жизнь одним из самых сильных переживаний.

Это случилось 2 марта 1917 года. Спустя десять лет после того, как день в день, 2/15 марта 1907 года, в зале заседаний думы рухнул потолок. Шульгин связывает это событие с крушением монархии, считая его грозным предвестием.

— Я хотел, чтобы отречение было дано монархисту, — поясняет он спустя много лет в фильме «Перед судом истории». Посмотреть этот фильм еще раз, увидеть живого Шульгина после знакомства с его книгами и перепиской последних лет его жизни... Я ощутила это как острую необходимость.

С помощью Игоря Гелейна, видного кинодокументалиста, с которым наша с Ваншенкиным семья связана творчески и уже просто дружески долгие годы, мне это удалось.

Небольшой просмотровый зал. Режиссерский пульт с подсветкой, — ее можно включить, если нужно сделать пометку, запись. Впереди — экран. Возникают титры: название фильма, имена его создателей, режиссера, сценариста...

Из вагона «Стрелы» выходит Старик. Ему восемьдесят шесть лет. Он высок, прям, сухощав. Светлая шляпа. Плащ. Палка стучит об асфальт тротуара, о старую брусчатку мостовой... Он не был здесь без малого сорок лет. И вот, почти живьём спустя, его первая встреча (с Петербургом? с Петроградом?) с Ленинградом.

Мешки под глазами. Глубоко сидящие небольшие глаза. Еще красивые руки в старческой крупке. На среднем пальце обручальное кольцо. В сопровождении Историка Старик посещает полуциркульный зал Таврического дворца, где когда-то заседала Государственная дума. («Наш российский парламент», — говорит Шульгин.) Зал наполнен тенями. Идя по рядам, меж массивных кресел, он находит свое место. Садится. Погружается в воспоминания...

Шульгин блестяще играет Шульгина.

Суховатая ирония, иногда гнев, порой стариковская досада. Он рассуждает умно...

— Вы историк, вы должны быть справедливы. Вы всех (эмигрантов. — **И. Г.**) мажете черной краской...

О кладбище Сент-Женевьев де Буа:

— Здесь хоронили иллюзии...

Императорский салон-вагон. Стены, обитые зеленым шелком. Неяркий свет. Маленький четырехугольный столик, пустые стулья...

— Роковое второе марта, — говорит Шульгин. — Никого уже нет... Этот несчастный государь был рожден на ступенях трона, а не для трона...

Он вспоминает, как это было.

— Жестом государь пригласил нас сесть, — рассказывает Шульгин. Он показывает места за столиком: Государя, свое, Гучкова... — Говорил Гучков и очень волновался. (...) Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо. (...) Единственное, что, мне казалось, можно было прочесть на его лице: «Эта длинная речь — лишняя...»

Уже после отречения — царь отрекся в пользу брата, великого князя Михаила Александровича — состоялся навсегда памятный для Шульгина разговор.

«Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним в глубине вагона (...) Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие. (...) И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?»

Но не обошлось. Отрекся от власти и Михаил.

«Я не был дома пять суток. За это время я присутствовал при отречении двух государей», — заключает Шульгин.



Но отвлечемся на миг. Голос истории полифоничен. Послушаем другого «думца», другого оратора.

«Речь министра иностранных дел П. Н. Милюкова» (по телеграфу).

Петроград. 2 марта (официально).

Отрывок из речи Милюкова, произнесенной в Екатерининском зале Государственной думы. Речи, обращенной к солдатам и морякам:

«Мы присутствуем при великой исторической минуте. (...) Русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство рухнуло в грязь, с которой сроднилось. (...) Как произошло то, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история? Это произошло потому, что история не знает другого правительства, столь глупого, столь бесчестного и столь трусливого и изменнического, как это ныне низвергнутое правительство, покрывшее себя позором и лишившее себя всяких корней симпатии и уважения, которые связывают (...) сильное правительство с народом».

Речь Милюкова не раз прерывается «бурными аплодисментами».

И вот опять просмотрный зал. Фильм о Шульгине. Ленинград. Эрмитаж. Дворцовая площадь после дождя. Исаакиевский собор.

Пустынный город в таинственном свечении белой ночи, оживленной на миг лишь белыми — тоже белыми — платьями выпускниц — отзвуком последнего школьного бала.

И вновь ночная тишина. Глубокий старик, сидя в плетеном кресле на набережной Невы, пьет кофе из термоса.

Нет, он не изменил себе. Он изменился сам, ибо «старик с седой бородой не может говорить, как тот Шульгин с усиками». Жизнь сделала его мудрей. Он умеет взглянуть со стороны и на себя самого. И на время. В своих признаниях в фильме он остается честным.

— Уэллс полагал, что коммунисты мечтатели, а мы их просто ненавидели, — говорит он, вспоминая двадцатые годы.

Он сидит, сжав руки. Опустив на них голову... Он устал от воспоминаний. Принимает таблетку, запивая ее водой из сифона...

Но ирония не покидает его. И на слова Историка о том, что у нас в стране соблюдаются закон и справедливость, следует язвительное:

— Всегда ли?

Ему предстоит еще встреча в Москве со своим «оппонентом», старым большевиком Федором Николаевичем Петровым.

И вот уже Москва. Кремлевский двор. Соборы. Царь-пушка. В Кремле идет съезд. Старый большевик, головастый, плотный, со звездой Героя на пиджаке, хорошо нам знаком: он украшение торжественных президиумов, почти уже реликвия. Ведь их уже почти не осталось: одни умерли, другие смяты, истреблены в тридцатые годы... В годы, когда самое звание старый большевик было уже почти обвинительным заключением. Но Федору Николаевичу выпал счастливый жребий, и он представлял теперь старую гвардию, как какое-нибудь уцелевшее дерево представляет вырубленную реликтовую рощу.

Они встретятся в вестибюле Дворца Съездов в перерыве между заседаниями. Два врага. Шульгин и Петров. (Эта сцена явно замыслена режиссером как кульминация фильма).

Петров напомнит Шульгину о том, как в 1905 году в Киеве Шульгин командовал усмирением восставшего полка. Петров был тогда ранен.

— Пуля сидит здесь до сих пор, — скажет он теперь, похлопав себя по груди.

И Шульгин церемонно, с легким поклоном, принесет ему извинение. После чего звонок известит об окончании перерыва.

Аудиенция закончена.

— История памятлива, — говорит Петров и мелкими шажками спешит в зал на заседание.

Шульгин, стукнув палкой об пол, идет через пустой вестибюль. Так кончается фильм.

В предисловии к книге «1920» Василий Витальевич Шульгин пишет:

«Невозможно... пока и интимное изображение нашей жизни, т. е. как мы любили, ненавидели, страдали, радовались — ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут или поймут вкривь и вкось, как это они всегда делают...»

Переписка Василия Витальевича Шульгина с Надеждой Александровной Конисской, начавшаяся в июне 1971 года, длилась около двух лет. Она позволяет нам ближе узнать позднего Шульгина. Понять, как этот глубокий старик «любил, ненавидел, страдал, радовался» на закате своей долгой жизни. Оценить его ясный ум, самоиронию, все те качества, которые влекли к нему людей всех возрастов. Он отдавал предпочтение молодому поколению не только потому, что эти юноши и девушки опекали его. Он был для них живой историей. Они любили его слушать, а он любил и умел рассказывать... Мне кажется, в нем постоянно жила потребность исповедаться... Отсюда и книги его. И рассказы о прошлом. Его письма, адресованные Конисской, написанные от руки или надиктованные, длинные, величиной в школьную тетрадь, или короткие, тоже сродни исповеди.

Но уже перед своей сверстницей, а значит — своим временем. В них его прошлое и настоящее, его быт, его окружение, его сны...

Снам Василий Витальевич придавал особое значение. Искал им толкование, иные записывал.

В одном из писем его читаем:

«...и еще записываю сны. Сны бывают интересные. Например, сегодня приснилась 8 лет девочка. Она пела, как ангел. И слова были замечательные.

И когда я спросил: «Как тебя звать?» — она ответила:

— Кручинушка.

Ей сказали, что такого имени нет.

Она ответила:

— И меня нет, а я твоя, дедушка, кручинушка...

Как такие сны не записывать? Ведь забудется. Сейчас во всем мире большой интерес к снам. Если люди пишут дневники о том, что происходит днем, т. е. наяву, то почему не записывать снов, т. е. некий язык ночной жизни в течение восьми часов в сутки.

Пока что я имею эту возможность».

Конечно, не только возраст сближал этих старых людей, но и интеллектуальное равенство. Корни обоих принадлежали кругу киевской профессуры. Это давало ощущение родственности душ, доверия...

«27 июня 71 г.

Дорогая Надежда Александровна!

Ваше письмо от 24 июня получил сегодня, 27-го июня, и очень Вам признателен. Сейчас я диктую не Кате Зубаревой, а молодому господину, приехавшему сегодня меня навестить.

(...) Т. к. сегодня день смерти моей покойной жены, то мы были сегодня на кладбище, которое далеко (11 км), — почему взяли такси.

Мария Дмитриевна, моя покойная жена, вот уже три года (как) умерла от рака, о чем позже.

Т(аким) образом я уже почти три года живу, как могу, один. Но вышеупомянутая Катя Зубарева (живет в соседнем подъезде) приходит ко мне два раза в день. Кормит, купает, стирает и даже читает письма, а иногда и пишет под мою диктовку. Плачу я ей скромно — за всю работу 40 р. в месяц, а на питание уходит 45 р. Затем всякие мелкие расходы и, наконец, рубрика «на женщин». Под «женщинами» понимаются хороший нищий, которому даю рубль в неделю, — трезвый, и плохой нищий — пьяница, которого гоню.

Таким образом, я ответил на Ваш вопрос, кто и как за мной ухаживает.

(...) Я получаю пенсию в размере 125 рублей в месяц. По вычете расходов остается мало денег, чтобы куда-нибудь поехать.

А моя книжка «Годы» никак не может выйти, и потому за исключением аванса, который давно истрочен, я от своей литературной работы пока что прибылей не имею.

Все же я очень много пишу. «Годы» давно закончены. Но у меня поселился некий Авксентий Иванович Поприщин. Возьмите, пожалуйста, произведение Гоголя «Записки сумасшедшего», первый раз помещенные в сборнике «Арабески».

Вот этот Поприщин, хотя он невидим в качестве духа, но хорошо слышим, когда он диктует мне свои произведения. Я, совершенно лишенный воли человек, пишу и пишу.

И знаете до чего это дошло?

До того, что на суде, куда я был вызван в качестве свидетеля, один (одна) из судей спросила меня о Поприщине, а именно — как записки Поприщина попали к подсудимому.

Я ответил:

— Точно не знаю, но думаю, что по почте.

(...) Сейчас он (Поприщин.— И. Г.) диктует мне мою же собственную балладу, которую я написал в те времена, когда моя сестра Алла, вероятно, еще виделась с Вашей сестрой, с которой они вместе учились.

(...) С некоторого времени моя сестра Алла Витальевна часто мне снится. (...) В этих снах она старается мне помочь в моей теперешней жизни наяву, как может и умеет. К этому она приспособила и свою дочь, мою племянницу, Таню, которая жива до сих пор, но приходит ко мне во сне.

Наконец, моя сестра Алла Витальевна взяла себе в помощницы некую когда-то молодую, но давно умершую замечательную особу, которую будем называть сокращенно «Хаджи». «Хаджи» обозначает человека, побывавшего у магометанской святыни, т. е. у камня Кааба. Он, как известно, прилетел из космоса в незапамятные времена и рухнул в пустыне.

Но звание «Хаджи» применялось и к тем христианам, которые побывали у гроба Господня в Иерусалиме. Так вот моя сестра Алла (явно магометанское имя), взяв в помощь вышеупомянутую «Хаджи», указала мне ее адрес: Киев, Тарасовская ул., 22—22.

Я (во сне) побывал там, нашел дом и нашел «Хаджи» в том возрасте, когда она умерла, т. е. 34 лет.

(...) мы с ней начали вспоминать былое, и тут я проснулся.

Думаю, что никакого дома нет на Тарасовской и нет там «Хаджи», но совершенно уверен, что все это дело рук Аллы Витальевны, старающейся с того света меня подбодрить и утешить.

Утешить — для чего?

Для какого-то большого дела, которое я будто бы совершу, когда придет время, что будет не так скоро.

Конисскую, т. е. Вас, прислала также мне Алла Витальевна, хорошо понимая, что мне это приятно, а быть может, необходимо (разрядка моя.— И. Г.)

«...я Вам расскажу немного о Марии Дмитриевне. (...) Она уже болела полтора года, но мне врачи сказали за месяц до смерти.

Но это второй рак. Первый был у нее в Будапеште, куда она попала в конце 40-х годов. Там ей сделали очень внушительную операцию.

(...) Затем она почти сказочно выучила очень трудный венгерский язык и стала преподавать русский язык под покровительством общества Русско-венгерской дружбы. Стала хорошей преподавательницей и хорошо зарабатывала. (...) Затем работала секретарем у директора завода «Сименс», перешедшего в советские руки. И это длилось только некоторое время. (...) Ее посадили за станок, но руки, не привыкшие с юности к этой работе, не могли это вынести.

А тут разразилось венгерское восстание. Русским стало опасно пребывание в Будапеште, и тогда Марию Дмитриевну перебросили во Владимир на Клязьме и я с ней увиделся после двенадцатилетней разлуки. (...) Жили мы в доме инвалидов, который она плохо переносила. Затем нам дали квартиру во Владимире, были поездки на Кавказ. Она даже добралась в Абастуман, где ее очень хорошо

приняли, т. к. ее отец Дмитрий Михайлович, инженер, построил там, в Абастумане, дворец для Вел. князя Георгия Михайловича. Он, Великий князь, влюбился в красивую грузинку (по мужу Бебутову), но погиб на мотоциклетке.

В Абастумане все это очень хорошо помнили, и там Мария Дмитриевна очень расцвела, и это была ее лебединая песня.

Когда я с ней увиделся после Абастумана, я после многих лет вновь услышал смех из ее уст, который когда-то звучал и был совершенно исключителен. Когда она так смеялась — все смеялось вокруг.

Но смех исчез. Слез не пришлось на смену смеху, но пришли стоны...

Я держал крепко голову ее в руках, и она успокаивалась, дыхание становилось ровным. Но в конце концов это ровное дыхание прекратилось. Так что точно известна минута, когда она умерла: 1968 г., 27 июля, 5 ч. 30 минут.

Кончилась тетрадка, значит, надо кончать письмо.

Целую Ваши ручки.

Пишите, когда можете.

В<sup>3</sup>

(В<sup>3</sup> — это значит Ваш Василий Витальевич)».

Я привела это письмо почти полностью.

Согласитесь, оно стóит того. Подобное письмо не могло быть адресовано человеку чужом у, а только близкой душе, обретенной после долгой разлуки.

Писем много. И там, где это возможно, ограничусь лишь выдержками из них, соблюдая хронологию и стараясь не упустить существенное.

15.VIII — 71 г.

«Теперь о другом. О хлебе насущном. Больше сорока лет я вегетарианец. (...) Орехи имеют питательность, близкую к салу. (...) Во Владимире этого сейчас нет. Если Вы мне пришлете что-нибудь, только немного, буду Вам признателен.

Равным образом кофе, легко растворимый, и еще пастила яблочная и рябиновая.

Боюсь, что Вы просто испугаетесь моих нахальных требований. Вашу племянницу буду ждать с нетерпением. Только в феврале месяце будущего года приглашен в Ленинград, но это так далеко, что рассуждать об этом всерьез нельзя. Не помню, писал ли я Вам, что меня тут обокрали.

Взяли вещи, не имеющие большой рыночной стоимости, но мне очень дорогие. И еще полное разочарование в человеке, который три года назад был мне близок».

«Дорогая Надежда Александровна!

Надеюсь, Вы в полном здравии встретили октябрину в ноябре (...) А меня так угостили мои друзья, что ночью был кошмар. Да такой тяжелый, что не хочу Вам рассказывать. Но поговорка говорит: «Праздничный сон до обеда сбывается». Обед прошел, ничего грозного не случилось. Вы спрашиваете, был ли я на концерте симфонического оркестра. Нет, я был на фестивале комсомольско-молодежной песни. Было интересно. Усилитель этого зала стоит 830 рублей. Поэтому все певцы были Шаляпины и Карузо.

Вы спросите, конечно, при чем же тут 94-летний старик? На это Вам ответить не могу, потому что не знаю. Словом, в моей квартире появился человек средних лет (...) Он объяснил, что молодежь крайне интересуется тем, как относится старое поколение к усилиям молодого, которое культивирует русскую песню.

Минут 20 он убеждал меня, что это совершенно необходимо. Наконец, я согласился и спросил:

— Когда начнется сеанс?

Он ответил:

— Через 40 минут.

Я лежал в постели не одетый, не умытый и еще безучастный. Кроме того, требовалось вызвать такси. (...) все устроилось, и я очутился на удобном кресле

в проходе. Тотчас меня стали фотографировать со всех сторон, хотя никаких знакомых у меня не было. Началась русская песня... (...) Благодарю Вас за попытку наладить переписку с близкими».

Письмо Коли Коншина, друга и «секретаря» Василия Витальевича, адресованное Н. А. Конисской:

«Дорогая Надежда Александровна!

Очень приятна Ваша забота о В. В. Таких, как Вы, почти нет. Все, кто бывает у В. В., стремятся что-то «выкачать» из В. В. и совершенно не думают о его здоровье.

Мне В. В. как родной дедушка. Еще мой умерший отец был в дружбе с В. В., через него и я.

Я стараюсь делать все возможное, чтобы последние годы В. В. не были мрачными и тяжелыми.

С уважением к Вам

Коля.»

15 марта 72 г.

«Дорогая Надежда Александровна!

Сто тысяч лет Вам не писал (...) Я жил в разных местах это время, не всегда благополучно, и наконец возвратился во Владимир. Тут я иногда болею, но до сих пор всегда выздоравливал. Только ходить не могу, поэтому сижу взаперти без кислорода.

Но в конце концов придет весна с ее благодетельными последствиями. Однако и это гадательно. Весною старики болеют.

Сижу, а то больше лежу и скулю и злостно думаю: вот скоро состоится поговорка: «Один, как Шульгин».

Но ведь судьба хоть и индейка, и насмешница, но иногда смеется по-доброму.

Например, сегодня трах-тарарах — семь гостей. Один другого лучше, все молодые люди, мальчики и девочки. Смех и веселье, а на закуску очень серьезное письмо, из которого, что будет — никто не знает.

Затем опять будет пустота...»

«Получил Ваше письмо и благодаря любезности Коли отвечаю немедленно.

Поэтому сперва о нем. Коля существует и даже многообразно. У него хороший, сильный голос. Пока что петь ему запрещено. Но в будущем он запоет, и потому неизвестно еще сейчас, по какому пути пойдет его артистическая деятельность...

Теперь о Вас. Ваши болезни упорные, и это очень плохо. Но от меланхолии очень хорошо то, что Вы сейчас делаете. Разбор Толстого — «Что такое история», «Что такое власть», как понимать слово «герой» — невероятно интересен.

Мне вспоминается рассказ, кажется, Гаршина, под заглавием «Трус». Там говорится, что одного человека обозвали Трусом за его отвращение к убийствам в штыковом бою. Наступила ночь, между окопами лежало много недобитых раненых. «Трус» пополз и под огнем противника вытаскивал этих раненых. И тогда его прозвали Героем.

«Все относительно», — сказал один камень, я разумею Эйнштейна (...).»

«Я в восторге, что Олег хочет ко мне заехать. Я его очень люблю. Кроме того, узнал, что у него завелась моторная лодка (...) если бы он подхватил меня в свою моторку, когда отправится в путешествие, то вопрос о моем летнем отдыхе был бы счастливо разрешен...

(Вспомним, что Шульгину в ту пору 95-й год!).

...Таким образом я с Олега переехал на себя по своему крайнему эгоизму. То же отвратительное качество заставляет меня мучить Колю для постройки невиданных гуслей. Эгоистично тоже с моей стороны есть сливки, сдобренные со сметаной, и разные другие «пански вытримбасы».

Як бы мене гроши,  
Як у того пана,  
Я соби купив бы  
Жовтого жупана

Ив бы сало и чеснок,  
Усякие ковбасы,  
Надався памушок,  
Панських вытримбасив.

Целую Ваши ручки.  
...Пожалуйста пришлите (свой) портрет».

19 апреля 1972 г.

«Под мою диктовку пишет небезызвестный Вам Коля. Я продолжаю безумствовать в смысле писания всякой чепухи. Заглавие огромной поэмы в стихах таково: Маримон, цукроварня, друкарня». Даже заглавие свидетельствует о ненормальности автора. Ведь ни один человек во Вселенной, даже Мессинг, не сможет объяснить значение этой кабалы. А вот я Вам сейчас объясню.

Маримон — это большая вальцовая мельница в четыре-пять этажей. Не знаю, употребляется ли это слово где-нибудь, кроме Волыни. Но и там не знают, откуда оно происходит (...).

Теперь — «цукроварня». (...) «Цукор» — «сахар» по-немецки. «Варня» — славянский корень от слова «варить». По-русски это просто «сахарный завод», основанный в 1913 году моим отчимом Дмитрием Ивановичем.

Заложено он был в апреле. А 29 июля того же года отчим скоропостижно умер от грудной жабы.

В поэме объясняется, что за много лет до его смерти проходившая в наших местах цыганка умоляла его, чтобы он продолжал строить м а р и м о н ы, не строил цукроварни: «Начнешь строить, барин, умрешь!»

Эта же цыганка (или другая?) уже на моих глазах укротила трех псов, которые могли разорвать ее в клочья. (...) бросившись на нее, псы легли на животики и стали ползать у ее ног, причем пищали, как маленькие щенки.

К этой цукроварне некие дрянные люди пристегнули дело Бейлиса. Это ускорило смерть Дмитрия Ивановича, а меня втянуло в яростный бой, оправдавший Бейлиса, но меня засудивший на три месяца в тюрьму. (...)

Теперь о «друкарне». «Друк» — опять немецкое слово. Оно означает давление, в данном случае — тиснение, т. е. типографию. В переносном смысле — вообще печать.

Печать хотели заставить молчать, но это не удалось. Номер «Киевлянина» был конфискован, но стал известен не только всей России, но и во всем мире.

Теперь Вам ясно, какие трудности я преодолеваю, чтобы втиснуть этот материал в рифму и размер.

(...) Если Вы непременно хотите мучить себя и Ваших родственников послылками, то пришлите мне, пожалуйста, гречневой и пшенной крупы по 1 кг.

Целую Ваши ручки и пламенно желаю Вам здоровья.

Искренне Ваш В. Шульгин».

Письмо, адресованное племяннице Конисской, Е. И. Малиновской:

«2.IX.72 г. Владимир.

Дорогая Евгения Иоанникиевна!

Сегодня получил Ваше письмо. Благодарю Вас очень. Передайте, пожалуйста, Надежде Александровне, что просто меня ужасно огорчает, что нет около нее постоянно кого-нибудь, и так она может (упав.— И. Г.) часами лежать на полу больная.

Трогает меня, что в таком своем состоянии она думает о том, есть ли у меня орешки и пастила.

(...) Я последнее время тридцать семь дней жил в Ленинграде. Там меня тоже баловали. (...) Так что неизвестно, за что меня балуют люди, которых я не балую. Разве что рассказами, которых за 95 лет жизни набралось достаточно.

Пишет Вам под мою диктовку не Коля, а о. Варсонофий. Он меня иногда навещает и увещевает потому, что я — великий грешник.

А Коля находится сейчас в Москве, он поступил в какой-то театральный институт.

(...) Мой самый большой грех, что я, будучи глубоким старцем, люблю молодежь.

Калигула говорил, что он хотел бы, чтобы все человечество имело одну голову, чтобы отрубить ее сразу. А я бы хотел, чтобы человечество имело одну голову, дабы мог облобызать ее сразу.

(...) Искренне Вам преданный В. В.»

В тот же день.

«Дорогая Надежда свет Александровна!

Ну как же Вы это так себя плохо ведете? Берите пример с меня окаянного. «Жив курилка» — так про меня можно сказать. Я не курю и этому приписываю свое относительное здоровье.

Оно переменно (...). Иногда я не могу ходить по улицам, а иногда брожу свободно, как, например, в Ленинграде, где я ходил в порт. И там наслаждался ветром с моря. В порту стояли океанские корабли и иногда белели парусные яхты, белые чайки, и тогда в моем сердце просыпалась черная зависть. Вот еще грех великий.

Мой младший сын, которому сейчас 67 лет, унаследовал от меня любовь к парусам, совершенно устаревшая страсть.

Ничего не получаю от него, а мои письма он получает. Очевидно, ветер дует только в одном направлении.

Итак, я был больше месяца в отсутствии, теперь, по-видимому, застряну во Владимире надолго.

Меня посещают иногда друзья. (...) А кроме того, пишу иногда под диктовку титулярного советника Поприщина, он пишет «новые записки сумасшедшего».

Целую Ваши ручки и молю Господа Бога послать Вам здоровье.

Искренне Ваш В. В.»

Гоголевский герой, титулярный советник Авксентий Иванович Поприщин, возникает в письмах Шульгина, когда речь заходит о его собственных литературных писаниях — «новых записках сумасшедшего», как он называет их, привычно иронизируя над собой. Он критичен по отношению к себе и в своих книгах: «Я был изумительно глуп в мои молодые годы».

Говоря о своих произнесенных в думе речах, называет их «бледными», «слабыми». «Жалкие слова мои»...

«Я защищал Столыпина не за страх, а за совесть. Однако (...) имел плохой резонанс».

Но почему же именно Поприщина выбрал Шульгин в качестве соавтора, а порой автора своих творений? Думаю, что дело тут не только в несерьезной, критической их оценке. Его собственная долгая жизнь, бурная, исполненная взлетов и падений, подмостки политической арены, думские дебаты, низложение монарха, эмиграция, разочарования и надежды, — все это свелось к уединенной жизни в старинном Владимире, откуда прошлое казалось уже чем-то почти невероятным, почти сном...

А собственные размышления о прошлом перекликались с размышлениями гоголевского Поприщина, который, рассуждая, как бы пародировал иногда Шульгина. Его монархические настроения:

«Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. (...) Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? (...) На престоле должен быть король. (...) Государство не может быть без короля».

(Вспомним 2 марта 1917 года, отречение от престола Николая II и участие в этом Шульгина.)

Увлечение Поприщина политической жизнью, хождение в департамент, в котором он чинит для директора перья, так не сочетаются с его амбициями («Может

быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков»), как не сочетаются образ жизни одинокого старика Шульгина и его просьба прислать ему один килограмм гречневой крупы и один килограмм пшеницы с его прошлой жизнью...

Впрочем, он не сетует. Он иронизирует и развлекает себя литературной игрой «в Поприщина». Как мы знаем из его писем, фамилия Поприщина и его «записки» даже попали в судебное дело в числе «вещественных доказательств»...

Читая Гоголя, Шульгин, должно быть, вспоминал свой арест, Владимирскую тюрьму.

«Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, я увидел множество людей с выбритыми головами. (...) Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь себя называть королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту».

Но не только это «роднило» Шульгина с записками Поприщина в «Арабесках». Называясь Поприциным, он подсмеивался над своей любовью порассуждать о том, о сем. Рассуждения эти беспредметны и весьма свойственны русскому человеку.

«3. XII. 72 г.

Дорогая Надежда Александровна!

Сто лет Вам не писал. (...) За это время пережил всякие приключения и злоключения. Надеюсь, с этим все покончено.

Остается трудный вопрос: чем заполнять «ночи безумные, ночи бессонные»? Семнадцать часов темноты — это слишком много. Ждешь света, как избавления от тьмы.

Помогает мне друг Поприцин, титулярный советник. Он диктует мне «новые записки сумасшедшего». Старые были напечатаны Гоголем более ста лет назад. Теперь Поприцин воскрес и трудится мне на утешение, себе же на прославление. (...) Сейчас он работает над мистерией «Любовь и кровь». Это рифма затасканная, затрепанная. Но Поприцин утверждает, что трепаться — «это значит повторяться». А все важное в мире, говорит он, повторяется. Например, биение сердца.

Он делает такой расчет. Пусть пульс бьется 60 раз в минуту. Сколько же в час? 3600 раз. А в сутки? 3600x24. А в год? 3600x24x365. А если человек проживет 60 лет, то еще раз надо помножить на 60. И это уже пахнет миллионами. И сердце совершенно истреплется. Но без этого трепания нет жизни, говорит Поприцин.

Так же и с рифмами. Конечно, «любовь» и «кровь» — рифмы истрепанные. Но если их повторить миллион раз, говорит Поприцин, то будет толк, потому что кровь окончится, а любовь останется.

Вот тогда и будет хорошо.

(...) Вот этими благоглупостями титулярный советник и утешает меня в «ночи безумные, ночи бессонные».

А мистерия «Любовь и кровь» направлена против войн и мрака. Между прочим, Поприцин говорит:

Мой враг есть мрак. Во тьме проклятья  
Сказал Господь — да будет свет  
Да будет свет — все люди братья.  
Да будет свет. Враги? Их — нет!

Во тьме живет зверек нелепый,  
Во тьме крота находит крот,  
Во тьме вершится бой свирепый —  
Во мраке крот крота сожрет.

Опомнитесь, кроты и люди!  
Я к вам взываю вновь и вновь.  
О, Боже, милостив к нам буди:  
Кровь упразднив, оставь любовь.

На этом кончается мистерия «Любовь и кровь». И мое письмо также кончается. Надеюсь, что Ваше здоровье лучше.

Целую Ваши ручки, дорогая Надежда Александровна. Искренне ваши Шульгин и Поприцин».



Последнее письмо Василия Витальевича Шульгина к Надежде Александровне Конисской.

Он пережил ее на неполных три года. Переписывался с ее родственниками, с племянницей.

В октябре 1973 года писал:

«(...) На улицу я выходить не могу, брожу по комнате, а голова кружится, боюсь упасть. Иногда играю на скрипке, которая еще хуже, чем скрипач. Затем залезаю в кровать, иногда удается заснуть. Если не удастся, возвращаюсь обратно в кухню, где занимаюсь физкультурой. Так идут дни и ночи...»

Открыв однажды конверт, она прочла:

«Уважаемая Евгения Иоанникиевна!

Получила я ваше письмо. Опишу немного о Василии Витальевиче.

Я ухаживала за ним почти два года. Пришла я к нему, он был очень слабый.

Питался он до меня намного хуже, потому что платил за это деньги, а я с него денег не брала. Так что питался он хорошо и был такой бодрый, мылся в ванне по два часа и вылезал из ванны хорошо. В том месяце, т. е. в январе, заболел он гриппом, но затем он немного поправился и стал кушать хорошо, я даже не думала, что так он сразу умрет.

Он сидел ночью и несколько раз просил нитроглицерин, у него болела грудная жаба, затем он лег в постель и в десять утра 15 февраля он умер.

Схоронили мы его рядом с женой, возили его в церковь, служили обедню, увезли его в девять утра, а хоронили уже в первом часу. В церкви (так. — И. Г.) он был долго, записали сорокоуст и вообще все, что надо, там сделали, гроб у него был очень хороший, из шелка с кистями, за 45 рублей, крест ему поставит похоронное бюро.

Поминки я ему справила хорошие, было человек 25. Много были из Москвы, писатели, художники, в общем, всем понравилось, как его похоронили.

(...) Ну, вот у меня пока все.

До свидание.

Люся (фамилия неразборчиво)».

Василий Витальевич Шульгин умер 15 февраля 1976 года, не дожив двух лет до своего столетия.

«По Кузнечной тогда шел молодой бульвар. Молодой!

Сейчас каштаны в расцвете. Они старше меня, эти деревья видели меня, а я их. Узнают ли они меня сейчас? Это по меньшей мере сомнительно, но я их узнаю.

Пусть судьба пошлет долгий век тем, кто их сберегли...»

(В. В. Шульгин. Письма к русским эмигрантам.)

Публикация К. Я. ВАНШЕНКИНА.



# СНЫ

## ПОВЕСТЬ

Никогда не печатавшиеся «Сны» Александра Кондратьева, писателя и поэта эпохи «Серебряного века»,—едва ли не лучший образец русской готической повести. Сам этот жанр у нас не привился, хотя готические повести, пусть и не столь многочисленны, как, скажем, в английской литературе, у русских писателей встречаются (А. К. Толстой и др.). Для готической новеллы, повести или романа характерно наличие в сюжете, ситуациях, характерах мистического элемента. Действие обычно происходит в каком-нибудь таинственном месте, чаще всего в замке, где случаются загадочные события, сопровождаемые вмешательством сверхъестественных сил.

Иннокентий Анненский, гимназический учитель Кондратьева, а впоследствии его друг и литературный наставник, писал свои пьесы, перенося современные душевные состояния в атмосферу греческой трагедии. Схожий подход мы находим и у Кондратьева, использующего форму готической повести.

Повесть, которую ее автор в своих письмах знакомым иногда называл рассказом, сохранилась как в черновике, так и в беловом варианте, переписанном изящным каллиграфическим почерком Кондратьева. Установить точное время написания повести пока не удалось. Ясно лишь то, что повесть написана в эмиграции не ранее 30-х годов.

Об А. Кондратьеве мы знаем теперь довольно много. Он родился в Петербурге 24 мая 1876 г. в семье директора Государственной типографии, в которой через 29 лет была отпечатана первая книга Кондратьева «Стихи», скромно подписанная инициалами «А. К.». В Восьмой петербургской гимназии, где он учился, директором и преподавателем в 1893—1896 гг. был И. Ф. Анненский. «Мы, ученики Иннокентия Федоровича, еще в седьмом классе гимназии знали все, что несколько лет спустя Вяч. Иванов читал, как откровение, на публичных лекциях в Париже. Я имел как-то неосторожность ему об этом сообщить»,—вспоминал Кондратьев в одном из своих писем к Г. Струве. По словам В. Кривича, сына И. Анненского, Кондратьев был обязан своему учителю той исключительной любовью к древнему миру, которой отмечены почти все его предэмигрантские книги.

В 1897 г. Кондратьев поступил на юридический факультет: таково было желание его отца, сам же Кондратьев в юности мечтал о военной карьере и накопил такое количество сведений по военной истории, что впоследствии считался авторитетом даже среди специалистов. На первом курсе университета он сдал экзамен знаменитому юристу Давиду Давидовичу Гримму—эпизод, целиком вошедший в повесть «Сны». Вещий сон, предшествовавший экзамену, долгое время представлялся Кондратьеву темой, достойной художественной реализации, и он неоднократно подходил к этой теме вплотную. Еще в середине 20-х годов он упоминает этот сюжет в одном из писем: «Не забракованы ли кем-нибудь статья о Н. В. Недоброво и рассказ о случае на экзамене у Д. Д. Гримма?» Рассказ, точнее какой-то этюд, был послан им в парижское «Возрождение» и там то ли утерян, то ли «зарезан». В 1931 г. Кондратьев писал в редакцию другой газеты («Россия и славянство»), что готов восстановить свой рассказ (или воспоминания): «Тема—вещий экзаменационный сон с участием проф. Д. Д. Гримма».

Но вернемся к более ранним дням жизни писателя. Осенью 1898 г. он знакомится с Блоком, только что поступившим на юридический факультет Петербургского университета. «С Блоком я был знаком и часто с ним виделся (огни годы чаще, после его женитьбы—реже)... вплоть до моего отъезда из СПб. в январе 1918 г.»—вспоминал Кондратьев. Отношение Блока к Кондратьеву не было ровным. Однажды он написал Сергею Соловьеву, поэту, как и Кондратьев, увлеченному античностью: «Кондратьев—безвкусица последнего сорта». А позднее, прочитав его рассказ «В пещере», отметил в записной книжке: «Кондратьев—удивительный человек... Он созерцательно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он—страна, после него душа очищается...»

Печатаются Кондратьев начал, еще будучи студентом Петербургского университета. Точная дата его литературного дебюта остается невыясненной. Энциклопедический словарь Граната сообщает, что Кондратьев «печатался с конца 90-х гг.». Советское «Ли-

тературное наследство» (т. 92, кн. 1) указывает на 1899 г. как на время первой публикации. Сам же Кондратьев в неопубликованном письме к Амфитеатрову писал: «От всего сердца благодарю вас за крайне лестный для меня отзыв ваш в газете «Сегодня» о книге моей «На берегах Ярыни». Один из маленьких эпизодов этого произведения был около 1901 г. напечатан в вашей газете «Россия» и был моей первой, если не ошибаюсь, напечатанной прозой». В том же письме Амфитеатрову (22 марта 1930 г.) он пишет о настроениях, с которыми входил в литературу: «Помню, с какой жадностью поглощал я некогда (будучи еще гимназистом) ваш печатавшийся в «Севере» фантастический роман «Жар-Цвет»:

В 1902 г. Кондратьев окончил университет. Осенью того же года поступил на службу в Министерство путей сообщения. Вот что он сам писал о внешних обстоятельствах своей жизни в «Памятной записке»: «Служил там в качестве помощника делопроизводителя (VIII кл. должности) до осени 1908 г., когда перешел в канцелярию Государственной Думы помощником же делопроизводителя». Служа в канцелярии Гос. Думы, исполнял обязанности пом. редактора «Справочного листка Государственной Думы». О литературной работе Кондратьев в своей «Памятной записке» говорит с предельной скромностью: «Помимо службы занимался и литературой. Издал несколько книг беллетристического содержания и напечатал несколько работ по истории русской литературы». Это были работы о жизни и творчестве близких Кондратьеву по духу русских поэтов XIX в. — Щербини и А. К. Толстого.

Печатался Кондратьев довольно много, причем в самых разнообразных периодических изданиях и альманахах: «Новый путь», «Гриф», «Перевал», «Золотое руно», «Аполлон», «Русская мысль», «Весы», «Огонек», «Альманах муз» и др. Многие из опубликованных им в журналах, газетах и альманахах произведений не были включены в его сборники рассказов и стихов и жгут своего собирателя-ценителя и редактора-энтузиаста.

Первая книга Кондратьева — «Стихи» (СПб., 1905 г.) — была встречена критикой не особенно благожелательно. Брюсов писал о стихах Кондратьева, разработавшего сюжеты из греческой и восточной мифологии, что автор ищет в гресности «только интересных сюжетов, кривых образов и звучных слов». «При всем том, — заканчивал Брюсов свою рецензию, — в книге г. А. К. есть прекрасные строфы и несколько цельных стихотворений... Судя по этим стихам, для г. А. К., как поэта, есть будущее».

Брюсов не ошибся в своем предсказании. Второй поэтический сборник Кондратьева («Черная Венера», 1909 г.) — книга вполне зрелая. Незвестный рецензент, писавший в журнале «Новое слово», отозвался о ней так: «Кондратьев — поэт не без выдающихся достоинств; у него прекрасный, несколько холодный стиль, и образы его точны и нарядны... Язык его яркий и энергичный».

Гораздо более видное место занял Кондратьев в русской прозе начала XX века. Первым его крупным прозаическим произведением был роман «Сатиресса», над которым он работал более трех лет. Эта книга занимательна, полна любопытнейших подробностей, основанных на обширных познаниях автора в мифологии, и обнаруживает связь Кондратьева с неоклассическим направлением, возникшим в начале века во многих европейских литературах. Два сборника рассказов Кондратьева — «Белый козел» (1908 г.) и «Улыбка Ашеры» (1911 г.) — еще более упрочили его литературную репутацию. Об «Улыбке Ашеры» Брюсов писал Кондратьеву, что книга радует совершенством русского языка, и добавлял, что это, возможно, лучший язык в современной прозе. Помимо названных произведений, перу Кондратьева принадлежит обстоятельная и великолепно написанная монография о А. К. Толстом. В 1907 г. в переводе Кондратьева вышли «Песни Билтис» французского поэта Пьера Луиса — книга в свое время чрезвычайно нашедшая. Последней книгой Кондратьева, изданной в России, была вышедшая отдельным изданием в конце 1917 г. пьеса «Елена. Драматический этюд из эпохи Троянской войны».

Через несколько недель после выхода этой книги Кондратьев вынужден был навсегда уехать из Петербурга к жившим тогда в Крыму жене и детям. О его любви к Петербургу, городу, где он вырос, учился, где шла его интенсивная литературная жизнь, где он встречался с И. Анненским, Сологубом, Блоком, Вяч. Ивановым, Гумилевым, Пястом, Неодоброво, Мережковским, Гиппрус и многими другими, можно судить по его стихам эмигрантского периода, хотя бы вот по этому стихотворению, напечатанному в малоизвестной эмигрантской газете:

Столица Севера, как вид прекрасен твой  
Над полноводною, медлительной Невой,  
Рекой-красавицей в гранитном одеянии.  
Соборов и дворцов величественный строй,  
На площадях — царей немые изваянья...  
Кто раз тебя видал — забыть не в состоянии;  
Не позабыл и я, о Город мой родной,  
Далекий Град Петра, тебя в моем изгнании,  
Твоих каналов мрак, твоей реки сверканье,  
Адмиралтейский шпиль за сквером золотой,  
Гул поздний Невского, и санный бег зимой,  
И зоревых ночей весенних обаянье!  
О, годы юности! О, розовое здание,  
Как улей полное студенческой толпой!

Краткий крымский период, длившийся до осени 1918 г., известен нам совсем мало. Мы знаем, что и там Кондратьев не оставлял литературной деятельности, встречался с находившимися тогда в Крыму петербургскими поэтами, в частности, с близким к акмеистам Михаилом Струве и с одним из своих немногочисленных близких друзей Негоброво, человеком замечательного ума и таланта.

С осени 1918 г. и до декабря 1939 г. Кондратьев прожил в селе Дорогобуж в двадцати с небольшим верстах от Ровно, в 1920 г. отошедшего к Польше. Его рассказы, статьи, рецензии, стихи, воспоминания время от времени появлялись в газетах и журналах, издававшихся в Париже, Варшаве, Вильне, Таллинне, Львове, Ровно. Работал он непрерывно, но напечатать в эмиграции сумел лишь две книги. В самом начале 1930 г. вышел его роман «На берегах Ярыни» — занимательная и мастерски написанная своего рода энциклопедия русской и украинской демонологии. Ведьмы, леши, болотницы, русалки, домовые и прочая языческая нежить обретают плоть и кровь на страницах этого романа, который наверняка вызовет интерес и у современного читателя.

Последняя книга Кондратьева «Славянские боги» была издана в 1936 г. ограниченным тиражом на средства автора (у которого не хватало денег на писчую бумагу, и он писал мелким почерком на клочках). В продажу книга не поступила. Это — сборник сонаетов на темы славянской мифологии. Хотя автор пишет в предисловии, что подражал Бутурлину, книжка Кондратьева — произведение в русской литературе уникальное. Теперь она уже библиографическая редкость. Сохранилось считанное количество экземпляров; несколько из них Кондратьев успел раздать знакомым и послать в крупные библиотеки (например, в библиотеку Британского музея). В пятидесятые годы он подумывал о втором, дополненном издании, так как к этому времени им было написано еще несколько сонаетов на мотивы славянской мифологии. Замыслу этому осуществиться было не суждено.

Осенью 1939 г., после четвертого раздела Польши, Ровно и вся Волынь, включая древнее село Дорогобуж, отошли к СССР. «Освободители» разгромили усадьбу, в которой писатель прожил 21 год. Разорили архив Кондратьева, включивший неопубликованные работы о литературной пародии, об истории села Дорогобуж, материалы для словаря русских поэтов и др. Тираж «Славянских богов», за вычетом нескольких экземпляров, был в порыве атеистического рвения уничтожен сельским старостой, увидевшим на обложке слово «боги». Кондратьев уходил из усадьбы пешком, спрятав в подкладке шубы записные книжки со своими стихами.

Потянулись трудные военные и послевоенные годы, многочисленные переезды: Варшава, Холмица, Австрия, Германия, Белград, Триест. В 1952 г. Кондратьев нашел себе приют в доме для престарелых «Пеликан» в швейцарском местечке Везен. Писать он уже перестал. Усиливался склероз, ослабло зрение, а после дорожного происшествия (на него налетел мотоциклист) все больше и больше стала подводить память.

В 1957 г. он переехал по вызову дочери в США. О последнем десятилетии его жизни известно совсем мало. То были годы длительного, медленного, порою мучительного угасания. Однажды, оказавшись в Нью-Йоркской Публичной библиотеке, он просмотрел одну из своих дореволюционных книг и сказал сопровождавшей его дочери: «Неужели это я написал?»

Повесть «Сны» неоднократно упоминается в письмах Кондратьева. Вот отрывок из его письма от 20 ноября 1953 г.: «Здесь у меня совершенно пропала энергия... Вспомниваю живущих еще или уже умерших грузей и знакомых. Все еще не могу себя заставить пересмотреть и переделать повесть мою «Сны». Пытаюсь вспомнить названия всех моих напечатанных в разных журналах повестей и рассказов». 7 июля 1954 г. он пишет: «У меня сохранился интерес к теософии. С детства старался знакомиться с религиями древнего мира... Очень почитаю Божию Матерь. Видел ее однажды во сне. От Нее исходил проникавший меня насквозь и даривший мне блаженное чувство божественный свет... Писать стихи или хотя бы прозу после болезни, отрезвившейся, впрочем, и на моей памяти, больше не могу».

Кондратьев умер на девяносто втором году жизни в больнице городка Накяк под Нью-Йорком рано утром 26 мая 1967 г. К этому времени он был забыт всеми, кроме людей, ему близких, да горстки знатоков «Серебряного века» или старой эмигрантской литературы. Но, перечитывая теперь Кондратьева, я не могу отделаться от чувства, что Кондратьев — писатель значительный и что он будет оценен по достоинству.

В. КРЕЙД.

**К**огда я был молод и служил в одном из существовавших в дореволюционной России «управлений», учреждении, мало имевшем общего с моими поэтическими наклонностями, случилось мне порою бывать у одного сослуживца, Федора Николаевича Гоша, человека, с которым у меня было много одинаковых интересов. Правда, он не писал стихов, но, владея несколькими языками, с большим вниманием следил за всеми вновь появлявшимися произведениями европейской литературы. Гош не пропускал ни одной картинной выставки, выписывал два-три иностранных художественных журнала, сочинял

небольшие вещи для фортепиано и в довершение всего интересовался оккультными науками. В то время на последние была мода, и каждый уважающий себя «декадент» обязательно имел у себя на видном месте том Элифаса Леви или Станислава Гэта.

Я любил навещать Федора Николаевича. Мне интересно и приятно было слышать его негромкий, но живой разговор о новом в искусстве. Интересовали гостившие у него иногда редкие книги в красном сафьяне с золотой коронованной буквой на переплете. Эти книги сослуживец мой доставал одно время на прочтение каким-то таинственным путем едва ли не из царской библиотеки.

Гошу я обязан был также знакомством с мало в то время еще известными французскими писателями вроде Барбе д'Оревилюи и Вилье де Лиль-Адана. Как теперь помню миниатюрные томики эльзевировской печати, которыми он снабжал меня из своего книжного шкафа.

Федор Николаевич был женат, но я никогда не видел его жены, так как она постоянно проживала где-то за границей. Отсутствие хозяйки не сказывалось, впрочем, на обстановке квартиры. Не видно было пыли на шкафах красного дерева или на этажерках с японскими и итальянскими вазочками. Книжки на полках стояли в строгом порядке; нигде не валялось окурков, а письменный стол всегда имел вид только что прибранного. Последнее обстоятельство зависело, быть может, от того, что Гошу ввиду его общительности некогда было писать. Поддержанием же чистоты и порядка заведовала пожилая, сурового вида особа, игравшая роль экономки в хозяйстве моего сослуживца.

Все в квартире Гоша занимало раз навсегда определенное место: новые журналы и книги на круглом столе, покрытом какой-то старинной скатертью; альбомы — на средних и нижних полках этажерок; небольшая коллекция итальянских гравюр — по стенам.

А потому меня очень удивило однажды, когда я увидел некоторое перемещение этих гравюр — с целью дать место акварельному пейзажу в красно-коричневой рамке.

— Не мог найти лучшего помещения для своего музыкального заработка. Давингофф недавно заплатил мне сразу за четыре вещицы. Ну вот, раскрутился и приобрел... Впрочем, если бы эскиз стоил в пять раз дороже, то и тогда, как-нибудь извернувшись, купил бы его, — сказал непривычно взволнованным тоном заметивший удивление на моем лице Федор Николаевич.

Я подошел ближе к висевшему на стене пейзажу и стал его разглядывать. Там изображена была каменная терраса, белые ступени которой сходили к воде, по направлению к зрителю. Зеленоватые бронзовые курильницы стояли по углам мраморной балюстрады. Два такого же цвета филина глядели из ниш в стене по обе стороны лестницы. Дальше был старый разросшийся парк, из-за деревьев которого были заметны верхняя часть фасада и островерхие башни дворца или замка.

Пейзаж этот показался мне знакомым. Я вспомнил, что видел его за несколько недель перед тем на выставке, в комнате, посвященной работам недавно скончавшегося художника. Но не было ничего особенно выдающегося в этой акварели ни по замыслу, ни по исполнению в сравнении с десятками таких же посмертных этюдов, выставляемых обычно на продажу с целью обеспечить семье умершего в постигшей беде небольшую на первых порах денежную сумму.

— Вы, вероятно, знали, Федор Николаевич, этого беднягу Степанова, — назвал я прочтенную мною в правом углу картины фамилию художника, — хотя я от вас ни разу ничего о нем не слышал.

— Я впервые услышал его фамилию, лишь заинтересовавшись этой картиной. При мысли, что Степанов уже умер, я не помнил себя от досады. Недавно я бегал справляться, есть ли у него семья, и узнал лишь, что покойный был холост, деньги же за проданные полотна и наброски пойдут его малолетней сестре, проживающей где-то в провинции... И никто мне не мог сказать, где и когда был написан этот этюд!

— Почему же вы им так заинтересовались?

— Ах, Господи, да потому, что я с рогами на голове подплыл к этим ступеням, взбежал по ним на террасу и имел даже время оглядеться по сторонам. И все тогда было так, как здесь нарисовано!

Я внимательно посмотрел на говорившего. Федор Николаевич, заметив мой

взгляд, продолжал несколько более спокойным тоном, хотя по всей его оживленной тонкой фигуре видно было, что он очень волнуется.

— Конечно, это был только сон, но сон не вполне обыкновенный, а по своим последствиям даже трагический. Помните вы Арбузова? Вы его у меня неоднократно встречали.

— Арбузов? Очень полный веселый блондин? Любитель музыки и композитор? Кажется, отличался предосудительным образом жизни? Умер около года тому назад? — старался я вспомнить.

— Все, что вы говорите, верно. Арбузов скончался в ту же ночь, когда я его видел во сне в парке, который изображен на этом самом эскизе.

Федор Николаевич был неузнаваем. Он стоял, выпрямившись во весь свой высокий рост. Обычная сутулость, происходящая от постоянного сидения над гравюрами и книгами, куда-то исчезла. Черные глаза на порозовевшем лице блестяли сквозь стекла пенсне. Гош был даже красив в это мгновение.

Он продолжал:

— Я вас давно знаю и надеюсь, что вы не станете делать соблазнительных аналогий между сном и его нелепыми превращениями и семейной моей жизнью. Поэтому и считаю, что могу быть с вами вполне откровенным. Незадолго до сна, о котором я хочу рассказать, мною получено было из-за границы одно неприятное, довольно важное для меня письмо. Желая отогнать от себя грустные мысли, попал я в компанию милого, но беспутного Арбузова. Покойный считал себя когда-то ницшеанцем, потом сатанистом и старался во всем быть эксцентриком. Но это плохо ему удавалось. Компания, в которой я с ним очутился, не вполне соответствовала моим вкусам и привычкам, почему я под предлогом головной боли пил мало и уехал домой раньше, чем в таких случаях полагается. Но когда я уже был дома, то на самом деле почувствовал некоторую тяжесть в голове и ногах, происходившую, как я подозреваю, оттого, что Арбузов, по всей вероятности, что-то коварно подмешал в вино или кофе. Помню разочарованный вид моего приятеля, когда я, несмотря на все его уговоры и просьбы, поехал домой.

Дома я улеся в постель, скоро уснул и во сне увидел того же Арбузова. Мы шли с ним краем заросшей местами травой очень широкой дороги, окаймленной по сторонам высоким старым лесом. Как теперь помню маленькую подробность: влево от нас на широкой просеке лежало, дымясь, несколько поваленных древесных стволов, очищенных от ветвей и местами тлеющих. В то же время мы заметили одиноких волков, перебежавших порой дорогу то позади нас, то перед нами.

Желая, может быть, уйти от этих животных, мы свернули с большой главной дороги на дорогу не столь широкую, пробитую в песчаном лесном косяге. По сторонам тоже стояли высокие толстые деревья, несколько напоминающая собой старый, запущенный парк. В обрывах косогора по краям дороги виднелись верхушки каменных арок, засыпанных почти доверху песком и землей. В отверстии этих арок, как в норы, прятались волки, встречавшиеся нам по пути. Некоторые из них снова выползали оттуда и глядели нам вслед.

Не помню, как очутились мы уже в несомненном парке, с аллеями, лужками и красиво расположенными группами малознакомых деревьев. Встретившиеся нам слуги, лиц которых, как это часто бывает во сне, я не помню, окружили нас, разделили и повели по направлению к находившемуся поблизости замку, тому самому, что виден и на эюде.

Тут кто-то незримый сказал мне, что хозяин замка — волшебник и чародей. Арбузова провели к нему раньше меня и вывели, вероятно, в другие двери, так как я его там больше уже не видел, а лишь потом слышал, что он был превращен волшебником в борова, заколот, зажарен и отдан кому-то на съедение. Порою мне даже кажется, что я слышал издали его отчаянный крик, напоминавший предсмертный визг убиваемой свиньи.

Наступил и мой черед. Меня ввели в небольшую комнату второго этажа, где сидел кто-то старый, седоватый, небольшого роста, одетый в серый расшитый халат и цветной колпак или ермолку. У него было, помню, некоторое сходство с поэтом Сологубом. Но долго рассматривать его мне не пришлось. В комнату внесли зеркало в серебряной затейливой оправе, и старик предложил мне в него поглядеть.

Хотя тайный внутренний голос и предостерегал меня от того, чтобы я смотрел в это зеркало, я почему-то не удержался и поглядел. В тот же миг кто-то возле меня сказал: «Будь оленем!» И ясно взглянула на меня с полирован-

ной блестящей поверхности оленья рогатая морда. После этого меня выгнали или вывели в парк, где я стал покорно пастись на ярко-зеленой травке лужаек.

Не помню, сколько времени бродил я по парку. Мне казалось, что я был там уже давно и хорошо освоился с расположением всех его уголков, рощ, холмов и аллей, когда услышал однажды лай собак и завывание рога. И опять тайный голос во мне сказал, что это выехала на охоту дочь колдуна, владельца изображенного Степановым замка. Тявканье псов слышалось все громче и ближе. Я понял, что собаки напали на мой след, и, закинув голову, побежал от них прочь. Мелькали одна за другой мимо меня поляны и купы деревьев, я делал большие прыжки, стараясь уйти от преследования, но лай псов и звуки рога все приближались.

Когда собаки находились уже совсем близко и стали, стараясь меня окружить, заскакивать с обеих сторон, я бросился в озеро, изображенное на этом этюде, и поплыл мимо острова с беседкой, на картину не попавшего, по направлению к белой террасе. Помню, как становились все ближе ко мне вот эти филины в нишах. Под нишами же находились железные кольца для привязывания лодок. Видите, они тоже здесь нарисованы. Помню, как застучали под копытами моими мраморные ступени белой террасы, куда я взобрался, выйдя из воды. Отряхиваясь, я увидел каменную скамью по ту сторону перил. Вот в том углу она была слегка расколота и покрыта зеленым бархатным мхом. Это отсюда не видно. По ту сторону террасы и вокруг нее росли какие-то странные розы с темноватыми ободками на лепестках.

Но времени разглядывать все подробно у меня не было, так как собаки, плывшие следом за мною, были уже недалеко. Я снова поскакал вот по этой аллее, потом свернул с нее вправо, где местность была холмистой. Собаки снова настигли меня и старались задержать. Помню, как я ударил одну из них задним копытом, так что она, едва успев взвизгнуть, взлетела в воздух и упала где-то сзади. Но тут я снова услышал звук рога, и справа подскакала ко мне, вероятно, обогнувшая озеро, дочь чародея. Насколько помню, это была красивая брюнетка в черном платье с пристегнутым треном. К левому боку у нее был прикреплен небольшой блестящий металлический щит, а в правой руке было копьё. Приблизившись ко мне, охотница замахнулась было этим копьём, но в то же мгновение какая-то тайная сила заставила меня взглянуть в ее сверкающий, как зеркало, щит.

Едва я туда взглянул, как зеленые холмы, небо и лес заплясали у меня в голове. Я почувствовал что-то, похожее на электрический удар, и упал без сознания. Последней моей мыслью было то, что прекрасная дочь колдуна не пожелала меня убивать и отпускает на волю.

Очнулся я у себя на кровати с головной болью и тяжестью во всех членах.

Болезнь, которую я сам да и доктор мой приписали простуде, продержала меня в постели четыре-пять дней. Я не выходил еще из дому, когда узнал, что Арбузов в ночь после того, как мы вместе с ним поужинали, умер у себя дома от паралича сердца. Возможно, что его смерти способствовало злоупотребление наркотиками.

Кончина Арбузова, который в дни моей юности был довольно мне близок, весьма на меня действовала, и я долго ничем не мог развлечься. Вы в это время, — прибавил Гош, — только что уехали в заграничный отпуск. Я старался рассеяться, усиленно занимался музыкой, съездил недели на две к родным. Пытался даже учиться древнееврейскому языку и познакомиться с каббалой. Но все это плохо помогало. Тут подошел сезон осенних выставок, и я стал усиленно их посещать. Представьте же себе мое удивление, когда в комнате, посвященной посмертному собранию произведений Степанова, я увидел наряду с другими пейзажами вот эту террасу с филинами в нишах и аллею, ведущую к замку с остроконечными башенками. Помню, как мне захотелось тогда вновь посмотреть в лицо волшебнице, которое не успело как следует запечатлеться у меня в памяти. Знаю лишь то, что она была прекрасна, — закончил Гош, печально вздохнув.

— Может быть, поглядеть в ее щит было вашим спасением, — сказал я. — Иначе, вероятно, вы подверглись бы участи, постигшей Арбузова.

— Не думаю, — ответил Федор Николаевич серьезным тоном, — я отлично помню, что она меня пожалела. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы вновь попасть в этот парк и посмотреть на его обладательницу?

— Вы, вероятно, не хуже меня знаете, что по большей части делают в таких случаях. Картина, изображающая один из уголков парка, у вас есть.

Это очень облегчает дело. Остается лишь, выбрав благоприятное время, привести себя в надлежащее настроение и мысленно перенестись на террасу. Остальное — результат вашей подготовки и силы ваших способностей. Вы сами, конечно, знаете, какому риску вы при этом подвергнетесь. Я решительно не могу представить, кто такой виденный вами во сне хозяин замка, но не советую вторично попадаться ему на глаза. Участь Арбузова должна явиться для вас хорошим предостережением. С такой прогулки очень легко можно и не вернуться обратно, по крайней мере без повреждения умственных способностей.

— Я все это знаю, но желание увидеть волшебную охотницу более чем соблазнительно. При наличии же подходящего талисмана опасность не так уж велика. Но об этом мы поговорим более подробно когда-нибудь после. А пока послушайте вот эту маленькую фантазию моего сочинения.

И Гош сыграл на фортепиано небольшую пьесу, где при желании можно было почувствовать и страх погони, и тьяканье псов, и торжествующее завывание рога.

— На фортепиано трудно передать охотничий рог, — сказал Федор Николаевич, — но мотив его до сих пор не выходит у меня из головы.

Расставаясь, я просил Гоша не предпринимать опыта, о котором мы говорили, не сказав об этом мне. Он согласился.

Несколько раз после этого мой приятель опять заговаривал о желании попасть в очарованный парк, но я посоветовал ему прежде попытаться разузнать что-нибудь о художнике и расспросить его знакомых о том, где написан был этюд. Если последний был написан с натуры, по-моему, следовало отыскать изображенные замок и парк и поинтересоваться, кто там живет. Пускаться же в опыты раздвоения личности я считал делом опасным, тем более что опыты эти требуют от новичков большой затраты энергии, а Гош не отличался физическим здоровьем и был склонен к туберкулезу.

Политические события 1905 года помешали мне часто видеться с Федором Николаевичем. Но время от времени нам удавалось встречаться в библиотеке нашего учреждения, где он был членом комитета, заведующим приобретением книг на иностранных языках. В одну из таких кратковременных встреч Гош сообщил мне, что узнать, когда был написан Степановым этот этюд, ему пока не удалось, но умерший художник, по словам товарищей, года два-три тому назад был за границей, между прочим, на северном побережье, откуда им привезено было несколько картин, в настоящее время распроданных. Последние же два лета своей жизни покойный акварелист проводил не то в Волынской, не то в Подольской губернии.

Навестив как-то Гоша, я заметил, что этюд Степанова исчез со стены гостиной. Я подумал, что Федор Николаевич перестал им интересоваться, и был, признаться, этим очень доволен, так как здоровье его к весне несколько ухудшилось. Несмотря на кашель, он продолжал, однако, курить папиросы, густой белесоватый дым которых заставлял предполагать, что содержимое их — не один только табак.

— Летом думаю съездить за границу, — сказал он, — но сам еще не знаю, куда. Хочется в Италию, да, вероятно, придется побывать и во Франции.

Я знал, что во Франции живет жена Федора Николаевича, и думал, что он желает ее навестить, но дальнейшие слова моего собеседника разрушили мое предположение.

— Я все время теперь надеюсь, — сообщил он несколько смущенным тоном, — увидеть во сне художника Степанова и выведать у него, где находится изображенный им замок.

— Вам удалось достать его фотографию или что-нибудь из носильных вещей? — спросил я, зная, как облегчает наличие таких предметов общение с умершими.

Гош молча кивнул головою и немного погодя прибавил:

— Хотите взглянуть? Пойдемте тогда в мою спальню.

Крогати, однако, в комнате, куда мы вошли, не было. Ее заменял широким, обитым кожей диван. У дверей, над перенесенным сюда из гостиной хорошо мне знакомым пейзажем, висела увеличенная фотография-портрет художника Степанова. Лицо последнего не представляло ничего особенного. Глядевший на нас из багетной рамы подстриженный бобриком, с подвитыми усами, при очень высоком воротничке и небольшим бантом завязанном гал-



стике блондин лет тридцати одинаково мог быть и приказчиком из модного магазина, и конторщиком банка, и артистом-художником.

— С товарищеской группы переснял и увеличил,— сказал Гош, указывая на портрет.

— Ну и что, удачны ваши опыты? — спросил я.

— Пока нет. Мне нужно было добыть что-либо из носильного белья или платья покойного, но пока удалось достать только перчатки. Я взял их из магазина, куда они были отданы в чистку. Боюсь, что в упорядоченном виде перчатки эти не имеют той цены, как если бы они были только что сняты с руки.

— Пожалуй, что так,— ответил я.

— Вместо Степанова мне раз приснился Арбузов,— продолжал Гош.

— Говорил он вам что-нибудь?

— Как вам сказать... И да и нет. Пришел во сне ко мне в гости такой же толстый и неунывающий, каким и вы его здесь когда-то встречали, подошел к фортепиано и начал играть одной рукой «Жил-был у бабушки серенький козлик», а потом улыбнулся, погрозил пальцем и ушел.

— По-моему, он сообщил вам более чем достаточно,— сказал я.— Не следует ходить в лес, в котором от вас могут остаться, как от козлика, лишь рожки да ножки. К тому же, помнится, вы что-то говорили в начале вашего фатального сна о волках?

— Совершенно верно. Припоминаю. Я упустил было это из виду... Впрочем, что ж?! «Волков бояться — в лес не ходить»,— говорит пословица.

— Судя по тому, что вы перенесли этот пейзаж в вашу комнату, вы, надо думать, их не боитесь. Признайтесь, делали ли вы уже попытки вновь побывать в этом парке?

— Конечно, делал, но осторожно, оставляя за собою возможность каждый момент прекратить этот опыт.

— При тех дилетантских способах, которыми вы, вероятно, пользуетесь, вы легко можете быть обмануты собственной фантазией и не получить тех результатов, каких вы достигли бы при соблюдении всех правил, рекомендуемых оккультной наукой.

— Ну вас с вашими правилами и методами! Это длинно и скучно. У меня путем практики выработались собственные правила. Когда вы хотите, например, перенестись на ту или другую картину и вам трудно сразу это сделать, то вы выбираете в ней пункт наиболее для вас знакомый и доступный. Скажем, вы не можете попасть прямо в желаемую комнату: мысленно встаньте у наружных дверей дома и попробуйте в них войти. Если и это трудно, то, постояв перед этими дверями, попробуйте вообразить себя перед ними же, но с внутренней стороны, и тогда вам уже будет легче проникнуть дальше внутрь дома. Везде, где вы не можете идти прямо, смотрите с той точки, где вы остановились, назад на пройденный путь, идите затылком вперед, и вам легче будет представить себя в желаемом месте. Особенно хорошо это удается с помещениями, вам знакомыми.

— Вот именно, знакомыми. Но в местностях незнакомых, Федор Николаевич, наша фантазия может нас обмануть,— сказал я.

— Что же мне делать, если мое воображение, быть может, против воли, переносит меня в этот заколдованный парк? Стоит мне только закрыть глаза, как я мысленно переплываю пруд и, дрожа от холода, вхожу по мраморным ступеням на большую террасу. Медленным шагом я иду по гравию, сперва вдоль окаймляющих дорожку кустов, затем — широкой аллеей к самому парку. Перед ним опять площадка или полянка, которую я огибаю, и, наконец, фасад здания. Почему-то боясь войти с главного хода, я останавливаюсь перед угловой желтой дверью и колеблюсь: войти мне сюда или же в другую дверь, выходящую в маленький переулок против белой каменной стены соседнего флигеля. Пробую, проникнув сквозь входные двери по переданному вами рецепту, пробраться на второй этаж, но дальше первой площадки лестницы с камином в левом углу около ведущей в комнаты двери пройти не могу. Какая-то сила выталкивает меня вон. И я вновь брожу вокруг этого дома, стараясь не быть замеченным из окон. Брожу охваченный желанием увидеть ту, которая с копьём в руке верхом на черном коне гонялась за мною.

— Я думаю,— прибавил Гош,— что смерть Арбузова представляет собою одну лишь случайность и, может быть, совпадение. Этой чародейке не было

никакой надобности меня убивать. А, кроме того, насколько мне известно, сонное видение, кем бы последнее ни было, убить не может. Я видел человека, которому пришлось испытать при аналогичных обстоятельствах удар, нанесенный ему во сне пашим архангелом, и человек этот все-таки остался жив, отделавшись лишь небольшим нервным потрясением.

— Это очень любопытно. Расскажите, если не секрет.

— Случай этот произошел с моим знакомым художником. Он живет теперь в Сицилии, где будто бы изучает сочетание красок на цветных окнах местных церквей и ленится писать. Последних двух писем моих он, очевидно, не получил. Иначе он научил бы меня, как поступить.

— Думаю, что я прежде встречал этого вашего знакомого, который живет теперь в Сицилии. Мы оба бывали в редакции «Девы»,— внезапно, сам не зная почему, перебил я Гоша.— Его зовут не Остроумов?

— Предположим, что Остроумов. Так вот, этот мой знакомый художник начался в свое время описаний полета на шабаш и служения дьяволу. Начитался до того, что ему и самому стало сниться, будто он летает, но только не на Брокен и не на Лысую Гору, а в иное место общения с нечистой силой, в какой-то храм с колоннами из черного камня, капители которых исчезали в сумраке сводов. По карнизам светился, по его словам, бледно-зеленоватый орнамент из каких-то странных иероглифов и арабесок. Так как сон несколько раз повторялся, мой художник имел возможность довольно подробно ознакомиться с обстановкой этого таинственного храма и сообщил мне потом интересные детали. Так, например, над обделанной красным камнем и золотом дырой в полу этого храма было воздвигнуто что-то вроде сени на семи колонках, представляющих собою перевившихся змей, причем одни змеи были медно-красные, другие — темно-серебряные. Председатель собрания первоначально появлялся в виде едкого и довольно противного зеленоватого или серо-белого дыма из упомянутой мною дыры. Но это к делу не относится... Так вот, на таких-то предосудительных праздниках, где было много всякого, по большей части неинтересного народа, мой художник стал встречаться с одной очень милой барышней. Как-то само собою случилось, что они стали уединяться в укромных уголках, где им не мешали своими представлениями и подглядываниями разные противные старики и безобразно разряженные, а то и вовсе нагие старухи. Барышня сообщила моему другу, что она тоже прилетает сюда во сне, не прибегая ни к каким снадобьям и мазям. Она дала понять моему собеседнику, что он ей нравится, но упорно не желала сказать, кто она, откуда и где живет. Может быть, эта девица и сказала бы, наконец, что-нибудь о себе, но тут помешал случай, ради которого я сообщаю вам всю эту историю.

То был четвертый, кажется, сон моего знакомого с пребыванием в черном храме. «Я подробно осмотрел,— рассказал художник,— пустой еще трон, на котором обычно восседал *Hircus Nocturnus*\*, и постарался запомнить очень интересные горельефы, украшавшие это седалище. Поглядел и на слугителя в золотых сандалиях и в медной, как он, маске, изображавшей голову тигра. Этот прислужник делал вид, что не замечает меня и всецело занят подливанием чего-то в коричневатые, коринфской бронзы, светильники, пылавшие белым, бесцветным огнем. При их колыхавшемся свете, казалось, оживали бесстыдные горельефные изваяния трона. Некоторые вновь прибывавшие гости считали своим долгом к ним приложиться».

Но я все отвлекаюсь от темы... Мой знакомый почувствовал вдруг, что понравившаяся ему девица где-то неподалеку. Оглядевшись вокруг, он ее вскоре нашел. Девушка была в ночном костюме и, по словам рассказчика, несколько стеснялась этого обстоятельства, хотя большинство присутствующих как будто не замечали друг друга, а если и замечали, то как бы по взаимному соглашению. Тем не менее знакомая незнакомка моего художника пожелала с ним уединиться подальше от толпы под тем предлогом, что ей стало почему-то страшно. Они прошли по неровному, местами протертому полу в довольно далекий угол храма, где время от времени вспыхивали зеленые перебегающие огоньки. Когда последние загорались под потолком, то можно было разглядеть неподвижные каменные улыбки полузвериных-полуангельских лиц на капителях колонн. Сидевшая неподалеку компания стариков не обращала на уединившуюся парочку никакого внимания. Старики эти всецело,

\* Сатана, председательствующий на шабаше в образе козла. (Прим. ред.).

казалось, поглощены были нюханьем чего-то из передававшейся от одного к другому коробочки. Понюхав, они застывали на некоторое время неподвижно, как статуи. Художник начал по обыкновению уговаривать свою подругу дать ему возможность познакомиться с нею и в действительной жизни, но та лишь мотала отрицательно головой и твердила: «Только не сегодня, только не сегодня. Сегодня мне не до того. Я чего-то жду и боюсь».

Должен сказать, что эта особа, по словам художника, вела себя скромно и между ними ничего особо предосудительного не происходило. Собеседница моего знакомого успела ему рассказать, что ей 18 лет и что она лишь недавно стала бывать тут во сне. Упершись подбородком в колени и охватив свои ноги руками, девушка эта издали смотрела на происходившее около трона и по временам дрожала. Особенно ее пугали световые явления, когда последние имели место поблизости. К великой радости своей собеседницы, мой приятель прогнал подползшую было к ним слишком близко очень любопытную большую змею. Поблескивая зелено-синим тусклым огнем и обиженно шипя, змея уползла обратно.

Но вскоре из вделанного неподалеку в стену серого пилона в египетском стиле появилась и поплыла по воздуху огненно-красная, с какими-то иероглифами посередине, пентаграмма. Поднявшись сперва вверх, пентаграмма остановилась ненадолго на высоте приблизительно трех сажен и начала опускаться. Затем очертания ее стали расплываться, и она как бы пролилась до земли, преобразившись в ангела, одетого в багряное пламя. Ангел был замечательно красив и отличался гордым и, по словам художника, даже неприлично надменным лицом. На черных кудрях его была диадема с цветными блестящими камнями, а на устах — лиловатый святающийся пар. Медленными плавными шагами пурпурно-огненный пришелец приближался к сидящим.

«Это он!» — внезапно воскликнула девушка и стала прижиматься к художнику. Последний хотя и сознавал, что силы совершенно неравны, сделал, по его словам, то, что должен был сделать на его месте порядочный человек — встал и заслонил собою свою подругу. Полным презрения жестом ангел дал моему знакомому понять, чтобы тот отошел в сторону. Но художник (он незадолго до того получил золотую медаль Академии и начитался хвалебных рецензий по поводу выставленной им картины) почувствовал себя гордым и самоуверенным не менее своего противника. Поэтому он не только не посторонился, но даже сделал шаг или два навстречу своему сопернику. Тогда ангел поднял руку и пошевелил губами, как бы что-то произнося. Нечто вроде лилового шарика отделилось от его пламенных уст, и в то же мгновение художник почувствовал нервный удар, пронзивший все его тело, вероятно, вроде того, что испытал в свое время и я. Удар этот, однако, был так силен, что у бедняги закружилась голова и тьма объяла его сознание.

Очнувшись у себя в постели, мой знакомый ни разу с тех пор не видел во сне ни черного храма, ни отнятой у него падшим ангелом девушки. Он даже и не пытался ее отыскать.

Не знаю, был ли причиной тому страх перед соперником или что другое, но на мои вопросы, почему он не желает справиться о судьбе незнакомки, художник всякий раз отвечал, что женщины, виденные во сне, всегда гораздо интереснее, чем наяву, и он не хочет действительностью портить оставшегося в памяти красивого образа. Словом, вел он себя как-то странно. Он показывал мне зарисованные им по памяти архитектурные и художественные подробности виденного им во сне черного храма. Некоторые из них были очень интересны, и мой приятель собирался их со временем где-нибудь применить. В бытность его в Англии ему предложили расписать в стиле модерн внутренность церкви. Боюсь, что мой художник поместил там на оконных стеклах не только своего красного ангела, но и еще что-нибудь позамысловатее. С него станет.

— А по вашему мнению, — спросил я Гоша, — девушка, которую ваш знакомый видел во сне, если сон этот им не сочинен, существовала в действительности?

— Отчего бы и нет! Разве вам никогда не приходилось видеть снов коллективных, то есть виденных одновременно с кем-нибудь другим?

— Случалось, — ответил я Гошу, — и даже раза два, пожалуй, случалось. Однажды это было на первом курсе университета в 1898 году. В гимназии нас совершенно не подготовляли к отвлеченному мышлению, и поэтому мне пришлось вначале довольно трудно. Литографированные записки по курсу

догмы римского права готовы были меньше, чем за две недели до экзамена по этому предмету. Я был уже достаточно с непривычки переутомлен предшествовавшими экзаменами, и у меня сделалась невралгия. Болела правая сторона головы и всего тела. При попытках читать курс боль усиливалась до того, что я принужден бывал бросаться на постель и лежать неподвижно, уткнувшись в подушку и стараясь ни о чем не думать. Тогда боль понемногу стихала. Но до экзамена оставалось мало времени, и я должен был вновь приниматься за лекции. Чтобы не очень затрудняться обдумыванием, а главное, напоминанием тех или других казавшихся мне тогда трудными понятий, я решился прибегнуть к весьма принятому в гимназиях средству — смошенничать и написать незаметно карандашом на экзаменационной программе ответы на поставленные там вопросы. Сначала дело шло как будто ничего, но вскоре я вновь почувствовал ломоту в виске, заставившую меня лечь на кровать, где я мало-помалу и уснул.

Во сне увидел я десятую аудиторию Петербургского университета, экзаменационный стол и профессора Гримма, к которому я будто бы подошел. Глядя на меня в упор, экзаменатор обратился ко мне со словами: «Дайте-ка сюда вашу программу». И когда я подал ему свои исписанные листки, Давид Давидович начал меня стыдить, говоря, что я не мальчишка-гимназист, и что пора бы, кажется, научиться честно относиться к своим обязанностям, и тому подобные вещи, которые в таких случаях принято говорить. После этого профессор стал меня во сне спрашивать по курсу. Я долго ему что-то отвечал, а потом запнулся. «Нет, вы этого билета не знаете, — сказал Гримм, — отвечайте мне вот этот». И он протянул мне свою программу, указывая пальцем номер билета.

В этот момент я проснулся. Было светлое майское петербургское утро. Подбежав к столу, я развернул лежавшую там программу, нашел на одной из страниц место, указанное мне во сне, и отчеркнул его находившимся тут же синим карандашом. Я дал себе затем отдохнуть в течение целого дня, а в остальные дни, оставшиеся мне до экзамена, успел прочесть курс еще два раза. Виденное во сне место я прочел много раз. Списывание программы было мною оставлено тотчас же после сновидения. На экзамен я программу не взял. И тем не менее, когда я пришел в десятую аудиторию и был вызван к ответу, первым вопросом профессора, внимательно на меня посмотревшего, было: «А где ваша программа? Покажите мне вашу программу». «Я забыл ее дома, господин профессор, — ответил я. — Может быть, вы одолжите мне свою? У вас на столе лежит их несколько».

Посмотрев на меня испытующим и, как мне показалось тогда, несколько разочарованным взором, Давид Давидович произнес: «Ну, тяните билет». Я вытянул. Не помню теперь, какой именно номер. Помню лишь, что он был для меня, как, впрочем, и другие (лекций я старался не пропускать), более или менее знакомым. Я начал готовиться к ответу по программе, данной мне Гриммом. В середине билета оказался, однако, к моему неудовольствию и удивлению, вопрос, который я совершенно забыл. Словно кто-то мокрой губкой стер с доски моей памяти то, что надо было отвечать.

Так как билет этот я все-таки читал по крайней мере два раза, я стал отвечать, входя в мельчайшие подробности, сохранившиеся в моей памяти, думая таким образом утомить моего слушателя и внушить ему, что билет мне хорошо знаком. Но профессор вперил в меня свои неподвижные, как у сонной рыбы, глаза и молча терпеливо слушал, как бы ожидая, когда я, наконец, дойду до незнакомого мне места. Я подошел-таки к роковому вопросу и... замолчал. «Что же, отвечайте», — предложил мне экзаменатор. Я попробовал сымпровизировать и — неудачно. «Нет, вы своего билета не знаете, — сказал Гримм совершенно как во сне. — Отвечайте мне вот этот».

И жестом, уже виденным мною ночью, он показал мне на программе то место, которого я так ждал. Боже, как я забарабанил, приводя не только то, что было в литографированных записках, но и те подробности, которых там не было! Экзаменатор остановил меня и отпустил, поставив четверку.

— Почему же вы считаете ваш сон коллективным? — спросил меня Гош. — Страстно желая ответить определенный билет и думая о нем, вы могли внушить профессору, чтобы он спросил вас этот билет.

— А почему в таком случае он потребовал от меня показать ему программу, чего в тот день не требовал от других и чего я отнюдь ему не внушал?

— Очень просто: вы подошли без программы, и профессор заинтересовался, где она.

— Не я один подходил без программы, почему у него и лежало их на столе не менее полдюжины,— не сдавался я.— А, кроме того, вместо того чтобы меня отпустить, слыша мой обстоятельный ответ, Гримм дождался-таки, пока я не дойду до находившегося во второй половине программного билета вопроса.

— Я согласен, что ваш сон принадлежит к числу так называемых вещей, но назвать его коллективным я не решаюсь,— ответил Федор Николаевич.

— В таком случае я расскажу вам другой мой сон, уже, без сомнения, коллективный. В бытность мою на том же первом курсе университета, осенью 1897 года, приснился мне однажды целый ряд картин войны в Петербурге, причем я был и в разных зданиях, и на улице. Здания эти были мне тогда внутри незнакомы, но в последние годы часто приходится бывать в одном из них. В остальных же, я уверен, еще побываю. В одном из этих зданий, где мне предстоит еще побывать, меня поразила внутренность очень высокой круглой залы с окнами под куполом, похожей на церковь и вместе с тем не бывшей церковью. Я помню пустые гипсовые (а может быть, и мраморные) кронштейны на расписанных бледно-коричневой краской стенах и какие-то высокие, ничем сверху не занятые постаменты с горельефами по бокам. На полу неподалеку от входа лежало четыре, кажется, труп.

Рядом с этой круглой залой была вторая, огромная, с длинным рядом белых колонн. В первом из упомянутых мною зданий я стоял у окна, выходящего на Фонтанку, смотрел на бежавших мимо окон и порою падавших людей, слышал ружейную пальбу и треск пулеметов, не существовавших тогда, кажется, в русской армии. Помню, как одна из пуль, разбив стекло, ударила в подоконник, у которого я стоял. Это мне не понравилось, и я, пройдя через вестибюль, подошел к ведущей наверх лестнице. Под этой лестницей находилась дверь, и через нее я вышел в маленький круглый двор. Пули туда не долетали. Там между булыжников, которыми был вымощен двор, пробивалась молодая зеленая трава. Небо было ясное и синее. В воздухе носились с щебетанием ласточки. Очевидно, была весна. Из этого здания, где мы с вами теперь постоянно бываем, так как там помещается наше управление, я вышел на улицу, добрался до Забалканского проспекта и увидел там издали солдат, одетых в сероватую летнюю форму с сероватыми же головными уборами, вроде пилоток. Они шли к Фонтанке со стороны Балтийского и Варшавского вокзалов.

Затем сон перенес меня еще в какое-то здание. Большая комната, в которой я очутился, была полна мечущимися в отчаянии и испуге людьми. На полу разбросаны были бумаги. Я подошел к одному старому, невысокого роста человеку, положил правую руку ему на плечо и сказал: «Полно, не пытайся бежать! Тебе не спастись». Тотчас после этого я пробудился.

Когда я пришел в университет и собирался рассказать виденный мною сон моему товарищу по гимназии Лопаткину, последний предупредил меня словами: «Послушай, какая странная вещь со мною случилась! Никогда я, кажется, не вижу снов, а нынче ночью мне приснилась революция, и даже на войне как будто побывал». И он стал рассказывать картины, виденные им во сне. Некоторые из этих картин не совпадали с моими, так как происходили в других местностях, некоторые же были сходны до мельчайших, порою поразительных, подробностей. В заключение последней из виденных им сцен он сказал: «Ты подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и произнес: «Полно, не пытайся бежать. Тебе не спастись!» Помню, что, разговаривая потом с Лопаткиным о наших снах, мы с ним решили, что он, вероятно, увидит мой призрак перед своей гибелью.

— А сон этот не мог служить продолжением и следствием разговоров, которые вы, быть может, вели с вашим приятелем о революции? — спросил Гош.

— Отнюдь нет. Мы с ним не разговаривали в то время о революции и ничего непосредственно перед тем о революции не читали.

Затем я рассказал Гошу и прочие уцелевшие в моей памяти перипетии и картины этого сна.

Федор Николаевич делал вид, что внимательно меня слушает, но мне казалось, что он мало доверяет моему рассказу, приписывая, вероятно, большую часть того, что я говорил, моему литературному воображению.

Я посмотрел на часы. Было уже поздно, и мы простились.

Встретив меня потом в управлении, Гош обронил, что он не прекращает попыток проникнуть в заколдованный замок страны снов, но теперь запасся талисманом и принимает все необходимые меры предосторожности, предписываемые оккультной наукой. Федор Николаевич присовокупил, что пользуется советами «одного опытного мага», но фамилии последнего назвать почему-то не пожелал. Впрочем, в отношении своих разнообразных знакомств он и раньше проявлял некоторую таинственность.

— При помощи этого мага,— продолжал Гош,— я раз побывал даже на террасе со ступеньками к пруду. Идти дальше мой наставник на первое время мне не советовал. Это тем более интересно, что я был там не совсем во сне. Во сне наше «я» не управляет своими действиями, как будто последние зависят от воли какого-то другого лица. Во сне вы не знаете наперед, куда пойдете и что будете делать, а я знал.

Острым длинным кинжалом с двумя полумесяцами на рукоятке я начертил круг на мраморных плитах террасы, встал в середине и долго звал амазонку-охотницу. К сожалению, должен признаться,— напрасно. Может быть, я недостаточно твердо знал заклинания, может быть, последние были недостаточно сильны, вернее же оттого, что мне неизвестно было имя вызываемой, но она не пришла. В парке стояла ночная мертвая тишина. Даже листья не шелестели. Луна обливала своим светом пустую террасу и кусты белых роз. И, пользуясь лунным сиянием, перед тем как возвращаться в свою повседневную жизнь, я нацарапал на перилах террасы у верхней ступеньки каменной лесенки, направо от входа, круг, а в нем мою монограмму из инициалов Ф и Г. Я знаю, что монограмма эта останется там в действительности и на долгие времена,— закончил свой рассказ Гош.

Вскоре мы навсегда потеряли друг друга из виду. Я женился, переменял место службы и, войдя впервые в Таврический дворец, в канцелярию которого поступил, был поражен сходством его Круглой залы с виденной мною во сне. Та же коричневая живопись в верхней части стены, те же, что и во сне, пустые белые кронштейны на ней; такой же свет сверху, какой бывает в церквях; те же большие белые колонны в соседнем Екатерининском зале, где должны были потом разыгаться политические события. Увидев наяву эти залы и другие помещения дворца, где я когда-то проходил во сне, я почувствовал, что, по всей вероятности, сбудутся все подробности моего отрывочного длительного сновидения вплоть до появления на улицах обреченной столицы солдат в незнакомой мне тогда форме, с сероватыми пилотками на головах.

Но поделиться своими впечатлениями и соображениями с Гошем мне не пришлось. В ту же весну, когда я переменял место службы, он захворал и уехал в отпуск на юг. Там он вскоре и умер, оставив меня в неизвестности относительно того, удалось ему или нет увидеть свою волшебницу-амазонку.

Время шло своим чередом. Наступила война. Совершился со всеми своими последствиями государственный переворот. Помня из своего опыта с надписанной программой на экзамене по догме римского права, что сны не всегда бывают тем, что обязательно должно случиться во всех подробностях, и являются иногда предостережением, я воздерживался от посещения тех уголков Петрограда, в которых согласно одному из моих сновидений мне угрожала опасность. К числу таких мест принадлежали, например, окрестности Петропавловской крепости. Во сне, виденном мною задолго до революции, я шел там, стуча сапогами по замерзшей грязи и по трещавшей ледяной коре лужиц. В парке были изредка слышны одиночные выстрелы. Шел я там в темное время суток. Обычные в то время фонари почему-то не горели. Во сне я был совершенно один и неожиданно подвергся нападению вооруженных людей, одетых в русские серые солдатские шинели. Помню, что пробудился я, перелезая во сне через какой-то высокий забор, чтобы спастись от угрожавших мне снизу штыков, появившихся следом за мной. Вспоминая этот сон, казавшийся мне некогда нелепым и странным, я всегда остерегался во время революции бывать в позднее время около Петропавловской крепости.

Многое из виденного мною во сне в 1897 году, например, трупы убитых в Круглой зале Таврического дворца или войска в иностранной форме на Забалканском проспекте, оказалось несбывшимся, но из этого еще не следует, что события эти никогда не случатся.

Благополучно выбравшись в январе 1918 года в Крым, куда во время

войны переведена была мною семья, и прожив там до осени, я очутился затем волею судьбы во время немецкой оккупации на Вольни, неподалеку от австрийской границы, в небольшом имении у тещи. В соседнем еврейском городке с узловой железнодорожной станцией случилось мне встретиться в двадцатом, кажется, году с приятелем покойного Гоша, Остроумовым. Последний шел медленным шагом прогуливающегося человека с дорожной котомкой за плечами. На щеголявшем когда-то в особенно модных жакетах и визитках художнике была теперь потертая военная форма, но без погон.

— Георгий Сергеевич,— окликнул я его по имени и отчеству.

Сначала Остроумов меня не узнал, но потом, когда я назвал себя и редакцию журнала, где мы в былые годы встречались, обрадовался и разговорился. Мы вспомнили с ним старину, поделились впечатлениями последних пережитых лет. В разговоре я упомянул, между прочим, о смерти Гоша.

— А вы его разве знали? — спросил Остроумов.

— Да. И он очень много о вас рассказывал.

— Что же? — не без некоторого беспокойства спросил художник.

— Да вот хотя бы о ваших повторных снах с полетами в черный храм. Скажите, Георгий Сергеевич, после столкновения с вашим ангелом-сперником вы никогда ни наяву, ни во сне не встречали больше девицу, послужившую яблоком раздора между вами?

— Видите ли,— ответил Остроумов,— из нас двоих художником следовало быть не мне, а моему другу Гошу. Действительно, я пробовал некогда курить опиум, просматривая предварительно Фелисьена Ропса, Фердинанда Кнопфа, Гойю и прочих графиков с уклоном в демонизм. После этого у меня несколько раз бывали кошмарные, хотя и бессвязные, сновидения. Внутренность черного храма, ангел в огненно-красной одежде и девица с миловидным лицом действительно там порой повторялись, но все это было довольно хаотично, и лишь после того, как я передавал свои впечатления Гошу, а он потом вновь излагал их мне в разговоре, сны мои в его передаче приобретали уже некоторую обработку по части преемственности событий и подробностей обстановки. Черный храм он описывал так, будто бывал там чаще меня. Я же после столкновения с красным ангелом совершенно прекратил свои полеты.

— А девицу вы никогда потом не встречали? — повторил я вопрос.

— Нет, не встречал. У нее было очень интересное и симпатичное лицо, которое действительно приснилось мне несколько раз. Я его даже потом пытался, как и некоторые другие образы сновидений, зарисовать по памяти, но вполне, впрочем, неудачно.

— Может быть, вы ее еще где-нибудь увидите и будете иметь возможность срисовать это лицо с натуры. Иногда мы видим во сне лица, обстановку и местность, где нам придется со временем еще побывать. Вы читали когда-нибудь стихотворения Алексея Константиновича Толстого?

— Читал. Некоторые из них, признаться, очень даже люблю.

— У него есть «Крымские очерки». Там целый цикл стихотворений, написанных тотчас же после войны 1854—1855 годов, когда только что оправившийся после тифа поэт совершал прогулки по южному берегу Крыма с любимой женщиной. Никогда, кажется, ему так не писалось, как в то время.

— Как же не помнить! — перебил меня Остроумов и даже запел вполголоса:

Ты помнишь ли вечер, как море шумело,  
В шиповнике пел соловей,  
Душистые ветки акации белой  
Качались на шляпе твоей?

— Это, конечно, прелестное стихотворение,— сказал я,— но не его имел я в виду, когда хотел рассказать вам, Георгий Сергеевич, нечто о снах, в которых мы видим порой местность и обстановку, где нам придется потом бывать.

Я начал рассказывать Остроумову о том, как поэт и его возлюбленная прибыли в Мелас, расположенный недалеко от Байдарских ворот, имение дяди Толстого Перовского. Росшие по спускавшимся к морю склонам Яйлы вековые деревья были срублены занимавшими эту местность французами. Дом Перовского был разграблен стоявшими там неприятельскими солдатами. На стенах были упомянутые в стихах Толстого «рисунки грубые и шутки площадные», на украшающих комнаты статуях — следы сабельных ударов. Разбитые зеркала, выбитые стекла, переломанная мебель, уютящиеся в ком-

натах совы и прочие следы разрушения и запустения наполнили печалью сердце поэта и вдохновили его на создание стихотворения «Приветствую тебя, опустошенный дом, завядшие дубы, лежащие кругом, и море синее, и вас, крутые скалы, и пышный прежде сад — глухой и одичалый».

— Будучи художником, вы, вероятно, помните великолепный образ ползучих роз, цепляющихся за мраморный карниз окна. Но не в этом дело. Мне случилось как-то видеть записную книжку поэта, которую он имел при себе во время этой поездки. Книжка, хотя из нее и было вырвано довольно много страниц, сохранила в себе, однако, интересные авторские заметки и первоначальные наброски «Крымских очерков». И против черновика упомянутого стихотворения стояла сделанная рукою поэта приписка: «Так вот что столько раз представлял мне сон упорный!» Я полагаю, что Толстой видел во сне обстановку опустошенного дома, в котором ему впоследствии пришлось побывать.

— Очень возможно, что так, — ответил Остроумов. — И вы полагаете, что мне еще придется встретить в действительной жизни ту милую барышню, вместе с которой мы так хорошо проводили время среди окружавшего нас демонского и бесновавшегося общества? Помню, что ей было страшновато. Она прижималась ко мне плечом и слегка дрожала... Нет, вряд ли! Там, куда я иду и откуда, вероятно, не вернусь, барышень, кажется, нет.

— Я не настаиваю на том, что вы непременно увидите эту особу, но ваша встреча возможна. Кто-то уподобил так называемые вещи сны отражениям в нашем мозгу надвигающихся событий. Это все равно, как если бы вы сидели у окна и смотрели в прикрепленное снаружи к раме зеркало, в котором отражаются по мере своего приближения двигающиеся по улице люди и предметы. Вы видите в зеркале идущего по направлению к вам человека ранее, нежели он поравнялся с вашим окном. Он, по всей вероятности, пройдет мимо, так что вы сможете его увидеть и непосредственно в окно, но он может, не доходя до вашего окна, свернуть в ближайшие ворота, и тогда в действительности вы его не увидите.

— Да я и не желал бы встретиться наяву ту, которая мне так понравилась во сне, — сказал Остроумов. — О, насколько грезы прекраснее действительности! В благодарность за комментарий к Алексею Константиновичу Толстому я, в свою очередь, для пояснения моей мысли прокомментирую вам писателя, к которому вы, кажется, равнодушны. Вы ведь читали «Афродиту» Пьера Луиса?

— Не без удовольствия, — ответил я.

— Так вот, оный Луис в этом своем романе развил тему, заключающуюся в одном антологическом стихотворении, вероятно, александрийского периода. Я, конечно, не помню его по-гречески, по-русски же, если останусь жив, прочту, может быть, в вашем поэтическом изложении. Смысл этого стихотворения приблизительно такой: «Свенеланс, ради удовольствия которой пылают столицы, та, которая продает себя за баснословную цену и собирает сокровища лиц, в нее влюбленных, — целую ночь до утра, благодаря сновидению, провела рядом со мной вся обнаженная и не требуя платы за свои ласки. Я не буду больше на коленях умолять эту жестокую деву и не стану больше оплакивать свою участь после такого сна, подарившего мне, безо всяких издержек, столько блаженства».

— Развивая далее проводимую мысль, — продолжал Остроумов, — Пьер Луис заставил своего героя, видевшего подобный сон, художника Деметрия, отказаться от ласк, предлагаемых ему красавицей, любви которой он ранее домогался. И он поступил правильно. Иначе ему пришлось бы раскаиваться, как некогда Апеллесу, которому Александр Великий подарил свою фаворитку, заметив, что художнику, писавшему ее портрет, нравится оригинал. Великодушный жест властелина доставил потом живописцу много хлопот и беспокойства... И вслед за героем Пьера Луиса я повторяю, что девица, виденная мною во сне, вряд ли станет милее и интереснее, если я познакомлюсь с ней в действительной жизни. Помню, она раз подошла ко мне в сновидении и коснулась моей ноги. Я встал, и мы, обнявшись, полетели по воздуху. На ней был черный плащ с откинутым капюшоном. Голову свою она клала мне на плечо, и я до сих пор помню ласковое прикосновение ее нежных волос... Нет! Действительность может только испортить прекрасную грезу. Кем теперь может быть моя знакомая незнакомка спустя почти двадцать лет после разлуки? Постаревшей истеричной беженкой с истерзанными нервами, аван-



тюристой, шпионкой, содержанкой разбогатевшего спекулянта, большевицкой сестрой милосердия, проституткой, предлагающей себя за кусок хлеба иностранным солдатам? Нет, я не хочу действительности! С меня довольно моего блаженного сна!

Разговор перешел мало-помалу на политические события. Мы проговорили еще около часа, расстались, по всей вероятности, навсегда.

Года два спустя после встречи с Остроумовым мне понадобилось съездить по какому-то делу из имения, где я жил, верст за семьдесят. Путешествовать пришлось и на возу, и по железной дороге, и даже пешком. Отчасти поручение знакомого, отчасти случай занесли меня несколько в сторону от прямого пути к одному сельскому священнику. Давно не видевший никого, кроме своих прихожан, местного еврея и разных властей, приезжавших с целью реквизиции, батюшка принял меня очень любезно, весьма обрадовался привезенному мною письму и предложил мне отдохнуть у него хотя бы до следующего утра. Предложение было столь радушным, что я не мог отказаться, тем более что мне хотелось посмотреть славившиеся в том месте своею красотой крутые берега реки и остатки большой разрушенной помещичьей усадьбы.

— До тридцати комнат в палаче было, не считая флигелей. Картины итальянские, стены и потолки расписные. А имущества-то: посуды, белья и платья! В таких кружевах и шелках наши бабы теперь в церковь ходят, что даже смотреть неловко. Штоф, атлас и бархат с мебели посрезали да себе кофты с юбками пошили. Зеркал одних сколько побито! Целиком-то в хатах не помещались. Один мужик, впрочем, трюмо у себя в клуне поставил. Зашел туда бугай, увидел свое отражение да как хватит рогами. Ну, ничего, осколки подобрали. Все в дело пошли. Мебель, конечно, растащили. Частью евреям из соседнего местечка продали, частью пожгли. За год до войны новые трубы водосточные, цинковые, пан граф к палачу поставил. Так из этих труб, маленьких трубок и посуды для перегона горилки видимо-невидимо теперь понаделали. А книг сколько было! Две большие комнаты по стенам были заставлены до самого потолка. Я видел потом, как обгоревшие подранные лоскутья от них по всему парку носило. Не то по-итальянски, не то по-английски напечатаны были, трудно разобрать. Я, признаться, здесь живя, семинарскую-то премудрость, что в Кременце приобрел, уже перезабыл. Так когда после солдатского погрома крестьяне палач грабили, они ночью вместо факелов эти книги зажигали да с ними и ходили.

— А сам помещик успел убежать?

— Пан граф-то? А вы разве не слышали? Нет, и его самого, и падчерицу его солдаты, шедшие с фронта, убили. Фронт-то ведь рядом был. Пока штаб тут стоял, жить еще можно было, а как начальство свое наши солдаты поскидали, совсем скверно стало. А пан граф в то время болен был и выехать не мог. Так его в постели и застрелили. Падчерица же его девица самолюбивая была и бежать не пожелала. Ну, ее и замучили, а то, говорят, сама застрелилась. С большими странностями была особа, весьма ученая и гордая. Не только меня, но и ксендза на порог палача не пускала. Разное про это и на селе болтали, и в местечке. Бог им, конечно, судья. Одно только верно было, что и она, и старый граф вольнодумцы были и ни на кого обращать внимания не желали.

После обеда хозяин мой, надев свою порыжевшую от времени и потемневшую поповскую шляпу с полями, любезно взялся мне показать то, что осталось от графской усадьбы. По дороге он продолжал рассказывать.

— Странно, конечно,— говорил он,— что девица, еще не в старом сравнительно возрасте, замуж идти не хотела, жила со стариком, который ей ни муж, ни отец; в покоях у себя ручных волков держала, гостей не принимала и сама в гости не ездила. Знай себе, читает толстые книги днем и ночью или верхом катается. Конь у нее огромный был, черный и злой. Крестьяне его даже за нечистую силу считали. Я раз поздним вечером с напутствия возвращался, едва-едва с ней не столкнулся. Как вихрь, пролетела. Вся в черном, на скаку не шелохнется, разве только шляпу порой поправит. Конь под ней весь в пене и храпит. А рядом с ее конем эти волки проклятые. От этих волков, хоть они и ручные были, моя кобылица чуть было меня из тарантаса не выворотила. Когда потом солдаты палач грабили и стали из конюшни коней выводить, конь этот черный одного из них передними ногами сшиб и затоптал. Другие солдаты его тут же и застрелили. Да и

волкам та же участь была. Они грабителей в комнату к падчерице графской пускать не хотели.

Два каменных столба со следами обколоченных гербов на них соединялись некогда железной решеткой отсутствующих теперь ворот. Несколько лет не стриженная, отросшая живая изгородь тянулась сверху своими еще не зеленеющими, но с налитыми уже почками гибкими ветвями. Стояла чудная погода начала апреля. Кое-где в молодой траве виднелись маленькие цветочки. Шагая по хворосту и щепкам от вырубленных еще недавно аллей и пройдя мимо лишенных крыш и окон двух флигелей сравнительно новой постройки, мы добрались до того места, где стоял дворец.

— Еще с семнадцатого года стали парк рубить, всего уничтожить не успели, а теперь не смеют,— продолжал говорить батюшка.— Да и по ту сторону усадьбы какой парк был! — Он показал в сторону, где между пней паслись крестьянские коровы и кое-где торчали почему-то не спиленные каштаны или клен. Напоминавшая высокую ламповую щетку своими коротко, почти доверху обстриженными ветками, высилась там и сям американская ель или кедр с отхваченной безжалостно верхушкой. Из груды обломков переднего фасада дворца виднелась обезглавленная, начала XVIII столетия, каменная статуя, изображавшая средневекового воина, державшего щит с графской короной на гербе. Тот же герб случайно уцелел на фронтоне. Здание было двухэтажное, сильно закопченное пожаром, без крыши и окон, с небольшими полуразрушенными башенками с обеих сторон. Вокруг валялись кирпичи, разбитые стекла, куски проржавевшего кровельного железа и осколки кафельной облицовки каминов. Высохшее персиковое деревце спротивно жалось к стене между больших окон с выломанными рамами. В окнах верхнего этажа сквозя снятую крышу виднелось синее небо. Закоптелые стены комнат еще хранили следы зеленой и синей облупившейся краски. Деревянные полы были сняты, каминные и печи разбиты. Дверей нигде не было видно.

— Половицы, балки и прочее дерево на самогон пошло,— сказал мой спутник.— Шибко теперь крестьяне самогоном занимаются. Недавно новые хозяйства, поляки, шесть кубов перегонных арестовали, а тридцать шесть, говорят, не найдены, остались и работают. И не то, чтобы богатые только гнали, а и бедняки. У иного всего пудов пять жита осталось, а он их на горилку изводит.

Мы обошли кругом некогда, вероятно, красивый и стильный дворец. Полюбовались с полуразвалившейся террасы на открывавшийся вид, который несколько портили следы порубки и пасшихся коровы. Потом по одной из уцелевших аллей, шурша по гравию, пошли к небольшому озеру. Оно было обложено плитами из серого камня, покрывшегося мхом и местами заросшего травой.

— Крепостной труд,— счел нужным заметить по поводу облицовки батюшка, и мы пошли, спускаясь слегка вниз мимо не зеленевших еще кустов.

— Все розы. Еще при деде последнего владельца были насажены. Специальные сорта в оранжереях выводили. Теперь и от оранжерей ничего не осталось. Стекла в них сперва повыбивали, а нынче куски подбирают, чтобы в собственных хатах окна чинить. Часто ведь их бьют-то. Перепьются и пойдут друг дружке «шишки» выколачивать. Только звон стоит.

Мы подошли к террасе над озерной пристанью. Она вся была обложена белым мрамором. Местами плиты были расколоты, местами даже вынуты, и из-под них виднелся кирпич. Перила в одном месте были обвалены в воду. Рисунок их показался мне странно знакомым. Я спустился по ступенькам, ведущим к воде, и увидел в нишах по обе стороны лестницы каменных филинов. У одного из них была отбита голова, а у другого лишь клюв. Под нишами, как и на картине художника Степанова, были большие железные кольца.

Совершенно забыв про сопровождавшего меня батюшку, я вновь поспешно взбежал по позеленевшим ступеням и стал внимательно разглядывать верхнюю часть перил балюстрады. Там я довольно скоро нашел то, что искал. Но от нацарапанной Гошем монограммы остались только следы. Она была соскоблена тоже чем-то острым. Остался нетронутым лишь круг. Около круга было написано карандашом незнакомым мне почерком, как будто женской рукой, одно только слово: «Nolo» («Не хочу»)..

Схожая судьба постигла сны моих двух знакомых. Один из них сам не пожелал превращения сонной грёзы в действительность; другой же, хотя и стремился встретить в жизни царицу своих сновидений, но та тоже не захотела наяву познакомиться с человеком, которого она пожалела во сне.

Публикация В. КРЕЙДА

Максим СОКОЛОВ

## Так какую же войну мы проиграли?

### Приступ

Державный строй души — безотносительно к его нравственной и умственной доброкачественности — причиняет его носителям очень большие страдания. В зависимости от врожденного темперамента и приобретенной благовоспитанности они пребывают либо в состоянии огорченного недоумения (И. Р. Шафаревич, С. Н. Бабурин), либо вовсе исполняются духа злости и братоненавидения (В. В. Жириновский, А. Г. Невзоров). Причину таких душевных волнений понять нетрудно. Державные мыслители изо дня в день сообщают публике совершеннейшую правду: Россия оказалась в унижительном положении страны, потерпевшей сокрушительное военное поражение, православные же вместо того, чтобы броситься с дреколем на виновников неслыханной беды, нанесших великой державе «удар ножом в спину», пребывают в состоянии абсолютно непонятной апатии. На фоне такой общественной тупости крайняя злость одинокого всадника из «НТК-600» по-человечески совершенно понятна.

В самом деле, картина поражения впечатляет. С потерей Восточной Европы, Прибалтики, Молдавии, Украины и Белоруссии границы Империи отодвинулись на две тысячи километров к востоку. Южные и восточные провинции также отложились.

Страна не в состоянии обслуживать внешний долг, все доселе тщательно скрываемые общественные язвы (нищие, калеки, люмпены) открыто предстают утомленному взору, ну а прелести инфляции, черного рынка, коррупции и т. д. описывать и вовсе излишне.

Положение усугубляют еще два чисто послевоенных феномена. В условиях как войны, так и социалистической системы хозяйствования экономика работает в режиме «перетянутой струны» — на износ. Не обновляя производственных фондов, страна как бы залезает

в карман к будущим поколениям. С концом войны (гегр.: коммунизма) перетянутая струна лопается, и развал хозяйства идет лавинообразно. При этом возникает «эффект ножниц»: естественные человеческие ожидания лучшей жизни после ухода коммунистов (оккупантов, нацистов, etc) входят в мучительное противоречие с неизбежным обвалом перенапряженной экономики.

И точно по послегорбачевскую Россию пишет вовсе не А. Г. Невзоров, а либеральный немецкий историк Вилли Шиклинг:

«...Деньги, скопившиеся на руках или на счетах у некоторых граждан, а также запутанная сеть многочисленных и усердных, занятых бесконечной бумажной войной хозяйственных канцелярий и пунктов выдачи карточек («правительство» г. Москвы? — М. С.) могли создать иллюзию, будто все идет законным порядком. На самом деле, однако, агонизирующая экономика гнала людей на черный рынок, где американская сигарета, приравненная к пяти или шести рейхсмаркам (при стоимости пачки «Марлборо» в 100 рублей одна сигарета стоит как раз 5 рейхсрублей. — М. С.), играла роль валютной единицы (Бог пока миловал. — М. С.) и где дикие, но безропотно принимаемые цены (250 марок за фунт масла) однозначно свидетельствовали о стремительном обесценивании денег. Натуральный обмен, возвративший страну к доисторическому веку, все больше вытеснял денежный обмен... Появились мини-аграрии, державшие мелкий скот на балконах, разводившие кроликов где-нибудь на заднем дворе. В Берлине носились с мыслью устроить на огромной территории разгромленного, растасканного на дрова зоологического сада, некогда знаменитого берлинского Тиргартена, — картофельную плантацию... Миллионный поток беженцев и изгнанных жителей отторгнутых земель устремился в старые центральные и западные области рейха, где перед властями встали неразрешимые проб-

лемы снабжения и жилья... Там и сям городские власти пытались преградить путь беженцам, подчас вообще не знаящим, куда им податься... Самые законопослушные граждане в конце концов не могли удержаться от правонарушений: никто не был в состоянии соблюдать бесчисленные официальные постановления, уложения, правила и инструкции. Дело доходило и до преступлений, грабежа лавок, кровавых потасовок порой в собственной семье (любимый сюжет нынешней уголовной хроники, свидетельствующий, по мнению ее авторов, о нигде доселе не виданном одичании граждан России. — М. С.)... Бургомистр Франкфурта подсчитал, что только для того, чтобы разгрести развалины в его городе, понадобится тридцать лет: город должен был быть расчищен к концу 80-х годов. Один чиновник дармштадтского коммунального ведомства утверждал, что при существующем темпе производства цемента Дармштадт будет отстроено через полвека... Все, кто жил и мыкался в те первые послевоенные годы, были полностью обескуражены, подавлены и только спрашивали себя: неужели немцы так и останутся до скончания веков голодным и нищим народом?»

Безмолвствие народа на фоне такой беды заставляет предположить, что существует какой-то психологический механизм, противодействующий вполне естественным в таких обстоятельствах гневу и отчаянию. Если, конечно, не считать, что нация превратилась в стадо бессловесных скотов, — а против такой версии говорит хотя бы опыт повседневного общения с ближними, показывающий, что образ и подобие Божие ими вовсе не утрачены, — остается единственная версия: люди прекрасно понимают, что жизнь в условиях как бы военного поражения тяжела и ужасна, но есть вещь, которая была бы ужаснее всякого поражения. Наша победа.

Похоже, что нация не так далека от понимания строк Эриха Кестнера:

Когда б мы только победили  
Под гром литавр и пушек гром,  
Германию бы превратили  
В огромный сумасшедший дом.

Когда б мы только победили,  
Все страны разгромив подряд,  
В стране настало б изобилье  
Кретинов, холуев, солдат.

Мы все от мала и до стара  
Такую школу бы прошли,  
Что вскакивали б с тротуара,  
Сержанта завидав вдали.

Когда б мы только победили,  
Немецким б стал загробный мир,  
Попы погены бы носили,  
А Бог — фельдмаршальский мундир.

Когда б мы только победили,  
Мы б стали выше прочих рас,  
От мира бы отгородили  
Колочей проволокой нас.

Страна бы укрепила нервы,  
Народ свой загоняя в гроб,  
Потомство для нее — консервы,  
А кровь — малиновый сироп.

Тогда б всех мыслящих судили,  
И тюрьмы были бы полны,  
И войны чаще водевилей  
Разыгрывались в изобилие.  
Когда б мы только победили...  
Но, к счастью, — мы побеждены.

Так что различие между носителями державного сознания и малопонятливой широкой аудиторией, а следственно, и разгадка народной тупости, — довольно просты: страдальцам за народ бедные картины Кестнера нравятся, народу — не очень. Более того, в желании примирить отъявленных западников и просвещенных почвенников можно бы даже процитировать не декадента Кестнера, а вермонтского пророка А. И. Солженицына, которого и среди державных мыслителей обругивать пока почему-то не принято.

«Простая истина, но и ее нужно выстрадать: благословенны не победа в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы — и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно. Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе».

На такой фиоритуре можно было бы и закончить рассуждение, предаться мирному строительству и предоставить отечественным христианско-державно-демократическим последователям А. И. Солженицына выяснять причины своих разногласий, если бы не маленькая неприятность: цитированное выше стихотворение Эриха Кестнера «Другая возможность» написано действительно немцем, действительно в Германии и действительно после войны, — но только после первой мировой, а была ведь еще и вторая — и все, что ей предшествовало. А это и составляет с понятным интересом обратиться к вопросу, какой же Германии Россия уподобилась — Германии 1918-го или Германии 1945-го. — благо, с легкой руки профессора А. Л. Янова сделался вполне расхожим термин «Веймарская Россия», и хотелось бы знать, то ли будущим историкам придется оперировать вослед идущим термином «нацистская Россия», то ли льстиво воспевать послевоенное российское экономическое чудо.

## Политика

Крайнее беспокойство не только профессора Янова, но и маститых отечественных мыслителей, наблюдающих нашу печальную жизнь изнутри, вероятно,

в большой степени связано с естественной привычкой более всего интересоваться публичной политикой и делать выводы на основе чтения ежедневных газет. С таким материалом для исследований ничего не остается, кроме как впасть в глубокий пессимизм, так как политики взаправду делают все, что можно, для того, чтобы нацизм мог и возрасти, и укрепиться.

Даже вполне аполитичный обыватель, разбуди его ночью, немедля, как затверженный урок, отчеканит, что у победивших в августе титанов мысли и отцов русской демократии есть два любимых занятия: путать свой карман с казенным и неистово прожег себя собачиться. Подвиги, например, московской мэрии еще ждут своего воплощения на страницах плутовского романа, а пиры российских Тримальхионов вроде К. Н. Борового или Г. Л. Стерлигова — своего Петрония. Теплая же манера публичной внутримемократической полемики (par exemple, способ, коим законодательная власть в лице Р. И. Хасбулатова справедливо укоряет власть исполнительную в лице своих любимцев-министров) совершенно конгениальна царевниной манере из «Потока-богатыря»:

Шаромыжник, болван, неученый холоп,  
Чтоб тебя в турий рог искривило!  
Порбсенок, теленок, свиной, эфиоп,  
Чортов сын, неумытое рыло!  
Кабы только не ЭТОТ мой девичий стыд,  
Что иного словца говорить не велит,  
Я тебя, процельгуя, нахала,  
И не так бы еще обругала.

Делая известную поправку на то, что до 1933 года Германия была довольно цивилизованным государством, а потому вышеназванные слабости молодой демократии там выглядели не столь эффектно, нужно признать, что веймарская ситуация действительно воспроизводится довольно четко. Крайне сомнительные гешефты с сельскохозяйственными субсидиями и боязнь разоблачения этих гешефтов довольно сильно ослабляли позиции веймарских политиков в борьбе с очистительным национал-социализмом, а взаимная любовь левых и центра также весьма помогала правым. Сперва, как выражаемся мы нынче, «демократам-государственникам», а затем и сменившему государственных г-ну Гитлеру.

И добро бы сходство ограничивалось лишь этим, — в конце концов во все времена политики любили воровать и лаяться, а гитлероподобные существа случались все же только по большой оказии. Сходство с Веймарской Германией глубже и неприятнее.

Историки и современники, описывая жите-бытие г-на Гитлера в 20-е годы, указывают в первую очередь на то, какой это был отвратительный субъект: якшается с ответными уголовниками, на воротнике перхоть, зубы плохие, кожа в угрях, манеры дурные, дикое невежество и столь же дикая brutality, — все время грозит подвергнуть своих по-

литических противников квалифицированной смертной казни. Беда Германии, однако, вряд ли заключалась только в том, что в ней водились такие мало-симпатичные политики, — где же такого добра не хватает? Беда заключалась скорее в том, что г-н Гитлер довел до логического конца те умонастроения, которые господствовали среди большей части респектабельных и совершенно не страдавших угрями и перхотью политиков. Разорвать позорные версальские путы, восстановить величие униженной Германии, направить свой Drang nach Osten (можно, впрочем, и nach Westen), защитить германских промышленников от гнета международного финансового (не обязательно говорить «еврейского») капитала, поддерживать, как сказали бы теперь, «национально ориентированную экономику» призывали вполне почтенные государственники той поры — канцлер в генеральском чине Курт фон Шлейхер, лидер Национал-германской народной партии Альфред Гугенберг (нечто вроде блока ДПР, РХДД и КДП «Народное согласие»), вожди организации фронтовиков «Стальной шлем» (Всеармейское офицерское собрание), да и сам папаша Гинденбург одобрял совершенно благообразные идеи в духе «Как нам обустроить величие Рейха». Коричневой чуме предшествовал крайний иммунодефицит.

В результате г-н Гитлер лишь усовершенствовал то, что уже имелось в личности. Более того: сами немецкие государственники 20-х годов отдавали себе отчет в известном сродстве державных целей г-на Гитлера и своих собственных, но, подобно Гугенбергу, были искренне убеждены, что подобное лечится подобным, — г-н Гитлер спекулирует на здоровых патриотических настроениях, и задача «национальной оппозиции» — вырвать доверчивые ширнармассы (широкие народные массы) из объятий опасного демагога, искажающего похвальные идеи национального возрождения. Вслед за г-ном Гугенбергом тем же озабочены и более поздние господа. 1-й секретарь ЦК РХДД В. В. Аксютин сообщал, что В. В. Жириновский искажает и опешляет высокие идеи: само по себе упразднение республиканского деления СССР и учреждение губернского деления на бескрайних просторах унитарной Империи (дело было весной 1991 года) — дело вполне похвальное, но В. В. Жириновский предлагает его по причине своего дурного нрава, тогда как В. В. Аксютин — по причине своей доброй природы. В сентябре 1991 года та же верхушка РХДД и литераторы, группирующиеся вокруг «Нового мира», горячо обличали безответственную интеллигенцию, которая чужда державного сознания (не разделяет территориальные претензии России к Украине и Казахстану) и тем самым роет «ямку фашизма»: «синдром национального поражения, национально-исторической неудачи и отчаяния» будет

использован русским фашизмом. Поэтому христианские политики и литераторы предложили использовать его раньше фашистов. И используют всласть: «Даешь Крым!», «РСФСР — это еще не вся Россия», «Наша слава — русская держава» et cetera, et cetera.

Внешне и деятельность «национальной оппозиции» в Веймарской Германии, и деятельность «демократов-государственников» выглядят хоть куда: добронамеренные и благоразумные политики, вооружая «северной хитростью», выхватывают у наци их излюбленные лозунги и, очистив их от национал-социалистической мерзотины, возвращают искаженным идеям истинный, глубоко похвальный смысл, избавляя тем самым массы от влияния экстремистов. Тех, кто, говоря политическим языком, совершает «перехват революции», как же не похвалить.

Трудность, однако, в том, что деятельность германских «демократов-государственников» окончилась крайне прискорбно. Вместо того, чтобы переманить публику от «австрийского еврейтора» к себе, г-н Гугенберг добился в точности обратного эффекта: число приверженцев еврейтора возросло как раз за счет бывших сторонников самого г-на Гугенберга. Впоследствии, как известно, часть германских «демократов-государственников» была отправлена г-ном Гитлером к праотцам во время «ночи длинных ножей», а часть пришла к выводу, что и в идеях еврейтора есть положительные моменты. Реализуя эти положительные моменты, некоторые просвещенные патриоты вроде Франца фон Папена даже удостоились чести поучаствовать в Нюрнберском процессе в качестве подсудимых.

Такое неожиданное развитие событий объясняется, к сожалению, не каким-то помрачением рассудка германских ширнармасс, а совсем наоборот: ширнармассы проявили склонность к логическому рассуждению — и именно потому пошли за г-ном Гитлером, а не за «демократами-государственниками». Дело в том, что цели и у просвещенных, и у непросвещенных патриотов по большому счету одни и те же: восстановление Державного Величия — Deutschland, Deutschland (resp.: Russland, Russland) über alles, über alles in der Welt! Различие в другом: проучить Украину, где господствуют партократы и националисты, освободить Эльзас-Лотарингию от гнета негройдных французов, пересмотреть границы России в сторону приращения, осуществить Drang nach Osten и т. д. можно лишь используя одно средство — войну. Гг. Гитлер и Жириновский (в последнем случае фамилия условна) — люди внутренне честные и, по крайности, последовательные: считая похвальными свои цели, они соглашаются и на соответственные целям средства. Напротив, г-н Гугенберг, антимарксистский философ А. С. Ципко или христианский фи-

лософ В. В. Аксютин — люди либо лукавые, либо неспособные сообразить, что наряду со звонкими лозунгами надо предлагать и конкретные действия для осуществления этих лозунгов. Результат же такой интеллектуальной недоработки был для немцев (и может оказаться для русских) весьма огорчительным: проникшись услышанными от демократов-государственников лозунгами Великого Национального Возрождения, ширнармассы пошли (и могут пойти) за тем, кто предложит им удобоисполнимый способ материализации этих лозунгов, то есть за тем самым «ничтожным фашизмом», который государственным столь нелюбезен. Иначе говоря, А. С. Ципко электризует массы, объясняя, что «РСФСР — это еще не вся Россия», но когда на электризованные массы захотят, чтобы РСФСР и Россия сделали в своих границах тождественны (для чего надо двинуть войска в победный поход на всех соседей), то трудно представить, чтобы профессор А. С. Ципко гарцевал бы перед войском на горячем коне с криками «На Киев! На Киев!». За него это делают другие, как сделали в 1933-м и последующих годах в Германии. И даже не поблагодарят.

Так что остается в силе вековой давности печальное предостережение В. С. Соловьева: «Несмотря на принципиальную противоположность наших двух национализмов — человеческого и звериного, практически различие между ними всегда как-то стирается, и притом всегда в пользу второго. Как только дело из области отвлеченных формул и определений переносится на жизненную, конкретную почву и какой-нибудь определенный вопрос ставится ребром, так сейчас же человеческое лицо нашей национальной идеи начинает бледнеть, блекнуть, черты его сливаются во что-то бесформенное и туманное, и наконец оно бесследно исчезает, от нашего сфинкса остаются одни совсем не загадочные звериные когти. Я говорю не про фактическое торжество лучших патриотов над худшими в решении практических вопросов — это могло бы быть внешне случайно — нет, поглощение человеческого образа звериным совершается внутри самих представителей славянофильской идеологии (...) нет ни одного, который бы смел или умел довести свои лучшие принципы до конца, последовательно применить их к решению всех существенных вопросов русской жизни».

Впрочем, В. С. Соловьев как не был в фаворе среди отечественных мыслителей и политиков минувших десятилетий, так в него и не попал. Цитируются и принимаются к руководству более подходящие мыслители типа излюбленного вице-президентом А. В. Рудским И. А. Ильина, идеал которого сводится к некоторой гибридной смеси зрелого (конец 40-х — начало 50-х гг.) франкизма и сразу вызревшего французского вишизма («Бог, семья, государство», «Маршал

Петэн — спаситель отечества», «Франция сгубила погоня за наслаждениями»). Когда молитвословом верховных политиков и партийных идеологов являются опубликованные в ноябрьской книжке «Нового мира» труды И. А. Ильина, посвященные тому, как в освобожденной от коммунистического ига России следует лишать избирательных прав (в точности, как в 20-е годы при коммунистическом иге) коммунистов, интернационалистов и педерастов, — начинаешь отчасти понимать новояоркскую тоску профессора А. Л. Янова.

И тем не менее, хотя российские политики делают почти все, чтобы поражение в несостоявшейся третьей мировой войне проросло еще худшими бедами, то есть явно выбирают не аденауэровскую, но гинденбурговскую модель поведения, — ощущения фатальности происходящего почему-то нет. С одной стороны, те же демократы-государственники, начиная за здравие, неизменно кончают за упокой — жалобами совершенно в духе А. Г. Невзорова на то, что слушать их не хотят и, стало быть, «русский народ вырождается». С другой стороны, русский народ, похоже, и в самом деле возрождается, то есть явно манкирует упорными предложениями разыграть очередную «Миф XX века» и на роль белой бестии никак не годится. И при всем желании мне лично так и не удается представить реализацию державно-государственного идеала — собрание, в миллион глоток умильное поющее «Хорст Вессель» à la russe:

Дорогу нашим славным батальонам,  
Спасет страну коричневый оплот,  
С надеждою взирают миллионы  
На свастику, что счастье им несет.

Не взирают — и все. Хоть ты тресни. Ну, а если у политиков все как-то не получается, то, значит, остается в силе закономерность, открытая графом Минихом: Россия не может погибнуть, ибо спасается Божьей милостью и народной глупостью. Божья милость, которую я усматриваю в нынешнем состоянии народного хозяйства, и народная глупость («я не могу понять, что случилось с гордым русским народом», — огорчается А. С. Ципко) — это, кажется, то, что — вопреки политикам — дает некоторую надежду пойти вослед Германии образца 1945-го, а не 1918 года. Начнем обзорение с Божьей милости.

### Экономика

На январском собрании «Московской трибуны» маститый либералов очень беспокоила коричневая опасность. Однако присутствовавший в собрании Н. М. Коржавин вновь подтвердил свою устоявшуюся по обоим берегам Атлантического океана репутацию enfant terrible, возразив либералам: «Фашистская диктатура у нас не удержится. Что она

будет кушать?» Вопрос столь же детский, сколь и уместный.

Никто не может объяснить, ни кого будут грабить новые фюреры, ни даже кого они хотя бы пообещают ограбить. Антисемитизм германских национал-социалистов имел, кроме всего прочего, еще и глубокое экономическое содержание. Было кого грабить: даже после пяти лет национального возрождения Герман Геринг в развитие «хрустальной ночи» учинил «аризацию еврейской собственности» — значит, было что аризовать, было и на кого натравливать участников национального возрождения. Между тем никакого сколь-нибудь эквивалентного аналога «паразитическому еврейскому капиталу», собственности которого можно было бы аризовать, не усматривается. Значит, нет ни «товарного зонтика» для патриотов, нуждающихся в консолидации свежобретенной власти, ни даже козла отпущения. Трудности усугубляются тем, что сюжет о скрытых сокровищах КПСС чрезвычайно долго и нудно эксплуатировался — и оказался полным пшиком. На фоне такого разочарования воодушевить кого-нибудь новым ограблением будет затруднительно.

Но Коржавин прав и в более широком смысле: нацисты суть паразиты, подчиняющие всю хозяйственную жизнь нации идеалам державного величия. Чтобы подчинять, надо, чтобы было чего подчинять, и надо иметь какие-то хозяйственные ресурсы, доставшиеся от предшествующего режима. В 1933 году наци получили пораженную Великую депрессию, но тем не менее работоспособную экономику, начавшую к тому же выползать из кризиса. Сегодня наци могут претендовать на экономику, во многом держащуюся на экстренных хлебных поставках из-за границы, и эта экономика (если ее так вообще можно назвать) ничего не даст им, ибо она в обозримом будущем при всем желании не может служить инструментом державных амбиций. Так что попытки сорвать страну с нормального пути если и следует ждать, то вовсе не сейчас, когда кризис в разгаре, а гораздо позже, фигурально говоря, за пять минут до того, как ее оздоровление станет необратимым. Заметим, что пик активности вполне коричневой ОАС во Франции (начало 60-х годов) и совместные труды неофашистов и «Красных бригад» в Италии (60—70-е годы) приходится не на самое тяжелое послевоенное время, когда, как и у нас сегодня, жизнь являла собой сплошной неореализм, а как раз на переломный период, когда эти страны начали даже не просто вылезать из кризиса, но уже и набирать первый жирок. Попытка провалилась, и теперь итальянские неофашисты и communisti-ortodossi тихо переписываются между собой, учиня граффити на станциях римского метро. Поезд ушел.

Поэтому, если, конечно, начинания Е. Т. Гайдара увенчаются успехом, бурной активности «наших», которая, дай

Бог, кончится лишь чрезвычайной загаженностью Московского метрополитена им. В. И. Ленина, следует ждать разве к 2000 году.

Божья экономика, реализующаяся в состоянии эконоимики, имеет еще один смысл — «чем хуже, тем лучше». Не в том смысле, что надо призывать беды на свою голову, но в том смысле, что уже наличные беды, возможно, суть спасение от бед куда более худших. Описывая возрождение Германии после второй мировой войны, указывают на разные благоприятные обстоятельства: союзная оккупация (хотя, надо сказать, к «экономическим чудесам» г-на Эрхарда оккупационные власти относились довольно кисло), краткость национал-социалистического периода (как будто этот период — о чем долго и справедливо говорил французский обвинитель в Нюрнберге — не произрастал из германской почвы в течение весьма длительного времени), помощь по «плану Маршалла» (что можно сделать с иностранной помощью, видно на отечественном примере). Укажу еще на один, едва ли не главный, на мой взгляд, фактор: германские города к маю 1945 года представляли собой большие или меньшие кучи щебня. (До сей поры небомленность города отмечается в путеводителях как редкостная его достопримечательность.)

Было два последствия.

Во-первых, когда «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузиновой, по Баварии хмельной» лежат одни головешки, нет никакой физической возможности развивать державное величие, строить «национально ориентированную экономику» и «выгонять невменяемых реформаторов, проводящих реформы в безвоздушном пространстве», что нам сегодня рекомендует, например, А. С. Ципко. Пространство послевоенной разрухи оказывается настолько безвоздушным, что приходится заниматься не фантазмами в виде «национально ориентированной экономики», но просто экономикой.

Во-вторых, в роли невменяемого оказывается как раз тот, кому «за державу обидно». Когда довольно выглянуть из окна (если, конечно, у тебя есть дом, в котором к тому же есть окно), чтобы увидеть стандартный городской пейзаж из повестей раннего Генриха Бёлля: «аллея деревьев, сожженных артиллерией», «лавочки были встроены прямо в развалины; казалось, будто они присели на корточки возле выжженных и обрушившихся фасадов». «вихри пыли, поднятые ветром из развалин», — и даже возражать тому, что говорят Herr Newsoff, Herr Alksnis oder Herr Schafarewitsch, покажется бессмысленным: «Посмотри за окошко, там видно, чем кончается державное величие». Как сказано в проповеди митрополита Антония (Блума): «Иногда — могилы, чаще — чистое поле». Полемика с патриотами в аденауэровской Германии притухала сама собой,

поскольку в несчастной стране сбылось пророчество Спасителя о Его учениках: «Если они умолкнут — камни возопиют».

Все вместе это называется «комплексом поражения»: нация, не слышавшая других предостережений, получила наглядный урок того, чем кончается тысячелетний рейх. Нынешний плач по тысячетней державе тоже остается втуне, ибо хозяйство страны лежит едва ли не в тех же руинах, что и германское хозяйство: роль американских «летающих крепостей» с успехом выполнили чудотворные союзные правительства последнего времени. Золотой запас разграблен, все заемные возможности исчерпаны, денежная система разрушена — и все ради того, чтобы из последних сил поддерживать то самое державное величие. В таких обстоятельствах предложение начать все сначала — слишком преждевременно, и недаром более умные — вроде И. Р. Шафаревича, надеясь, конечно, на окончательную победу, горько признают, что им, наверное, до нее не дожить. Точное воспроизведение национал-социалистических сетованний образца 1945 года — тогда, понимая, что те, кто находятся в сознательном возрасте, никогда не простят наци, до чего они довели Германию, — национал-социалисты надеялись лишь на тех, кто в 1945-м пребывал в младенческом возрасте: быть может, их прельстит «гитлеровская легенда».

Естественно, командование англо-американских ВВС ни о каких таких духовных последствиях своих тотальных бомбардировок не думало, подчиняясь простой ведомственной логике: «Самолетов довольно, господство в воздухе полное, отчего же не бомбить?». Еще менее думали о грядущем комплексе поражения «первопечатники» Н. И. Рыжков и В. С. Павлов, но вкупе с генералами они разорили страну дотла — примерно с теми же духовными последствиями. Более того: если бы неким чудом коммунистический режим свалился тихо и безболезненно лет двадцать назад — при относительно работоспособной экономике и не полностью разграбленной стране, — вероятно, вся нынешняя державность, так пугающая маститых либералов, показала бы детской шуткой по сравнению с тем, что могла бы сотворить тогда нация, не прошедшая через комплекс поражения.

Приятнее, конечно, начинать новую жизнь не на развалинах, но, вероятно, Левиафан должен был сам захлебнуться в собственных нечистотах — другого способа вызвать к нему устойчивую гадливость, к сожалению, нет.

## Эстетика

Январь 1992 года дал еще один выдающийся пример воспетой графом Минихом народной глупости: простой на-



род, которому круче всего пришлось от шоковых мероприятий Е. Т. Гайдара, ма терилсь и терпел. Политики-государ ственники матерились, но отнюдь не тер пели, призывая скинуть Гайдара, пере смотреть всю российскую политику, от воевать Крым, создать национально-ориентированную экономику etc. А С. Ципко захотел созвать новый парла мент, ориентированный на «собствен ную историю, культуру, российскую го сударственность», что отчасти даже странно: парламент формируется по средством волеизъявления избирателей, и загодя предъявлять к нему идеологи ческие требования несколько трудно — это возможно было разве во времена «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», когда господствовало столь ненавистное А. С. Ципко учение Маркса — Энгельса — Ленина — Ста лина.

Иначе говоря, получился парадокс: наиболее пострадавшие с грехом попо лам согласились с гайдаровскими «звер ствами», наименее пострадавшие пришли в состояние совершенного негодования. Разгадка парадокса, вероятно, в том, что негоже все сводить к одной материальной стороне бытия. Если же посмотреть на духовно-эстетическую сторону, то ситуа ция окажется в точности обратной: в ре зультате западнических мероприятий интеллектуалам пришлось куда хуже, чем ширнармассам, оттого-то цвет обще ства и взъерепенился.

Наиболее мучительная для человека особенность передовых режимов (комму нистического, национал-социалистиче ского, державно-патриотического) сфор мулирована оруэлловским Уинстоном Смитом: «Я понимаю, каким образом. Я не понимаю, зачем». Вполне по про фессору К. Леви-Строссу («миф — это машина для уничтожения времени»), «миф XX века» выключает человека из времени и пространства и помещает в не который вакуум, к которому карта мира и общепринятое времяисчисление не име ют никакого отношения. Полная дезори ентация, при которой вопросы «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» и «Это что за остановка, Болгое или По повка?» остаются без ответа, повергает в панику: «Я не понимаю, зачем».

Выход из мифа и возвращение в чело вечество — это облегчение, даже если возвращаться приходится не в самое при ятное место. Вполне парадоксальное солженицынское «Первая камера — пер вая любовь» объясняется именно этим: «Сейчас ты увидишь впервые — других живых, кто тоже идет твоим путем и кого ты можешь объединить с собой радост ным словом МЫ... Ты не один на свете! Есть еще мудрые духовные существа — ЛЮДИ!!!». Нынешняя послевоенная раз руха — та самая «первая камера — пер вая любовь»: тяжело — после роликов ЦТ, с 1987 года показывающих нам за падные парадизы, — оказаться в голодной и холодной Европе 1946 года, но —

в Европе, но — 1946 года. Лучше так, чем «мартобря 86 числа».

Примерно той же неистребимой тягой человека к самоориентации объясняется и единообразное применение шоковой те рапии в посттоталитарных обществах. Вообще говоря, никто, даже Л. И. Пия шева с Б. С. Пинскером, пока не дока зали, что неолиберальное учение Ф. А. фон Хайека всесильно, потому что оно верно. Когда годится зверский неолибе рализм, когда — и рахатлукумное кейн сианство, «регулируемый рынок». Сто чки зрения чисто технологической, может быть, удалось бы наладить разоренное передовым режимом хозяйство, исполь зуя и другие приемы. Но с точки зрения психологической — вряд ли. Сила и эф фективность шоковой терапии именно в ее примитивности: она манипулирует правилами, доступными любому субъек ту экономики (то есть вообще всякому вменяемому субъекту): «расход должен сходиться с доходом», «всякая волная цена — от Бога», «копейка рубль бере жет» и т. д. Как сказал бы Владимир Ильич, «шоковая терапия всесильна, по тому что она понятна», то есть опять же потому, что она удовлетворяет потреб ность человека в ориентации на мест но сти, а в терминологии Н. Г. Чернышев ского концептуальные изыски передового режима — это «грязь фантастическая», тяготы же послевоенной разрухи — «грязь реальная».

Здесь и ответ на то, почему так него дуют интеллектуалы и почему так долго терпелив простой народ. Дело здесь не в том, кто хуже и кто лучше, — все мы люди грешные. Но есть некоторая со словно-профессиональная особенность интеллектуалов, позволяющая им мень ше страдать от фантастической (во всех смыслах) грязи передового режима, — они лучше умеют изобретать альтерна тивные фантазмы для собственного упо требления и тем самым осуществлять бегство от действительности; у людей простых и некнижных это получается хуже, поэтому и тяга к реальной грязи у них сильнее. Злые коммунисты так долго монополизировали право на реали зацию фантазмов в общегосударственном масштабе (справедливо полагая это столь же монопольным правом государ ства, что и чеканка монеты), что интел лектуальная часть общества заждалась: когда же нас допустят до реализации на шей утопии под названием Великая Рос сия? В момент, когда всё, казалось бы, на мази, начинается черт знает что: при водят немца-управляющего из Междуна родного валютного фонда, и он начинает наставлять: «Будь честен, не воруй, дер жи свое слово, работай больше».

Отсюда и колоссальная фрустрация верхов общества, для которых конец фантазмов оборачивается концом света.

Отсюда же — в том, что нам все-таки дадена возможность самоориентации, — можно сделать вывод, что все же мы, слава Богу, находимся в 1945-м, а не в

1918 году. Неизвестно, что имел в виду Б. Ш. Окуджава, но выразил он очень точно: «А как первая война, так ничья вина, а вторая война — чья-нибудь вина, а как третья война — лишь моя вина, лишь моя вина, она всем видна». Главная беда Веймарской Германии была в том, что она — как и весь мир — никак не могла отдышаться после приключившегося в 1914 году обвала истории и понять, что же произошло: вроде бы и в самом деле «ничья вина», но между тем — «каждое село — могила братская, города — завод протезный». Горькая удача Германии 1945-го и России 1992-го в том, что нет места для иллюзий, — «лишь моя вина, она всем видна».

В. А. Чаликова — Царствие ей Небесное — не уставала вспоминать, как Конрад Аденауэр стоял в Иерусалиме на коленях возле Стены Плача, прося прощ-

ения от имени немцев. От нынешних политиков ждать чего-то подобного трудно, да и, на погосте живучи, всех не оплачешь, и остается даже в этом вроде бы внутреннем деле надеяться опять на немца.

...В Берлине полно русских лоточников, и Курфюрстендамм смахивает на филиал Арбата — все те же «матрешка, водка, балалайка». Совсем рядом стоит остов разбомбленной церкви, руины которой прикрыты витражами, — Gedächtniskirche — церковь напоминания. Вечером раздается жуткий, замогильный звон, напоминающий жирующему кругом Вест-Берлину, с чего Германия начинала. Разве что наши коробейники — если уж отечества отцы на это не способны — передадут согражданам ту памятную немцу мысль, что в 1945 году жизнь не кончилась, а совсем наоборот...

## Конверсия и экономика: возможен ли брак по любви?

*Содержать самую большую армию в мире и вместе с тем повышать уровень жизни населения в бедной стране — это экономический авантюризм.*

*Академик С. Шаталин*

**В** последнее время лексикон граждан бывшего Советского Союза значительно расширился — в средствах массовой информации, в многочисленных рекламных передачах и даже в очередях (правда, с несколько иной интонацией) зазвучали иностранные термины: дилер, брокер, акция, дивиденд, маркетинг и другие, смысл которых ранее был знаком только специалистам. К таким сравнительно новым для нас понятиям можно отнести и конверсию, о которой всерьез заговорили в 1988—1989 годах. Что же она означает? Согласно определению, приведенному в англо-русском экономическом словаре, это переход на выпуск новой продукции, а применительно к нашей теме — перевод военной промышленности на выпуск мирной продукции, то есть реконверсия (демилитаризация) экономики.

Из этого определения вытекают по крайней мере два вывода. Первый — конверсия на самом деле является реконверсией (данный термин так и не прижился на страницах наших массовых изданий), и второй — экономика изначально носит все-таки мирный характер, и, когда в силу объективных или субъективных обстоятельств она становится милитаризованной, рано или поздно возникает необходимость вернуть ее в прежнее состояние — реконверсировать.

Вопрос о милитаризации или скорее о сверхмилитаризации нашей экономики давно уже приобрел исключительную остроту. Изматывающая гонка вооружений, в которую включился бывший Советский Союз после второй мировой войны, истощила народное хозяйство страны и не только не укрепила ее безопасность, но и послужила одной из причин кризиса и

в конечном счете распада союзного государства.

Каковы же масштабы военно-промышленного комплекса (ВПК), пожирающего подобно раковой опухоли лучшие ресурсы, оборудование, кадры и производившего до самого последнего времени горы оружия, уничтожение которого теперь требует огромных средств, а их и без того недостает в бюджете России? Из-за густой завесы секретности точные цифры привести непросто, но существуют достаточно обоснованные оценки специалистов и экспертов, опубликованные в открытой печати.

Согласно этим оценкам, удельный вес оборонного комплекса достигает примерно 20—25 процентов валового национального продукта (ВНП) бывшего Советского Союза в границах 1990 г. (для сравнения: в США аналогичный показатель равен 6—7 процентам), причем на Россию приходится 82 процента военно-промышленного потенциала. Из всей продукции машиностроения свыше 60 процентов составляют товары военного назначения, 75 процентов всех ассигнований на науку направляются на военно-исследовательские нужды; в 1987 г. в отечественном машиностроении только треть, или 5,6 млн. человек, были заняты на предприятиях гражданских министерств<sup>1</sup>. Расчеты, проведенные известным американским экономистом И. Бирманом, при всей их условности, показывают, что в 1989 г. общая сумма военных расходов СССР была не меньше 200 млрд. руб., а их доля в ВНП значительно

<sup>1</sup> «Вопросы экономики», 1990, № 4, с. 4; 1991, № 2, с. 13, 22; «Правда», 19 ноября 1990 г.

но превышала 20 процентов<sup>2</sup>. По оценкам В. Первышина, непосредственно на предприятиях ВПК работают 14,4 млн. человек<sup>3</sup>, а если учесть поставщиков из гражданских отраслей промышленности и сельского хозяйства, направляющих свою продукцию в ВПК, и военнослужащих, а также членов семей всех указанных групп населения, получается, что около половины жителей страны так или иначе зависят от ВПК и заинтересованы в его процветании.

Справедливости ради следует привести и официальную оценку доли ВПК в валовом национальном продукте. Она была обнародована в октябре 1990 г. и равнялась 6,4 процентам<sup>4</sup>. Специалисты всерьез ее не приняли, и хотя нельзя сказать, что эта цифра — плод сознательной фальсификации, поскольку она прозвучала на заседании бывшего Президентского совета СССР, дело здесь, по видимому, заключается в различной методологии расчетов.

По производству основных видов вооружений бывший СССР значительно опережал США. Если основываться на американских данных, в 1990 г. мы выпускали танков почти в два раза, межконтинентальных баллистических ракет — в 9 раз, тактических ракет — в 7 раз, подводных лодок — почти в 2 раза больше, чем в США. Лишь по некоторым видам вооружений мы уступали американцам<sup>5</sup>.

Учитывая масштабы ВПК в нашей стране, нельзя не согласиться с мнением преподавателя Военно-политической академии им. В. И. Ленина (ныне — Гуманитарная академия Вооруженных Сил) Б. Салихова: «Народно-хозяйственная конверсия становится способом, а также важнейшим фактором осуществления радикальной экономической реформы. Глубинная причинно-следственная связь между конверсией и реформой заключается в том, что они соотносятся не как часть и целое, а как форма и содержание. Другими словами, переход к рынку, социально ориентированная структурная перестройка экономики, техническое перевооружение производственного аппарата промышленности и другие стратегические цели реформы становятся содержанием конверсии и непосредственно вплетаются в ее «кань»<sup>6</sup>. Вывод однозначен — необходима максимально возможная демилитаризация экономики, иначе реформы будут блокированы.

Противники конверсии скажут, что в бывшем СССР значительное место в отраслях оборонного комплекса занимал выпуск гражданской продукции. Так, в 1990 г., то есть до утверждения Государственной программы конверсии, предпри-

ятия ВПК выпускали 100 процентов общего объема производства радиоприемников, телевизоров, видеомагнитофонов и швейных машин, 77 процентов электропылесосов, 74 процента мотоблоков и мотокультиваторов, 66 процентов стиральных машин<sup>7</sup>. Однако выпуск «мирной» продукции всегда рассматривался руководителями оборонного комплекса как дополнительное бремя, от которого, правда, никуда не денешься, но ведь главное — всемерное наращивание производства вооружений. Программы гражданской направленности можно сорвать, пожурят, и только, а попробуй не выполнить военные заказы! В результате в том же 1990 г. из 120 новых видов гражданской продукции, планировавшихся к освоению оборонными предприятиями, был налажен выпуск только 23, из которых всего 5 (!) соответствовали международным стандартам. В 1991 г. ситуация еще более ухудшилась<sup>8</sup>.

В нашей стране, да и в мире в целом, широко распространен миф о том, что военное производство в технологическом отношении на несколько порядков выше гражданского, что и является одним из препятствий на пути конверсии, поскольку, с одной стороны, трудно, а с другой — неразумно на высокооточном оборудовании производить простейшие потребительские товары. Доля истины в подобных словах присутствует, и в ходе конверсии «сверху» у нас они получили определенное подтверждение. Сами производители также резко выступили против снижения технологического уровня своих предприятий. Однако данный вопрос не так прост, как представляется на первый взгляд.

Исследование, проведенное сотрудниками Института народнохозяйственного прогнозирования РАН А. Смирновым<sup>9</sup>, показывает, что разнообразие военной техники примерно в миллион раз меньше, чем гражданской, а изменяется она в 5—20 раз медленнее. Например, автоматическая винтовка «М-16» использовалась в армии США более 20 лет, так же как и стратегические ракеты «Минитмен», а бомбардировщик «Б-52» и поныне в строю, хотя поступил на вооружение ВВС США еще в 50-е годы. Сравните с этим ежегодную смену моделей автомобилей, телевизоров, видотехники, спортивного оборудования! Техника производственного назначения тоже сменяется намного чаще, чем военная. Поскольку темп научно-технического прогресса в решающей степени зависит от разнообразия его проявлений и скорости изменений, вызывают сомнения утверждения о том, что именно военные технологии лежат в основе современного НТП.

Казалось бы, события во время войны в Персидском заливе убедительно показа-

<sup>2</sup> «Октябрь», 1991, № 9

<sup>3</sup> «Огонек», 1991, № 24.

<sup>4</sup> «Известия», 5 октября 1990 г. (здесь и далее — цитаты по московскому вечернему выпуску).

<sup>5</sup> «Известия» 22 ноября 1991 г.

<sup>6</sup> «Вопросы экономики», 1991, № 2.

<sup>7</sup> «Коммерсантъ», 1990, № 32.

<sup>8</sup> «Известия», 5 декабря 1991 г.

<sup>9</sup> «Вопросы экономики», 1991, № 11.

ли превосходство передовой военной техники над техникой предыдущего поколения. Однако американские журналисты с присущей им дотошностью обнаружили, что японские радиостанции, свободно продающиеся в радиомагазинах США, намного легче и надежнее, чем находившиеся на вооружении в войсках, воевавших в Заливе. Можно сделать вывод, что вследствие определенного консерватизма, свойственного военным технологиям, в мирной конкурентной борьбе они имеют шанс проиграть более гибким, учитывающим интересы конкретного потребителя гражданским технологиям.

Возникает закономерный вопрос: зачем вообще производилась вся эта масса оружия, которого достаточно, чтобы многократно уничтожить земной шар? Может быть, для того, чтобы, как заметил один остроумный человек, делегациям на переговорах о сокращении вооружений было чем заниматься и не думать о куске хлеба? Причины лежат, конечно, глубже — в коренных интересах самого ВПК (причем не только нашего родного, но и американского), пробивавшего всеми правдами и неправдами выделение ассигнований на развитие новых программ вооружений, привычно кивая на своего вечного (как раньше казалось) заокеанского оппонента и тонко намекая руководителям страны: если денег не дадите, безопасность не гарантируем! И давали, поскольку никто не мог устоять против такого поистине беспринципного аргумента.

Слава Богу, времена изменились. Теперь правительства, и российское, и развитых стран Запада, отчетливо осознают — дальше по пути гонки вооружений, наращивания мускулов ВПК двигаться нельзя. Необходимы смена приоритетов в оборонной политике, выработка новых ориентиров экономического развития, резкое изменение избранного ранее курса. Решительное сокращение производства вооружений подразумевает переход к иной военной доктрине, что возможно при условии обеспечения безопасности страны политическими методами.

Глубокая конверсия оборонной промышленности нашей страны затрагивает интересы всего мирового сообщества. В первую очередь отмечают такие аспекты, как экологические проблемы, безопасность экономического развития, экспорт вооружений, «утечка мозгов».

Загрязнение окружающей среды, как известно, не имеет границ и чревато международными осложнениями. Военно-промышленный комплекс бывшего СССР никогда не ставил перед собой задачу сбережения природы и минимизации наносимого ей ущерба. Оборонная промышленность в силу своей специфики и характера используемых технологий представляет повышенную угрозу с точки зрения безопасности человечества. Возможность возникновения крупных техногенных катастроф на военных про-

изводствах достаточна велика, а их последствия труднопредсказуемы. Один из ведущих специалистов Института экономики РАН профессор В. Фальцман пишет: «Армия и военная промышленность являются не только непосредственными потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций, но и крупнейшими потребителями топлива, энергии, металла, химических продуктов и поэтому развивают производство, в наибольшей мере способствующие возникновению условий для аварий национального и международного масштаба»<sup>10</sup>.

В ходе дискуссий по проблемам конверсии многими экспертами выдвигалась идея наращивания экспорта вооружений, с тем чтобы полученную валюту направлять на нужды технического переоснащения конверсируемых предприятий и гражданских производств. Конечно, следует всячески приветствовать продажу за границу устаревшей военной техники (после ее необходимой разукрупки), создание совместных предприятий для выпуска гражданской продукции (в качестве примера можно привести организацию советско-западногерманского предприятия в Одессе по переоборудованию тягачей от ракет СС-20 в передвижные краны). Вместе с тем, как показывает недавняя история, проблема экспорта современных вооружений имеет и нравственно-политический аспект. Нельзя продавать высокоэффективное оружие в «горячие» точки планеты, поскольку такая торговля будет способствовать разжиганию тлеющих конфликтов и подстегнет гонку вооружений в странах третьего мира. В то же время поступают сообщения о том, что некоторые страны СНГ (в частности, Казахстан, как сообщили «Известия» 28 февраля 1992 г.) собираются торговать оружием через систему бирж. На наш взгляд, подобная политика чревата бесконтрольным расползанием оружия и может привести к непредсказуемым последствиям. Вся торговля вооружениями должна находиться в руках государства и соответствовать публично объявленным политическим целям.

В последнее время приобрел особую остроту вопрос об «утечке мозгов» из нашего ВПК за рубеж. Опасность подобной утечки действительно существует, хотя, насколько нам известно, ни один конкретный факт заключения таких контрактов не получил официального подтверждения, да и выехать за границу крупным специалистам, как правило, обладающим допуском к секретным работам, непросто. Тем не менее этот вопрос должен решаться на государственном уровне, поскольку последствия приобретения государствами, расположенными в «горячих» точках планеты, специалистов, способных изменить сложившийся стратегический баланс, легко представить.

<sup>10</sup> «Вопросы экономики», 1992, № 1.

Мировая общественность проявляет значительный интерес к проблемам конверсии, о чем свидетельствует проведение в нашей стране в августе 1990 г. международной конференции «Конверсия: изменения в области экономики в эпоху сокращения вооружений», организованной департаментом ООН по вопросам разоружения при содействии Советского фонда мира и ВЦСПС. Этот форум, не случайно, думается, проходивший в Москве, стал одной из первых попыток осмыслить опыт конверсии в различных странах, оценить общее и особенное в ходе ее осуществления. Глобальные аспекты конверсии, ее взаимосвязь с политикой других стран подчеркнул в своем выступлении итальянский эксперт М. Пьянта: «Вряд ли мы добьемся успеха в одиночку, в национальных программах конверсии необходимо учитывать общую ситуацию в Европе»<sup>11</sup>. Имеющийся мировой опыт конверсии заслуживает пристального изучения, мы ведь отнюдь не первые и не впервые сталкиваемся с этой проблемой.

В США и других западных странах перевод промышленного производства на мирные рельсы приобрел особую актуальность после окончания второй мировой войны. Предприятия были в значительной степени ориентированы на выпуск военной продукции, на долю оборонного комплекса приходилось от 25 до 45 процентов ВВП. В армии США служило 12 млн. человек, столько же было занято в военной промышленности. Конверсия в Америке заняла год с небольшим, она не привела к массовой безработице, не вызвала экономического кризиса и закрытия множества предприятий — об этом свидетельствует Р. Нейтон, руководивший программой конверсии американской экономики<sup>12</sup>. Высвободившиеся с военных предприятий специалисты и демобилизованные военнослужащие практически сразу находили рабочие места, желающие продолжить учебу использовали специально выделенные для этих целей пособия и стипендии. Высоким темпам конверсии способствовал огромный, отложенный из-за войны спрос на гражданскую продукцию. Компании, переходя на выпуск «мирных» изделий, получили возможность быстро расширять производство, что увеличивало потребность в промышленном оборудовании для гражданских нужд и содействовало послевоенному общеэкономическому подъему в США.

В бывшем СССР также имелся опыт конверсии военного производства. Значительно сокращались военные расходы в первой половине 20-х годов, после окончания второй мировой войны, а также на рубеже 50—60-х годов. Результатом всегда были ускорение темпов экономического роста, повышение благосос-

тояния народа, общая стабилизация экономики.

Существуют несколько возможных путей проведения конверсии. Первый путь, самый радикальный, — полная передача того или иного предприятия из ВПК в гражданскую отрасль. Второй, «средний», — предприятие остается в рамках ВПК, но целиком переключается на выпуск гражданской продукции. Третий, консервативный, — предприятие продолжает производство продукции военного назначения, но организует на соседних площадях выпуск «мирных» изделий. Возможно также и гражданское применение военной продукции.

Вокруг выбора между этими направлениями конверсии и разгорелась в последние два года настоящая битва.

В основу Государственной программы конверсии, разработанной под руководством бывшего первого заместителя председателя Госплана СССР В. Смылова, был положен принцип частичной конверсии под жестким контролем государства, которое определяло как цели, так и глубину данного процесса. Многие ученые и специалисты выступили против такого подхода, справедливо считая, что если предприятие остается в рамках ВПК, всегда сохраняется опасность его обратного перепрофилирования на выпуск военной продукции. Поэтому известный советский эксперт по проблемам конверсии А. Изюмов предлагал еще в 1990 г. 20 процентов оборонных заводов вывести из-под контроля оборонных министерств и полностью их перепрофилировать, с тем чтобы они стали высокотехнологичной частью гражданской промышленно-

сти. Сходной позиции в критике Государственной программы конверсии придерживается и американский профессор М. Спеклер, предсказывающий в статье, написанной совместно с исследователями из Росийской академии наук А. Ожеговым и В. Малыгиным: «Если не будет осуществлена полная конверсия предприятий и обеспечено их участие в рыночной конкуренции (выделено мною. — С. В.) как экономически самостоятельных субъектов, имеются серьезные основания сомневаться, что претворение в жизнь консервативной концепции конверсии позволит в ближайшие годы получить гражданскую продукцию высокого технического уровня и необходимой эксплуатационной надежности, обладающую требуемыми потребительскими качествами»<sup>13</sup>.

Ключевые слова здесь — «участие в рыночной конкуренции». Вот чего боятся монополисты-производители из ВПК! Вся жизнь они работали, практически не зная проблем со снабжением и финансированием, имея гарантированный на 100 процентов сбыт своей продукции. Каково же им после таких тепличных условий оказаться в бурных водах рын-

<sup>11</sup> «Известия», 18 августа 1990 г.

<sup>12</sup> «Известия», 17 октября 1991 г.

<sup>13</sup> «Вопросы экономики», 1991, № 2.

ка, да еще нашего, «совкового», когда не знаешь, будут ли тебе хоть что-нибудь поставлять и по каким ценам, а если еще потребитель капризничает, откажется от слишком дорогих изделий (ведь в ВПК не привыкли считаться с издержками производства), — приказать ему будет некому. Вот почему так яростно сопротивляются некоторые представители ВПК выводу их из-под крыши оборонных министерств. Складывается впечатление, что ради сохранения своего привилегированного положения они готовы использовать в собственных интересах недовольство работников оборонных предприятий снижением жизненного уровня и ухудшением условий труда. Учитывая количество занятых в ВПК, подобное развитие событий может представлять значительную общественную опасность для успешного осуществления реформ в России и других странах СНГ, руководству которых просто обязательно контролировать ситуацию в данной области и предпринимать опережающие шаги, направленные на уменьшение роста социальной напряженности.

Несмотря на кажущееся ослабление власти ВПК после поражения августовского путча, сдаваться он не собирается. Свидетельством этого является информация, опубликованная газетой «Известия» 5 декабря 1991 г., о документе, рассылаемом созданным при Президенте Российской Федерации Комитетом по делам конверсии. В основе данного документа — прежнее желание управлять и руководить, «держат и не пушат» предприятия оборонного комплекса. Интересно отметить, что сами директора оборонных предприятий не так уж и едины в стремлении любой ценой сохранить административно-командную систему, господствующую в ВПК. Многие из них начинают осознавать, что, выпуская высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию гражданского назначения, они смогут создать в нынешних условиях лучшую жизнь как для своих трудовых коллективов, так и для себя лично. Как считает генеральный директор санкт-петербургского ПО «Сигнал» В. Занин, три четверти оборонных предприятий могли бы без особых затрат перейти на «мирную» продукцию. Нужно просто перестать давать им госзаказы на военную технику. Кстати, в текущем году в России резко сокращены закупки вооружений.

Начали зарождаться с участием предприятий ВПК рыночные организационные структуры, цель которых — объединение производителей и потребителей наукоемкой продукции для того, чтобы укрепить разорванные хозяйственные связи и восстановить нарушенный производственный цикл. Одной из подобных структур является товарно-фондовая биржа «Эстра» — акционерное общество закрытого типа, учредителями которого явились десятки предприятий, связанных с ВПК. И уже сами бизнесмены —

вчера представители ВПК выступают за углубление экономических реформ. В феврале 1992 г. в рамках целевых торгов «Все для телевидения и видеотехники» на бирже «Эстра» прошла деловая встреча представителей предприятий и банков. В результате была принята декларация, в которой отмечается, что некоторые действия правительства Российской Федерации, как, например, введение чрезмерных ставок налогов на добавленную стоимость и прибыль, таможенные ограничения для свободного движения товаров, торможение приватизации и др., ведут к уменьшению деловой активности, сокращению финансовых операций и инвестиций капитала в развитие производства. Новые рыночные структуры готовы представить на рассмотрение правительства аргументированные предложения, направленные на углубление проводимых в стране преобразований и стабилизацию экономического положения.

Альтернативную правительственной концепцию конверсии разработала и группа ученых Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук (А. Ожегов, В. Рассадин, Е. Роговский и другие, под руководством директора института член-корр. РАН Ю. Яременко)<sup>14</sup>. Ее основные принципы:

1. Замена распределительных отношений в ВПК на товарно-денежные.
2. Аккумуляция высвобождающихся материальных ресурсов в коммерческих центрах или биржах с последующей реализацией.
3. Конверсия гражданских отраслей, то есть сокращение поставок их продукции на нужды ВПК.
4. Структурное выделение из ВПК производственных единиц общепромышленного назначения.
5. Перевод производственных структур ВПК на договорные отношения с заказчиком вооружений.
6. Замещение в мировом масштабе расходов на оборону расходами на экологию.

Успешное осуществление конверсии невозможно без активного участия в этом процессе государства. Основные его функции при проведении конверсии можно сформулировать следующим образом<sup>15</sup>:

- государственное регулирование цен на продукцию конверсируемых предприятий для обеспечения им общественно нормального уровня рентабельности;
- предоставление оборонным предприятиям четких и надежных гарантий компенсации неизбежных потерь от конверсии;
- финансирование переобучения ра-

<sup>14</sup> Тезисы выступлений на научном семинаре «Темпы и пропорции общественного производства в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике». Москва — Петрозаводск, 1991

<sup>15</sup> «Вопросы экономики» 1991, № 2, с. 28.

ботников, высвобождаемых в ходе конверсии, и оказание материальной помощи тем, кто даст согласие на переезд в районы, в которых имеется потребность в рабочей силе;

— стимулирование конверсии военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание механизма высокорезультативного перепрофилирования интеллектуальных ресурсов ВПК на проведение научных исследований в гражданских целях.

Отдельный и очень важный вопрос — о формах собственности на конверсируемых предприятиях. Представляется, что совсем не обязательно все военные производства оставлять в собственности государства. Значительную их часть можно акционировать, передать в собственность трудовым коллективам или даже продать с аукциона (в том числе и зарубежным покупателям). В любом случае решение должно приниматься на основе учета конкретной ситуации с тем или иным предприятием и мнения трудового коллектива.

Следует поддерживать и создание малых венчурных, то есть рискованных, фирм работниками ВПК на основе владения определенным ноу-хау — секретами изготовления передовой в технологическом плане продукции. Подобные формы малого бизнеса получили в мире широкое распространение и, на наш взгляд, являются очень перспективными для России.

Является ли конверсия той «волшебной палочкой», при помощи которой нам удастся вывести экономику России из глубочайшего системного кризиса и проложить путь к процветанию страны, созданию современного и эффективного народного хозяйства?

Любые союзы в экономической сфере (в том числе между конверсией и экономикой) основаны в первую очередь на расчете, взаимной выгоде — именно тогда они оказываются наиболее долговечными и плодотворными. Экономическая политика правительства должна способствовать тому, чтобы предприятия ВПК почувствовали: конверсия — процесс, не только необходимый с точки зрения народнохозяйственных интересов, но и способствующий будущему процветанию трудовых коллективов, занятых сегодня выпуском вооружений.

Не вызывает сомнений, что проведение конверсии в условиях глубокого экономического кризиса сталкивается с серьезными препятствиями. К ним мож-

но отнести: изолированность предприятий ВПК от гражданского сектора экономики; излишнюю секретность, окружающую оборонные производства; недостаточное знание законов рыночной экономики; привычку к гарантированному финансированию и снабжению. И главное — проблему занятости, поскольку в ходе конверсии будут высвобождены десятки тысяч работников, переобучение которых и подготовка новых рабочих мест потребуют значительных ассигнований, не говоря уже об инвестициях, нужных для переоснащения оборонных предприятий.

Таким образом, конверсия ВПК — дело очень дорогое, трудоемкое и за короткое время его просто не осилить. К сожалению, довольно часто ни общественность, ни парламентарии не осознают до конца, каких гигантских сумм из государственного бюджета потребует проведение полномасштабной конверсии. Именно этот вопрос — поиск источников финансирования — и является сегодня тем подводным камнем, на который наскочил, едва успев отойти от берега, пока еще довольно утлый корабль конверсии.

Проблемы конверсии сложны даже в благополучных странах. Во время пребывания в Москве в феврале 1992 г. генеральный секретарь НАТО М. Вёрнер признал, что и государства с развитой рыночной экономикой испытывают немалые трудности в этой области<sup>16</sup>. Окончание «холодной войны» приведет к значительным увольнениям и сокращению объемов военных заказов. Тысячи людей придется переучивать, заводы переоборудовать или закрывать. И для Запада конверсия — весьма болезненная новость.

Тем не менее, несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается или может столкнуться в будущем конверсия в нашей стране, иного пути нет. Убежден, что успешная конверсия российского ВПК возможна, если правительство будет проводить целенаправленную политику по его переключению на удовлетворение «мирных» потребностей, нужд обычных граждан страны. Когда предприятия оборонного комплекса начнут действовать в рамках рыночной экономики, процесс конверсии резко ускорится, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному проведению социально-экономических реформ в России.

<sup>16</sup> «Известия», 26 февраля 1992 г.



Иосиф БРОДСКИЙ

---

## Fondamenta degli i n c u r a b i l i <sup>1</sup>.

Роберту Моргану

1.

**М**ного лун тому назад доллар равнялся 870 лирам и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той Стасьоне, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала.

Всякий путешественник знает этот расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, исходяемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся.

Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на Будду, матроны у кассы, не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало: весь запас их языка — слово «espresso» — я уже истратил; я воспользовался им дважды. Еще я купил у них первую пачку того, чему в предстоящие годы суждено было означать: «Merda Statale», «Movimento Sociale» и «Morte Sicura»<sup>2</sup> — первую пачку MS<sup>3</sup>. Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу.

2.

Ночь была ветреной, и, прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний — для меня — синоним: запах мерзнувших водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других — рождественская хвоя с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намека на несовместимость и тайную подводную драму, содержащегося в понятии. «Где камень темнеет под пеной», как сказал поэт. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях Стасьоне я был уже большим специалистом по несовместимости и тайным драмам.

Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики, в отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтале. У меня, однако, были сомнения. Хотя бы потому, что детство было не столь уж счастливым (и редко бывает, являясь школой беззащитности и отвращения к самому себе, а что до моря, то ускользнуть из моей части Балтики действительно мог только угорь). В любом случае на предмет ностальгии оно тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то не здесь, он вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в мозжечке, среди прочих воспоминаний о наших хордовых предках, на худой конец — о той самой рыбе, из которой возникла наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос.

---

<sup>1</sup> Набережная неизлечимых (итал.).

<sup>2</sup> «Государственное дерьмо», «Общественное движение», «Верная смерть» (итал.).

<sup>3</sup> Сорт итальянских сигарет.

## 3.

В конце концов запах есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов — метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объема вторжения получаем привкус /запах/ вонь. Это все дело молекул, и, похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.

Весь задник был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неонового *Cinzano*, пятавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось.

## 4.

Все отдавало приездом в провинцию — в какое-нибудь незнакомое, захолустное место — возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступенях Стасьоне: хорошей мишенью забвения. К тому же была зимняя ночь. И я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: «В глубине Адриатики дикой...» В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Стасьоне во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидеть печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдаль мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно — обледеневшем камне где-то во вселенной, безразличный к тому — где. Камнем был как бы я, пучком водорослей — моя левая кисть. Затем ниготкуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал Стасьоне. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная.

## 5.

Впервые я ее увидел несколько лет назад, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обзримых достоинств. 180 см, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях уст и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухая незнакомыми духами, — картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой.

Так что мы легко переварили ее членство в итальянской компартии и попутную слабость к нашим несмысленным авангардистам тридцатых, списав это на западное легкомыслие. Думаю, будь она яркой нацисткой, мы алкали бы ее не меньше; возможно, даже больше. Она была действительно сногшибательной, и, когда в результате спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и гнев, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя, в сущности, не стоило гневаться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы, однако, гневались. Ибо это было хуже, чем разочарование: это было предательством ткани.

В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Все-таки мы были публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому если кто-то хорошо смотрится, то он свой. Не затронутые внешним миром, особенно западным, мы не знали, что стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину физическим продолжением и воплощением наших идеалов и принципов, а всю ее одежду, включая прозрачные вещи,— достоянием цивилизации.

Отождествление это было таким прочным, а картина такой хорошенькой, что даже теперь, годы спустя, вступив в другой возраст и, так сказать, в другую страну, я невольно взял былую манеру. Притиснутый толпой на палубе вапоретто к ее шубе изнутри, я первым делом спросил, что она думает о только что вышедших «Мотетах» Монтале. Знакомое сверканье 28-ми жемчужин, повторенное на ободке карего зрачка и продленное до рассыпного серебра Млечного Пути,— вот и все, что я получил в ответ, но и это было немало. Возможно, находясь в самом сердце цивилизации, спрашивать о ее последних достижениях было тавтологией. Возможно, я просто допустил бестактность, поскольку автор не был местным.

## 6.

Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной, как смоль, воде стояли огромные резные сундуки темных палаток, полные непостижимых сокровищ,— скорее всего золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее — циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стасьоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

Рядом со мной картина внутри объясняла почти шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, наверно, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же заговорщицким голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась, так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились и если переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем небо на мгновение затмила гигантская мраморная скобка моста, и вдруг все залил свет. «Риальто»,— сказала она нормальным голосом.

## 7.

В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочно ни была замена последней — палуба — у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыть, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде,— это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей — и взаимной — опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего, потому, что эта часть Канал Гранде лучше освещена.

Мы высадились на пристани Академиа, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль одноименного, удалившегося от мира пансиона, поцеловали в щеку — скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, — и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель. Потом завалился спать.

## 8.

Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напорочила, то лишь то, что обладателем этого города я не стану никогда; но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдет, правда, в моем знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он скорее означал конец.

В тот раз я видел ее еще дважды или трижды; и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее, и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее, чем любое Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампо своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту «структуру» (как в те дни выражались) он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу, решил я, лучше всего возложить на товарищей. Разборчивость, с одной стороны; а с другой, когда в один мрачный вечер я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моем ломаном итальянском, оборвал нить связи. Так что дело было за нашими красноармянскими братьями.

## 9.

Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Маленький мир, и чем дольше живешь, тем он меньше. Так что ищи я утешенья, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю — уже другого материка. Похоже, конечно, на отношение Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род Чистилища, на что, впрочем, намекает и сам Данте. Единственная с ней разница, что ее небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налеты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние семнадцать лет я возвращался в этот город или повторялся в нем с частотой дурного сна.

## Ю.

За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то еще сердечных приступов и подобных происшествий каждое Рождество или накануне я сходил с поезда/самолета/лодки/автобуса и тащил чемоданы, набитые книгами и пишущими машинками, к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры. Последнюю, как правило, предоставлял кто-то из немногочисленных друзей, которыми я успел здесь обзавестись влед за тем, как картина померкла. Позже я попробую объяснить выбор сроков (хотя такое намерение тавтологично вплоть до перехода в собственную противоположность). Сейчас же замечу только, что, хоть я и северянин, мое представление о рае не определяется ни климатом, ни температурой. Я бы, кстати, охотно обошелся и без его жителей, и без вечности в придачу. Рискуя навлечь обвинения в без-

нравственности, признаюсь, что это представление чисто зрительное, идущее скорее от Клода, чем от кредо, и существующее только в приближениях. Лучшее из которых — этот город. Поскольку я не уполномочен выяснять, как дело выглядит с другой стороны, то могу этим городом и ограничиться.

Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказала однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого. Не испугавшись обвинений в безнравственности, я легко снесу упреки в поверхностности. Поверхности — то есть первое, что замечает глаз, — часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни. Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь; нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня.

Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием, буквально заезженный гондолами и вторящий воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды «не в то время года». Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непьющая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое.

## II.

Безжизненные по природе гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам — последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в двери открытого гардероба; немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности: теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающего город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания — даже по ценам несезона — ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда кстати, если не сказать обязательно.

Теперь обо всем этом, конечно, и речи нет, поскольку здешние умники закрывают на зиму две трети таких местечек; а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезет, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдается вместе с личными вкусами хозяина по части картин, стульев, занавесок и с легким оттенком нелегальности на лице, которое видишь в зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться: с самим тобой. Все же зима — абстрактное время года: бедное красками, даже в Италии, и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года и не всегда усмиряет нервы, оно все-таки подчиняет их инстинктам: красота при низких температурах — настоящая красота.

## 12.

В любом случае летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек — еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по

сравнению с колоннами, пилястрами и статуями; из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике: Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень — всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой — хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором.

Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживленнее при низких температурах. Отчасти потому, что зимою нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об атавистической тяге к смене меха. Правда, ни один турист не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.

Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды, по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности и несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, только попав сюда — в первую очередь женщины, но мужчины тоже, — оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. Это не имеет ничего общего с тщеславием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное — сама вода. Дело просто в том, что город дает двуногим представление в внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей — само собой, в кредит, — которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка, хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются. Это все — действие здешних видов и перспектив, ибо в этом городе человек — скорее силуэт, чем набор неповторимых черт, а силуэт поддается исправлению. Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, святые, девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно; чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине с броскими нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных, точно лодки всех видов по Лагуне. Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель — быть замеченным. А в счете самом окончательном этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются: они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень с атавистической негой покоится на отраженных палатцо, гондолах и т. д., опознавая самих себя в стихии, вынесшей отражения на поверхность бытия.

Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмг затопляет та улич-

ная, отягощенная перезвоном дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,— ты понимаешь, что не все кончено. Неважно, и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе,— тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере — будущее. (Надежда, сказал Френсис Бекон, хороший завтрак, но плохой ужин.) Источник этого оптимизма — дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгушающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев я часто думал, не испробовать ли его и для разводов — как для тянувшихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это так, этот город мне по карману — то есть до самой смерти, возможно, и после.

#### 14.

По профессии или скорее — по кумулятивному эффекту многолетних занятий я писатель; по способу зарабатывать — преподаватель, учитель. Зимние каникулы в моем университете — пять недель, что отчасти объясняет сроки моих паломничеств — но лишь отчасти. У рая и каникул то общее, что за них надо платить, и монетой служит твоя прежняя жизнь. Мой роман с этим городом — с этим городом именно в это время года — начался давно, задолго до того, как я обзавелся умениями, имеющими спрос, и смог позволить себе эту страсть.

Примерно в 1966 году — мне было тогда 26 — один друг дал мне почитать три коротких романа французского писателя Анри де Ренье, переведенные на русский замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым. В тот момент я знал о Ренье только, что он один из последних парнасцев, поэт неплохой, но ничего особенного. О Кузмине — кое-что из «Александрийских песен» и «Глиняных голубок» и славу великого эстета, рьяного православного и откровенного гомосексуалиста — по-моему, в таком порядке.

Мне достались эти романы, когда автор и переводчик были давно мертвы. Книжки тоже дышали на ладан: бумажные издания конца тридцатых, практически без переплетов, рассыпались в руках. Не помню ни заглавий, ни издательства; сюжетов, честно говоря, тоже. Почему-то осталось впечатление, что один назывался «Провинциальные забавы», но не уверен. Конечно, можно бы уточнить, но одолживший их друг умер год назад; я и проверять не буду.

Они были помесью плутовского и детективного романа, и действие по крайней мере одного, который я про себя зову «Провинциальные забавы», проходило в зимней Венеции. Атмосфера сумеречная и тревожная, топография, осложненная зеркалами; главные события имели место по ту сторону амальгамы, в каком-то заброшенном палаццо. Подобно многим книгам двадцатых роман был довольно короткий — страниц 200, не больше — и в бодром темпе. Тема обычная: любовь и измена. Самое главное: книга была написана короткими — длиной в страницу или полторы — главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешешь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах, Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, то есть: качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что за чем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Если читатель теперь мучается, причина в этом.

## 15.

Потом другой друг, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване — сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и — по нарастающей — таблетками и ампулами. Потом друг, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр контрабандной и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богартом. Увы, фильм оказался не первый сорт; да и от самой новеллы я был не в восторге. И все равно долгий начальный эпизод с Богартом в пароходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом.

Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым, как и пристало выходцу из литературы или зины; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, где слышны Вивальди и Керубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини, /Тьеполо/Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин.

## 16.

Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в 28 лет человек с мозгами всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполним ни в одной своей части. Так что когда тридцати двух лет от роду я оказался в недрах другого континента, посреди Америки, то первую университетскую получку истратил на осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда — обратно Детройт — Милан — Детройт. Самолет был забит итальянцами с заводов Форда и Крайслера, едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли беспощинную торговлю, они ринулись туда, и на секунду мне представился наш самолетик, летящий над Атлантикой, словно распятое: раскинув крылья, хвостом вниз. Потом поездка на поезде и в конце ее — единственный человек, которого я знал в этом городе. Конец был холодным, сырым, черно-белым. «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою», цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро. Воскресное утро, и все колокола звонили.

## 17.

Я всегда был приверженцем мнения, что Бог, или по крайней мере Его Дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде и ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год в несколько языческом духе стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской пронзительностью, а с нежностью и благодарностью.



Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно установить какую-то эволюционную — если не просто атавистическую — связь между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время — оно же — вода. Плюс есть несомненное соответствие — если не прямая связь — между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем, не навредив.

## 18.

Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени — три-четыре дня — и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь *culdesac*. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление — вбок. Он окружает тебя как замерзшие водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких взмахх руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска «*A destra, a sinistra, dritto, dritto*», легко узнает рыбу.

## 19.

Запутавшаяся в водорослях сеть — более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу и жизнь развивается по имманентной логике сплетни. Территориальный императив человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму (минимальному здесь), сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то делишками, и как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или, наоборот, адвоката нужно нанять со стороны. Приезжим, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не забавляет то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но все-таки пересуды как принцип городской планировки (которая здесь становится членораздельной только задним числом) лучше любой современной решетки и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая, как кривотолки за спиной, никогда не кончается. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба неприступны для чужака. Правда, раз или два за эти семнадцать лет я сумел втереться в венецианское святая святых, в лабиринт за амаль-

гамой, описанный де Ренье в «Провинциальных забавах». Это произошло таким окольным путем, что теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами и изгибами, приведшими тогда к моему в этот лабиринт попаданию. Кто-то что-то кому-то сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал и позвонил четвертому, в результате чего однажды вечером энный человек пригласил меня на прием в свое палаццо.

## 20.

Палаццо досталось энному совсем недавно, после почти трехвековых юридических битв, которые вели несколько ветвей семьи, подарившей миру пару венецианских адмиралов. Соответственно два огромных с великолепной резьбой кормовых фонаря брезжили в гроте высотой в два этажа — во дворе палаццо, заполненном всяческими флотскими штуками, от Возрождения до наших дней. Сам энный был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет ожидания и к великому огорчению остальных членов семейства. К флоту он отношения не имел: немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент заметнее всего в этом сорокалетнем, худом, невысоком человеке в сером двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьезно болен. Желтизна кожи указывала на перенесенный гепатит — или, может быть, на простую язву. Он ел только консоме и вареные овощи, пока его гости обьедались тем, что имеет право на отдельную главу, если не книгу.

Итак, собравшиеся отмечали вступление энного в права, равно как и открытие издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы трое — коллега-писательница, ее сын и я — прибыли, прием был в самом разгаре. Народу была масса: местные и слегка международные светила, политиканы, знать, завсегда таи кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени яркости, велосипедная звезда, американские академики. Плюс компания хихикающих, резвых, гомосексуальных молодцов, неизбежных в те дни всюду, где имело место что-то мало-мальски приличное. Во главе компании стоял довольно безумный и злобный петух средних лет — очень белокурый, очень голубоглазый, очень пьяный мажордом этого здания, чьи дни здесь были сочтены и который поэтому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, ввиду его перспектив.

Они слишком галдели, и энный вежливо предложил нам троим осмотреть остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте. Покинув его кабину, мы покинули двадцатый, девятнадцатый и большую долю восемнадцатого века.

Мы оказались на длинной, плохо освещенной галерее со сводчатым потолком, кишащим putti. Свет все равно бы не помог, поскольку стены были закрыты большими, от пола до потолка, темно-коричневыми картинами, которые, очевидно, были написаны на заказ для этого помещения и перемежались едва различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия, мифологические сцены; самой светлой краской была винно-красная. Это были копии тяжелого порфира, заброшенные, во власти вечного вечера, где за холстами таились рудные пласты; безмолвие здесь царило истинно геологическое. Нельзя было спросить «Что это? Чья работа?» из-за неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно постороннему организму. Еще это было похоже на подводное путешествие, словно мы составляли косяк рыб, проходящий сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту, — рта не раскрыть, не то наглотаешься воды.

На дальнем конце галереи наш хозяин порхнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена семнадцатого века. Судя по книгам за проволочной сеткой в красном размере с гардероб шкафу, век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свиную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену, — чуть больше, и он превратился бы в мыслителя с плачевными последствиями для его манер или состояния. В остальном комната была довольно голрой. Свет в ней был немногим лучше, чем в галерее; я различил стол и большой выцветший глобус. Затем хозяин повернул ручку, и я увидел его силуэт в дверном проеме, ведущем в ан-

филаду. Я заглянул в нее и вздрогнул: анфилада казалась вязкой и дурной бесконечностью. Затем я ступил в нее.

Это была длинная череда пустых комнат. Рассудком я понимал, что длиннее параллельной ей галереи она быть не может. Тем не менее была. У меня возникло чувство, что я перемещаюсь не столько в обычной перспективе, сколько по горизонтальной спирали, где приостановлено действие оптических законов. Каждая комната знаменовала свое дальнейшее убывание, следующую степень твоего небытия. Дело было в трех вещах: драпировках, зеркалах, пыли. Хотя иногда угадывалось назначение комнаты — столовая, салон, возможно, детская, — в общем их роднило отсутствие понятной функции. Они были примерно одного размера или по крайней мере не сильно в этом отличались. И во всех окна были зашторены и два-три зеркала украшали стены.

Каким бы ни был первоначальный цвет и узор портьер, теперь они стали бледно-желтыми и очень ветхими. Прикосновение пальца, не говоря о бризе, означало бы их настоящую гибель, что следовало из обрывков ткани, устилавших паркет. Они лысели, эти занавеси, и на некоторых складках виднелись широкие вытертые проплешины, словно ткань ощущала, что круг ее бытия замкнулся, и возвращалась в свое дотканое состояние. Наверно, и наше дыхание было слишком фамильярным, но все лучше свежего кислорода, в котором, как и история, ткань не нуждалась. Речь шла не о тлении, не о распаде, но о растворении в прошедшем времени, где твой цвет и расположение нитей не имеют значения, где, узнав, что с ними может случиться, они перестроятся и вернутся сюда или куда-то еще в ином обличье. «Простите, — словно говорили они, — в следующий раз мы будем прочнее».

Потом эти зеркала, два или три на комнату, разных размеров, но чаще всего прямоугольные. Все в изящных золотых рамах, с искусными гирляндами или идилическими сценками, привлекавшими к себе больше внимания, чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле рамы были логичней своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков отвыкнув отражать что-либо, кроме стены напротив, зеркала отказывались вернуть тебе свое лицо то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать де Ренье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамах все меньше и меньше себя, все больше и больше темноты. Постепенное вычитание, подумал я, чем-то оно кончится? И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном — метр на метр — прямоугольнике черное, как смоль, ничто. Глубокое и зовущее, оно словно вмещало собственную перспективу — другую анфиладу, быть может. На секунду закружилась голова; но, не будучи романистом, я не воспользовался возможностью и предпочел дверь.

Всю дорогу хватало призрачности; тут ее стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали; я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль; цвета и формы всего окружающего смягчались ее серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено все, иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданно благотворным эффектом: подчеркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно ее слой был толстым и густым; более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждет пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт; но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникнет в сами предметы, подумал я, сольется с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала; попадают довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться: они просто посереют, раз время не прочь принять их форму, как оно это уже сделало в веренице пустых комнат, где оно достигало материи.

Последней была спальня хозяина. Там царил гигантская, но не застеленная кровать с пологом: реванш адмирала за узкую койку на корабле или, возможно, знак уважения к самому морю. Второе вероятнее, учитывая чудовищное бетонное облако putti, нависшее над кроватью и игравшее роль балдахина. Вообще-то это была скорее лепнина, чем путти. Лица херувимов выглядели до ужаса гротескно: все они, пристально глядя на кровать, улыбались порочной, развратной улыбкой. Они напомнили мне

о смешливом молодянке внизу; и тут я заметил переносной телевизор в углу этой вообще-то абсолютно пустой комнаты. Я вообразил, как мажордом забавляет здесь избранника; судорожный остров нагой плоти и море белья под изучающими взорами пыльного гипсового шедевра. Как ни странно, вообразил без брезгливости. Напротив, мне показались, что с точки зрения времени как раз здесь такие забавы уместны, ибо не приносят плода. В конце концов три века здесь не было полновластного хозяина. Войны, революции, великие открытия, Гении, эпидемии не имели сюда доступа из-за юридических препятствий. Действие причинности прекратилось, поскольку ее носители в человеческом облике шагали по этой перспективе только в качестве зрителей, раз в несколько лет в лучшем случае. Так что корчащийся островок в простынном море, в сущности, соответствовал окружающей недвижности, поскольку и она никогда в жизни не смогла бы ничего породить. К счастью, остров — или правильной будет: вулкан? — мажордома существовал только в глазах путти. На глади зеркала его не было. Как и меня.

## 21.

Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая *Nebbia*, превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пароходное сообщение прервано, самолеты неделями не садятся, не взлетают, магазины не работают, почта не приходит. Слово чья-то грубая рука вывернула все эти анфилады наизнанку и окутала город подкладкой. Лево, право, верх, низ тасуются, и не заблудиться ты можешь, только будучи здешним или имея чичероне. Туман густой, слепой, неподвижный. Последнее, впрочем, выгодно при коротких вылазках, скажем, за сигаретами, поскольку можно найти обратную дорогу по тоннелю, прорытому твоим телом в тумане; тоннель этот остается открыт в течение получаса. Наступает пора читать, весь день жечь электричество, не слишком налегать на самоуничжительные мысли и кофе, слушать зарубежную службу Би-Би-Си, рано ложиться спать. Короче, это пора, когда забываешь о себе — по примеру города, утратившего зримость. Ты бессознательно следуешь его подсказке, тем более если, как и он, ты один. Не сумев здесь родиться, можешь по крайней мере гордиться тем, что разделяешь его невидимость.

## 22.

Меня, впрочем, содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше — если не больше, — чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычками романиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни. Не сумев здесь родиться, я не сумел, видимо, и еще чего-то, когда выбрал занятие, редко имеющее конечным пунктом бельэтаж. С другой стороны, есть, наверно, какой-то извращенный снобизм в привязанности к здешнему кирпичу, к его красным, воспаленным мышцам в струпьях слезающей штукатурки. Как яйца нередко, особенно пока готовишь завтрак, наводят на мысль о неизвестной цивилизации, дошедшей до идеи производства пищевых консервов органическим способом, так и кирпичная кладка напоминает об альтернативном устройстве плоти, не освежеванной, конечно, но алой, составленной из мелких одинаковых клеток. Стена или дымоход как еще один автопортрет вида на элементарном уровне. В конце концов, как и Сам Всемогущий, мы делаем все по своему образу за неизменем более подходящего образца, и наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди.

## 23.

Как бы то ни было, порог в квартирах венецианцев я переступал редко. Клань не любят чужаков, а венецианцы — народ весьма клановый, к тому же островитяне. Отпугивал и мой итальянский, бестолково скачущий около устойчивого нуля. За месяц

или около того он всегда улучшался, но тут я садился в самолет, еще на один год уносивший меня от возможности этот улучшенный язык применить. Поэтому общался я с англоговорящими туземцами и американскими эмигрантами, в чьих домах встречал знакомый вариант — если не уровень — изобилия. Что касается говоривших по-русски типов из местного университета, то меня тошнило от их отношения к моей родной стране и от их политических взглядов. Примерно так же действовали на меня и дватри местных писателя и профессора: слишком много абстрактных литографий по стенам, аккуратных книжных полок и африканских безделушек, молчащих жен, бледных дочерей, разговоров, вяло текущих от последних новостей, чужой славы, психотерапии, сюрреализма к объяснениям, как мне быстрее добраться до отеля. Разнородность стремлений сводится на нет тавтологичностью конечного результата. Я мечтал тратить дни в пустой конторе какого-нибудь здешнего поверенного или аптекаря, глаза на секретаршу, вносящую кофе из бара поблизости, болтая о ценах на моторки или о положительных чертах Диоклетиана, поскольку здесь у всех сносное образование (или мне так представлялось). Я был бы не в силах подняться со стула, клиентов было бы мало; наконец, он запер бы помещение и мы бы отправились к «Гритти» или «Даниели», где я бы заказал выпивку; если бы мне повезло, к нам бы присоединилась секретарша. Мы бы устроились в глубоких креслах, злословя о новых немецких батальонах или вездесущих японцах, которые, кося объективами, возбужденно подглядывают, словно новые старцы, за бледными голыми мраморными бедрами Венеции — Сусанны, переходящей вброд холодные, крашенные закатом, плещущие воды. Потом он, может, позвал бы к себе поужинать, и его беременная жена, возвышаясь над дымящимися макаронами, отчитывала бы меня за затянувшееся холостячество... Видимо, перебрал, смотря неореалистов и читая Звево. Для реализации подобных фантазий требуется то же, что для вселения в бельэтаж. Я этим требованиям не удовлетворяю; и никогда не задерживался здесь настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться окончательно. Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей, причем аккуратно. Никому не удастся достичь убедительного результата, но иногда хорошую службу способна сослужить супруга в бегах или политическая система. О чужих домах, о незнакомых лестницах, странных запахах, непривычной обстановке и топографии — вот о чем грезят старые собаки из пословицы, слабоумные и одряхлевшие, а не о новых хозяевах. И фокус в том, чтобы их не тревожить.

## 24.

Поэтому я ни разу не выспался, тем более не согрелся в чугунной семейной кровати с девственным, хрустящим бельем, с покрывалом, отделанным вышивкой и бахромой, с облачными подушками в изголовье, над которым висит маленькое распятие, инкрустированное перламутром. Я никогда не навел праздного взгляда ни на олеографию Мадонны, ни на выцветшие портреты отца/брата/дяди/сына в берсальерском шлеме с черными перьями, ни на ситец занавесок, ни на фарфор или майолику кувшина, стоящего на темном комоде, набитом местными кружевами, простынями, полотенцами, наволочками, бельем, которые выстирала и выгладила на кухонном столе молодая, сильная, загорелая, почти смуглая рука, в то время как ляпка сползала с плеча и серебряный бисер пота блестел на лбу. (Что до серебра, то оно, по всей вероятности, засунуто под стопку простынь в одном из ящиков.) Все это, разумеется, из кино, где я не был ни звездой, ни статистом, из кино, которое, насколько я понимаю, уже не будут снимать, а если будут, то с другим реквизитом. У меня в уме фильм называется «Венецианская семья» и обходится без сюжета, кроме сцены со мной, идущим по Фондоменте Нуове с лучшими в мире красками, разведенными на воде, по левую руку и кирпичным раем по правую. На мне должны быть кепка, темный пиджак и белая рубашка с открытым воротом, выстиранная и выглаженная той же сильной загорелой рукой. У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо, где на железном стуле в кафе «Парадизо» сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинното, лежали булочка, потрепанный «Монобиблос» Проперция или «Капитанская дочка»; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное

как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию. Она подняла бы глаза горчично-медового цвета, остановила взгляд на фигуре в плотном пиджаке и сказала: «Ну и пузо!». Если что и спасет эту картину от фиаско, то только зимнее освещение.

## 25.

Не так давно я видел фотографию военной казни. Три бледных, тощих человека среднего роста с непримечательными лицами (камера снимала их в профиль) стояли у свежевырытой ямы. У них была внешность северян — снимали, по-моему, в Литве. За каждым стоял немецкий солдат, приставив пистолет к затылку. Невдалеке виднелась группа солдат — зрителей. Дело происходило в начале зимы или поздней осенью, судя по шинелям. Осужденные, все трое, тоже были одеты одинаково: кепки, плотные черные пиджаки поверх белых рубашек. Кроме всего прочего, им было холодно. Поэтому они втянули головы. И еще потому, что им предстояло умереть: фотограф нажал на кнопку за миг до того, как солдаты — на крючок. Трое деревенских парней втянули головы в плечи и сощурились, как ребенок в ожидании боли. Они ждали, что будет больно, может, ужасно больно, они ждали оглушительного — так близко к ушам! — звука выстрела. И они зажмурились. Ведь репертуар человеческих реакций так ограничен! К ним шла смерть, а не боль; но их тела отказывались различать.

## 26.

Однажды днем в ноябре 1977 года в гостиницу «Лондон», где я остановился благодаря любезности «Выставки несогласных», мне позвонила Сюзанна Зонтаг, остановившаяся в «Гритти» по той же причине. «Иосиф,— сказала она,— я тут на площади наткнулась на Ольгу Радж. Ты ее знаешь?» «Нет. Ты хочешь сказать — подруга Паунда?» «Да,— ответила Сюзанна,— и она позвала меня вечером. Я боюсь идти одна. Не сходишь со мной, если нет других планов?» Их не было, и я сказал, что, конечно, схожу, слишком хорошо понимая ее опасения. Мои, я думал, были бы даже сильнее. Начать с того, что в моей области Эзра Паунд важная шишка, практически целый институт. Масса американских графоманов нашли в Эзре Паунде и учителя и мученика. В молодости я довольно много переводил его на русский. Переводы вышли дрянь, но чуть не были напечатаны заботами какого-то нациста в душе, работавшего в редакции солидного журнала (теперь он, конечно, ярый националист). Оригинал мне нравился за нахальную свежесть, за подтянутый стих, за стилистическое и тематическое разнообразие, за размах культурных ассоциаций, в ту пору мне недоступный. Еще мне нравился его принцип «это нужно обновить» — то есть нравился, пока до меня не дошло, что настоящая причина «обновления» в том, что «это» вполне устарело; что в конечном счете мы находимся в ремонтной мастерской. Что до его невзгод в госпитале Св. Елизаветы, то, на русский взгляд, выходить из себя тут было не из-за чего и, во всяком случае, это было лучше девяти граммов свинца, которые бы он заработал в другом месте за свой радиотреп в войну. «Кантос» тоже не произвели особого впечатления: главная ошибка была старая — «поиски красоты». Для человека со столь давней итальянской пропиской странно не понимать, что целью красота быть не может, что она всегда побочный продукт иных, часто весьма заурядных поисков. Стоило бы, по-моему, издать его стихи и речи в одном томе, без всяких ученых предисловий, и посмотреть, что получится. Поэт первый обязан помнить, что время не знает о расстоянии между Рапалло и Литвой. Еще я думал, что достойней признать, что испоганил себе жизнь, чем коченеть в позе гонимого гения, который, повскидывая руку в фашистском салюте, потом отрицает, что этот жест что-то значил, дает уклончивые интервью и надеется плащом и посохом придать себе облик мудреца, в итоге приобретающая сходство с Хайле Селассие. Он все еще котировался у некоторых моих друзей, и теперь меня ждала встреча с его старухой.

Адрес был деи Салюте Сестьере, часть города с самым большим, по моим сведениям, процентом иностранцев, особенно Anglos. Немного яоплутав, мы нашли нужное место — не так далеко, в сущности, от дома, где в десятые годы жил де Ренье. Мы позвонили в дверь, и первое, что я увидел за спиной маленькой женщины с бле-

стяжными черными глазами, был бюст поэта работы Годье-Бжешка, стоящий на полу в гостиной. Скука охватила внезапно, но прочно.

Подали чай, но только мы сделали первый глоток, как хозяйка — седая, щедрая, опрятная дама с запасом сил еще на много лет — подняла острый палец, попавший на невидимую умственную пластинку, и из поджатых губ полилась ария, партия которой была обнародована самое позднее в 1945 году. Что Эзра не был фашистом; что они боялись, что американцы (довольно странно слышать от американки) отправят его на стул; что о творившемся он ничего не знал; что в Рапалло немцев не было; что он ездил из Рапалло в Рим только дважды в месяц на передачу; что американцы опять-таки ошибались, считая, что Эзра сознательно... В какой-то момент я отключился — с тем большей легкостью, что английский мне не родной, — и просто кивал в паузах или когда она прерывала монолог риторическим «*Carito?*» Запись, решил я; «Голос ее хозяина». Будь вежлив и не перебивай даму; это ахинея, но она в нее верит. Во мне, видимо, есть часть, всегда уважающая физическую сторону речи независимо от содержания; само движение чьих-то губ существенней, чем то, что их движет. Я глубоко уселся в кресло и попытался сосредоточиться на печенье, поскольку ужина не подали.

Прервал дремоту голос Сюзанны, из чего я заключил, что пластинка остановилась. В его тембре было что-то необычное, и я наострил уши. Сюзанна говорила: «Но, Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач. Если б дело было в одних передачах, тогда Эзра был бы просто второй Токийской Розой<sup>1</sup>». Да, это был один из шикарнейших выпадов, когда-либо слышанных мной. Я посмотрел на Ольгу. Она, нужно признать, встретила удар по-солдатски. Точнее говоря, профессионально. Или же просто не поняла Сюзанну, хотя вряд ли. «А из-за чего же?» — поинтересовалась она. «Из-за антисемитизма Эзры», — ответила Сюзанна, и я увидел, как палец старой дамы корундовой иглой снова скакнул в бороздку. На этой стороне пластинки было записано, что «нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал...» — столь же знакомая, столь же длинная песня — минут на 45; но нам уже было пора идти. Мы поблагодарили старую даму за вечер и распрощались. Лично я не испытывал грусти, обычно возникающей, когда уходишь из дома вдовы или вообще оставляешь кого-то одного в пустом месте. Старая дама выглядела молодцом, не едствовала; плюс ко всему наслаждалась комфортом своих убеждений — и, чтобы его сохранить, она, я понял, пойдет на все. Со старыми фашистами я никогда не сталкивался, но со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Фундамент дель Инкурабили.

## 27.

Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности — зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из «Нешнл Джонографик». Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребята в шубах наяривают *Eine Kleine Nachtmusik*, специально для тебя, усевшегося на белом стуле и шурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки — единственная, как ты понимаешь, черная точка на милях вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов — как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. «Изобрази», — кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сет-

<sup>1</sup> Ива Тогури — родившаяся в США японка, которая во время второй мировой войны вела передачи японского радио на Америку.

чатки вместить то, что он предлагает, тем более — на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодaku за финансовой помощью — или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещен зимним светом, акции Кодака — лучшее помещение капитала.

## 28.

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпильки тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. «Изобрази», — шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет. Растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц — достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете именно предмет и делает бесконечность частной.

## 29.

А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа — драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под- или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкование снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам — и к херувимам. Вероятно, и херувимы — этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

## 30.

Однако из херувимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним вас причисляют чаще, чем к первым; хотя бы потому, что крылья обретаешь только в ВВС. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мра-



морных, бронзовых, гипсовых небылиц — как минимум, в драконе, а не в св. Георгии. При специальности, заставляющей макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих. В конце концов святого без чудовища не бывает — не говоря уже о подводном происхождении чернил. Но даже не разводя эту идею ни чернилами, ни водой, ясно, что это город рыб, как пойманных, так и плавающих на воле. И увиденный рыбой — если наделить ее человеческим глазом во избежание пресловутых искажений, — человек предстал бы чудовищем; может, и не осьминогом, но уж точно четвероногом. Чем-то, во всяком случае, гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гоняются. Спроси простую золотую рыбку — даже не пойманную, а на свободе, — как я выгляжу, она ответит: ты чудовище. И ее голос покажется странно знакомым, словно глаза у нее горчично-медового цвета.

**31.**

Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ли ты или дичь. Точно, что не святой, но, возможно, и не полноценный дракон; вряд ли Тесей, но и не изголодавшийся по девушкам Минотавр. Впрочем, греческая версия ближе к делу, поскольку победитель не получает ничего, поскольку убийца и убитый родня. Чудовище ведь приходилось единоутробным братом награде; во всяком случае — итоговой жене героя. Насколько мы знаем, Ариадна и Федра были сестры, и храбрый афинянин поимел обеих. Стремясь в зятя к критскому царю, он вполне мог пойти на убийственное задание, чтобы улучшить репутацию своей будущей семьи. Как от внучек Гелиоса от девиц ждали чистоты и блеска; об этом же говорят и их имена. Ведь даже мать, Пасифая, при всех своих темных влечениях была Ослепительно Яркой. И, возможно, она отдалась темным влечениям и тем самым быку как раз затем, чтобы показать, что природе безразличен принцип большинства, так как рога быка напоминают лунный серп. Возможно, светотень интересовала ее сильнее, чем животные свойства, и она затмила быка по чисто оптическим соображениям. И тот факт, что бык, чья нагруженная символами родословная восходит к наскальной живописи, был настолько слеп, что обманулся искусственной коровой, сооруженной для Пасифаи Дедалом, доказывает, что ее предки берут верх в системе причинности, что преломленный ею свет Гелиоса все еще — после четверых детей «двух знаменитых дочерей и двух никчемных сыновей» — ослепительно ярок. А по поводу причинности следует добавить, что главный герой сюжета — именно Дедал, кроме очень правдоподобной коровы построивший — на этот раз для царя — тот самый лабиринт, где быкоголовый отпрыск и его убийца однажды столкнулись с печальными последствиями для первого. В каком-то смысле вся история родилась в мозгу Дедала, и в особенности лабиринт, так похожий на мозг. В каком-то смысле все между собой в родстве, по крайней мере преследователь и преследуемый. Поэтому неудивительно, что блуждания по улицам этого города, чьей самой крупной колонией в течение примерно трех веков был Крит, производят довольно тавтологическое впечатление, особенно когда смеркается, то есть когда убывают пасифайские, ариаднины и федрины свойства города. Иными словами, особенно вечером, когда предаешься самоуничтожению.

**32.**

На светлой стороне, конечно, множество львов: крылатых, с книгой, раскрытой на «Мир тебе, св. Марк», или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своих занятий я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может, но чье умение читать более сомнительно. Во всяком случае, лапой листать страницы удобнее, чем копытом. В этом городе львы на каждом углу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку одной моей книги, то есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду. Но они все равно чудовища, хотя бы потому, что

рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в бескрылом состоянии (греки со своим быком оказались большими реалистами, несмотря на его неолитическую родословную). Что до самого евангелиста, то он, разумеется, умер в Александрии, в Египте, — но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари. В общем, со львами дел христианский мир почти не имел, поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях. Что, конечно, сблизило их впоследствии с отцами-пустынниками; а кроме этого христиане сталкивались со зверем только в качестве его пищи в римских цирках, куда львов ввозили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность — лучше сказать: их небывалость — и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с Божеством. Так что не совсем нелепо сажать зверя на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража вечного успокоения св. Марка; если не церковь, то саму Венецию можно счесть львицей, защищающей львенка. К тому же в этом городе церковь и государство слились совершенно византийским образом. Единственный случай, должен заметить, когда такое слияние обернулось, и очень скоро, выгодой для подданных. Поэтому неудивительно, что как настоящий светский лев он здесь в центре внимания, правда, держится при этом вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе в конечном счете имеют право зваться чудовищами (пускай добродушными), ибо в природе никогда не существовали. И еще потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и Самого Спасителя. С другой стороны, зверя извять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более — в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки.

## 33.

Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золота горчично-медовые, обладательница последних и я встречали египетский военный корабль, точнее, легкий крейсер, швартовавшийся у Фундамент делла Арсенале, рядом с Жардиньо. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ошестившееся всевозможными антеннами, радарными, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычных орудий главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже вблизи пришлось бы подумать, потому что форма и выучка экипажа отдавали Британией. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к темному пурпуру. Пока мы недоумевали, что привело сюда корабль — нужда в ремонте? новая помолвка Венеции и Александрии? надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке? — вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали: «Алла! Акбар Алла! Акбар!». Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву, обе мачты на мгновение превратились в минареты. Крейсер обернулся Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере она сократилась на шесть веков: христианство стало ровесником ислама. Босфор накрыл Адриатику, и нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура.

## 34.

Зимними вечерами море, гонимое встречным восточным ветром, до краев, точно ванну, заполняет все каналы, иногда через край. Никто не бежит с первого этажа, крича: «Прорвало!», так как первого этажа нет. Город стоит по щиколотку в воде, и лодки, «как животные, на привязи у стен» (если вспомнить Кассиодора), встают на дыбы. Башмак паломника, попробовав воду, сушится в номере на батарее; туземец

ныряет в чулан, чтобы выудить пару бот. «Acqua alta»,— говорит голос по радио, и уличная толча спадает. Улицы пустеют, магазины, бары, рестораны и траптории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм, пока мостовая ненадолго, поверхностно сравнивается с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни клиру, ни прихожанам хождение по водам не в новинку. Ни музыка, близнецу воды.

Семнадцать лет назад, переходя вброд одно кампо за другим, пара зеленых бот принесла меня к порогу розового зданьца. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви крещен родившийся раньше срока Антонио Вивальди. В те дни я еще был довольно рыжий; в те дни я растрогался, поняв, что попал на место крещения того самого «рыжего клирика», который так часто и так сильно радовал меня во множестве Богом забытых мест. И я вроде бы вспомнил, что именно Ольга Радж устроила первую неделю Вивальди в этом городе,— так уж вышло, что за несколько дней до начала второй мировой войны. Неделя проходила в палаццо графини Полиньяк, и мисс Радж играла на скрипке. Исполняя какую-то пьесу, она заметила краем глаза, что в зал вошел человек и стал у дверей, поскольку все места были заняты. Пьеса была длинная, и она начала беспокоиться, потому что приближалась к пассажи, где требовалось перевернуть страницу, не прерывая игры. Человек, которого она видела краем глаза, передвинулся и исчез из поля зрения. Пассаж приближался, беспокойство росло. И вот ровно в ту секунду, когда ей надо было перевернуть страницу, слева от нее возникла рука, протянулась к попитру и медленно перевернула лист. И она продолжала играть, а когда трудное место кончилось, взглянула налево, чтобы выразить благодарность. «Вот так,— рассказывала Ольга Радж моему другу,— я впервые увидела Стравинского».

## 35.

Так что можно войти и отстоять службу. Петь будут вполголоса, вероятно, по причине погоды. Если вас устроит такое извинение, то Адресата тем более. Кроме того, вы не в состоянии разобрать слова, на каком бы языке — итальянском или латыни — ни пели. Поэтому вы просто стоите или садитесь на скамью подальше и слушаете. «Мессу лучше всего слушать,— говорил Уистан Оден,— не зная языка». И действительно в таких случаях невежество помогает сосредоточиться не меньше, чем слабое освещение, от которого пилигрим страдает в любой итальянской церкви, особенно зимой. Кидать монеты в осветительный автомат во время службы не очень-то хорошо. Кроме того, их часто не хватает у тебя в кармане, чтобы как следует насладиться картиной. В былое время я не расставался с мощным фонарем, каким пользуются нью-йоркские полицейские. Один из путей к богатству, думал я,— это наладить производство миниатюрных долгодействующих ламп-вспышек, вроде фотографических. Я бы их назвал «Вечная вспышка» или, еще лучше, «Да будет свет» и через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на Сан-Лио или Салюте. Даже мог бы жениться на секретарше компаньона, которой у него нет, так как нет и его самого... Музыка замирает; ее близнец, однако, поднялся, как ты обнаруживаешь, выйдя на улицу,— поднялся незначительно, но достаточно, чтобы возместить тебе замерший хорал. Ибо вода — тоже хорал и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говоря уже — бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. Неудивительно, что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью. Чудо, что город, глядя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя H<sub>2</sub>O (хотя пить ее и не станешь), что она по-прежнему поднимается. Она действительно похожа на нотные листы, по которым играют без перерыва, которые прибывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными легато мостов, высоких окон, куполов на соборах Кодуччи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр с тускло освещенными попитрами палаццо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу.

## 36.

Это тревожит оркестр, точнее, дирижеров, отцов города. По их подсчетам этот город только за последний век осел на 23 см. Чем наслаждается глаз туриста — для туземца настоящая головная боль. И, если бы одна головная боль, все было бы еще ничего. Но к ней прибавляется предчувствие, если не сказать страх, что городу углована судьба Атлантиды. Страх не лишен оснований, хотя бы потому, что неповторимость города приравнивает его к особой цивилизации. Главной опасностью признаны высокие зимние приливы, довершают дело индустрии и сельское хозяйство материка, засоряющие Лагуну химическими отходами, и засорение каналов самого города. Правда, люди моей специальности еще с романтиков привыкли возлагать вину на человека, а не на природные бедствия. Поэтому, поддавшись тираническим инстинктам, я бы установил какие-нибудь шлюзные ворота, чтобы запрудить человеческое море, за последние два десятилетия поднявшееся на два миллиарда и на гребень волны выносящее отбросы. Я бы заморозил производство и число жителей в двадцатимильной зоне вдоль северного берега Лагуны, вычистил бы дно каналов драгами и землечерпалками (наняв для этой операции войска или платя местным компаниям сверхурочные) и развел бы в них нужные для очистки воды породы рыб и бактерий.

Я понятия не имею, что это за рыбы или бактерии, но уверен, что они существуют. Тирания — редко синоним компетентности. На худой конец я бы обратился к шведам и попросил рекомендаций у стоковского муниципалитета: в этом городе, при всей его промышленности и населении, как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здороваются семга. Если же дело в разнице температур, то можно попробовать сбросить в каналы ледяные глыбы или, в случае неудачи, регулярно освобождать холодильники туземцев от кубиков льда, поскольку виски здесь не в почете даже зимой.

«А почему же вы туда ездите именно зимой?» — спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке, в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? — подхватили они за своим возможным благодетелем. — Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об *acqua alta*; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые томной утренней пеленой; о голубях, не пропускающих в своей дремлющей склонности к архитектуре ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, — бедному Кверини, который слушает теперь шелест вечнозеленых в Жардиньо вместе с Вагнером и Кардуччи; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну, — сказал я, — это, как Грета Гарбо в ванне».

## 37.

За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что я приезжал сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезет: просто быть. То есть ни для медового месяца (ближе всего к которому я подошел много лет назад на острове Иския у Сиены), ни для развода. Я, значит, работал. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу — это добродетель. Работы всегда вдоволь, не говоря о том, что вдоволь внешнего мира. В конце концов всегда остается этот город. И, пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии. Помню один день — день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой трактирчике в самом дальнем углу Фондаменте Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили

по Фундаменте Нуова и повернул направо у больницы Джованни и Паоло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И спиной к Фундаменте и Сан-Микеле, держась стены госпиталя, почти задевая ее левым плечом и шурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мякнул. Я был абсолютно, животно счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь — или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня; если бы не он, я бы по сей день лез на стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике.

## 38.

Ночью здесь, в общем, делать нечего. Оперные и церковные концерты, конечно, вариант; но они требуют предприимчивости и хлопот: билеты, программки, все такое. Я в этом не силен; это все равно что готовить себе самому обед из трех блюд — или еще тоскливее. Кроме того, мне так везет, что, когда бы я ни наметил вечер в Ла Фениче, там недельная полоса Чайковского или Вагнера — равноценных с точки зрения моей аллергии. Хоть бы раз Доницетти или Моцарт! Остается читать и уныло разгуливать, что почти одно и то же, поскольку ночью эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки и с той же тишиной. Все «книжки» захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься только по имени на корешке под дверным звонком. О, здесь ты найдешь твоих Доницетти и Россини, твоих Люлли и Фрескобальди! Может быть, даже Моцарта, может быть, даже Гайдна. Еще эти улицы похожи на внутренность гардероба: вся одежда из темной, облезшей ткани, но подкладка красна и отликает золотом. Гете назвал это место «республикой бобров», но Монтеке был, может быть, метче со своим решительным «un endroit où il devrait n'y avoir que des poissons»<sup>1</sup>. Ибо и тогда, и теперь через канал в двух-трех горящих, высоких, закругленных, полувзвешенных газом или тюлем окнах видны подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошная бронза вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок — и кажется, что ты заглянув в рыбу сквозь чешую и что у рыбы званый вечер.

Издали — через канал — трудно разобрать, где гость, где хозяйка. При всем уважении к лучшей из наличных вер должен признаться, что не считаю, будто это место могло развиться только из знаменитой хордовой, торжествующей или нет. Я подозреваю и готов утверждать, что, в первую очередь, оно развилось из той самой стихии, которая дала этой хордовой жизнь и приют и которая, по крайней мере для меня, синоним времени. Эта стихия появляется в массе форм и цветов, с массой разных свойств, не считая тех, что связаны с Афродитой и Спасителем: штиль, шторм, вал, волна, пена, рябь, не говоря об организмах. На мой взгляд, этот город воспроизводит и все внешние черты стихии и ее содержимое. Брызга, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась вверх так долго, что не удивляешься, если некоторые из ее проявлений обрели в итоге массу, плоть, твердость. Почему это случилось именно здесь, понятия не имею. Вероятно, потому, что стихия услышала итальянскую речь.

## 39.

Глаз — наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты его внимания неизбежно размещены вовне. Кроме как в зеркале, глаз себя никогда не видит. Он закрывается последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды. Спрашивается «почему?», и ответ: потому, что окружение враждебно. Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая остается враждебной, как бы хорошо к ней ни приспособиться. Враждебность окружения растет пропорционально длительности твоего в нем присутствия, причем речь не только о стариках. Короче, глаз ищет безопасности. Этим объясняется пристрастие глаза к искусству вообще и к венецианскому в частности. Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и само ее существование. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя

<sup>1</sup> «Место, где должны жить только рыбы» (франц.).

Аполлона не кусается, и не укусит пудель Карпаччо. Когда глазу не удастся найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать, а если и это не удастся, приучает его считать уродливое замечательным. В первом случае он полагается на человеческий гений; во втором обращается к запасам нашего смирения. Которого всегда больше, и поэтому, как всякое большинство, оно склонно диктовать законы. Возьмем какой-нибудь пример; возьмем молодую, скажем, девушку. В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без прикладного интереса, без желания на них взобраться. На манер телевизора, работающего в пустой квартире, глаз продолжает передавать изображения всех этих чудес 1 м 73 см ростом: светло-каштановые волосы, овал Перуджино, газельи глаза, лоно кормилицы и талия осы, темно-зеленый бархат платья и немисливо тонкие щиколотки и запястья. Глаз может нацелиться на них в церкви, у кого-нибудь на свадьбе или, еще хуже, в поэтическом отделе книжного магазина. Достаточно дальнорезкий или прибегающий к подсказке уха, глаз может узнать, кто они такие (и тогда могут прозвучать такие захватывающие имена, как, например, Арабелла Ферри) и, увы, что у них с кем-то роман. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Фактически чем данные бесполезней, тем резче фокус. Спрашивается «почему»? — и ответ: потому что красота — всегда внешняя; потому что она — исключение из правил. Вот это — ее местоположение и ее исключительность — и заставляет глаз бешено вибрировать или — говоря рыцарским слогом — странствовать. Ибо красота есть место, где глаз отдыхает. Эстетическое чувство — двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики. Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.

## 40.

Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света; разрыв — со скоростью звука. Падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз. Поскольку ты сам конечен, отъезд из этого города всегда кажется окончательным; оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств; в лучшем случае в расщелины и расщелины мозга. Ибо глаз отождествляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза, по соображениям чисто оптическим, отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное, вызывает грусть независимо от того, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленная глаза. После нее все разочаровывает. Слеза есть предвосхищение того, что ждет глаз в будущем.

## 41.

Безусловно, у всех на нее, на Венецию, есть виды. У политиков и у капитала особенно, ибо самое большое будущее у денег. Оно такое большое, что деньги воспринимаются как синоним будущего и стараются им распорядиться. Все время слышны разговоры о реанимации города, о превращении всей провинции Венето в морские ворота Центральной Европы, развитии здешней промышленности, расширении портового комплекса Маргеры, увеличении танкерного судоходства в Лагуне и углублении Лагуны в этих целях, превращении венецианского Арсенала, обессмерченного Данте, в местный аналог Бобура, то есть в склад самого свежего интернационального мусора, о размещении там Экспо-2000 и т. п. Вся эта околесица несется из тех самых ртов, которые еще не успели закрыться после болтовни об экологии, сохранении, реставрации, культурном наследии и т. п. Цель всего этого одна: насилие. Конечно, никакой насильник не захочет признать себя таковым, тем более погастыся. Отсюда смесь планов и метафор, возвышенной риторики и лирического пыла, раздувающая могучие грудные клетки депутатов и commendatore.

Хотя эти персонажи гораздо опаснее турок, австрийцев и Наполеона вместе взятых. за те семнадцать лет, что я посещал этот город, здесь мало что изменилось. Венецию, как и Пенелопу, спасает от женихов их соперничество, конкурентная природа

капитализма, которая сократилась до родства толстосумов и партий. При демократии если чему научились, так это совать друг другу палки в колеса, и чехарда итальянских кабинетов зарекомендовала себя самой надежной страховкой города. Как и путаница политических ребусов самой Венеции. Дожей больше нет, и 80-ю 000-ми обитателей этих 118 островов руководит уже не чей-то великий замысел, а непосредственные, зачастую близорукие заботы, желание свести концы с концами. Дальновидность здесь, впрочем, только бы навредила. В месте таких размеров 20 или 30 безработных — уже повод для беспокойства городского совета, что наряду с врожденным недоверием островов к матерiku содействует плохому приему материковых планов, сколь угодно захватывающих. Обещания полной занятости и развития, как бы привлекательно они ни звучали во всяком ином месте, мало что значат в этом городе, еле набирающем восемь миль в периметре и даже в апогее морских успехов не вмещавшем более 20 000 душ. Такие перспективы могут поразить лавочника или врача; но похоронное бюро стало бы возражать, поскольку местные кладбища и без того перенаселены и мертвых пришлось бы хоронить на материке. В конечном счете как раз на это материк и годен. Правда, будь похоронный агент и врач членами разных партий, какой-то прогресс стал бы возможен. В этом городе они часто состоят в одной, и дело стопорится довольно быстро, даже если эта партия — ИКП. Короче, в основе всех этих склок, невольных или вольных, лежит та простая истина, что острова не растут. Этого деньги, они же будущее, они же говорливые политиканы и толстосумы, как раз и не понимают. Хуже того, они чувствуют, что это место с ними не считается, поскольку красота, *fait accompli* по определению, никогда не считается с будущим, ни во что его не ставя, как и напыщенное, беспомощное настоящее. Лучше всего это видно по современному искусству, которое делает пророческим только его нищета. Нищий всегда за настоящее. Возможно, единственная цель коллекции Пегги Гуггенхайм и ей подобных наносов дряни двадцатого века, выставляемых здесь, — это показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали, — привить нам смирение. Другой результат и немислим на фоне этой Пенелопы среди городов, ткущей свои узоры днем и распускающей ночью без всякого Улисса на горизонте. Одно море.

## 42.

По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почём знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации. Пока что, кроме высадки на Луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое. Лично я против даже самого осторожного вмешательства. Кинофестивали и книжные ярмарки, конечно, под стать мерцающей поверхности каналов, их вычурному, неразборчивому почерку под изучающим взглядом сирокко. И, конечно, превратить это место в столицу научных исследований — тоже приемлемый вариант, особенно учитывая вероятную выгоду от местной фосфорной диеты для любого умственного труда. Такой же соблазн — перенести сюда штаб-квартиру Общего рынка из Брюсселя или Европейский парламент из Страсбурга. Конечно, лучшим решением будет предоставление этому городу и части его окрестностей статуса национального парка. Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И, во-вторых, этот город не годится в музей, так как сам является произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов — орды которых могут включать и вас.

## 43.

Времена года суть метафоры для наличных континентов, и в зиме всегда есть что-то антарктическое, даже здесь. Город уже не полагается, как прежде, на уголь, теперь есть газ. Великолепные, трембоноподобные дымоходы, напоминающие те средне-

вековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта. В результате ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающей тело при первом шаге на мраморный пол, в тапочках или без, в туфлях или без. Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон свечей — не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Все исходит холод, особенно стены. Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в то время как стены его копят. Помню, я как-то провел январь на пятом этаже в доме около церкви Фава. Владельцем квартиры был потомок не кого-нибудь, а Уго Фосколо. Он был лесной инженер или что-то такое и, естественно, уехал по делам службы. Квартира была не такой уж большой: две скудно обставленные комнаты. Зато потолок был исключительно высокий и, соответственно, окна. Их было 6 или 7, поскольку квартира была угловая. В середине второй недели отключилось отопление. В тот раз я был не один, и моя соратница и я тянули жребий, кому спать у стенки. «Почему меня всегда к стенке? — спрашивала она заранее. — Потому что я жертва?» И ее горчично-медовые глаза недоверчиво темнели при очередном проигрыше. Она укутывалась на ночь в розовую фуфайку, шарф, чулки, длинные носки и, сосчитав «uno, due, tre!», прыгала в кровать, словно в темную реку. Которой кровать, видимо, и была для нее — итальянки, римлянки с примесью греческой крови в жилах. «Единственное, с чем я не согласна у Данте, — говорила она, — это с описанием ада. Для меня ад холодный, очень холодный. Я бы оставила круги, но сделала их ледяными, и чтобы температура падала с каждым витком. Ад — это Арктика». И она действительно так считала. Заматав шарфом горло и голову, она напоминала Франческо Кверини на том памятнике в Жардиньо или знаменитый бюст Петрарки (который, в свою очередь, мне кажется вылитым Монтале — вернее, наоборот). Телефона в квартире не было, чаща дымоходных тромбонов маячила в темном небе. Все вместе напоминало Бегство в Египет, где она была и за мать и за младенца, а я за моего тезку и за осла; главное, был январь. «Между Иродом прошлого и фараоном будущего», — говорил я себе. «Между Иродом и фараоном, вот где мы». В конце концов я заболел. Холод и сырость справились со мной — вернее, с моими грудными мышцами и нервами, испорченными хирургией. Сердечный калека внутри меня запаниковал, и она усадила меня в парижский поезд, так как мы оба не очень доверяли местным госпиталям при всем моем обожании фасада Джованни и Паоло. Вагон был теплый, голова раскалывалась от нитроглицерина, компания берсалери в купе отмечала начало отпуска с помощью кьянти и орущего транзистора. Я не знал, доберусь ли до Парижа; но на мой страх накладывалось ясное чувство, что если я туда попаду, то скоро — скажем, через год — вернусь в холодное место между Иродом и фараоном. Даже тогда, скрючившись на деревянной скамье купе, я полностью понимал абсурдность этого чувства, но, поскольку абсурдность помогала заглянуть дальше страха, я был ей рад. Толчки вагона и воздействие его постоянной вибрации на костяк довершили, видимо, дело, расправив или еще сильнее испортив мои мускулы и т. п. Может быть, просто то, что в вагоне работало отопление. Во всяком случае, до Парижа я добрался, ЭКГ вышла сносная, и я сел на свой самолет в Штаты. Иначе говоря, выжил, чтобы рассказать это — и, вероятно, повторить.

## 44.

«Италия, — говорила Анна Ахматова, — это сон, который возвращается до конца наших дней». Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно, а их толкование нагоняет зевоту. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, непоследовательность. По крайней мере в этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы. И еще — объяснение того, что в течение всех семнадцати лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот. Само собой, где-то по ходу дела мне пришлось платить за эту жестокость, или размывая то, что являлось для



меня реальностью, или заставляя сон приобретать смертные черты, как это происходит с душой за время жизни. Я платил обоими способами; причем не имея ничего против, особенно против второго, принимавшего форму Картавенция (действительна до января 1988) в бумажнике, гнева в этих глазах особого цвета (охочих, начиная с той же даты, до лучших видов) или чего-то столь же окончательного. Реальность страдала сильнее, и часто я пересекал Атлантику на обратном пути с отчетливым чувством, что переезжаю из истории в антропологию. Несмотря на все время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просадил, я никогда не мог убедительно претендовать, даже в собственных глазах, на то, что приобрел хоть какие-то местные черты, что стал в сколь угодно мизерном смысле венецианцем. Слабая улыбка узнавания на лице хозяина гостиницы или трагтории не в счет; и никого не могли обмануть купленные здесь костюмы. Постепенно я стал временным постояльцем в обоих государствах, причем больше огорчала меня неспособность убедить сон, что я в нем присутствую. Конечно, к этому неумению не привыкать. Но я полагаю, что можно говорить о верности, если возвращаешься в место любви, год за годом, в несезон, безо всяких гарантий ответной любви. Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности ответная любовь, строго говоря, не обязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру *perse*<sup>1</sup>, музыку, мертвых поэтов или в случае особого темперамента — божество. Ибо любовь есть роман между предметом и его отражением. Это в конце концов и приносит тебя в этот город, как прилив приносит воды Адриатики и, дополнительно, Атлантики и Балтики. Во всяком случае, предметы не задают вопросов; пока эта стихия существует, их отражение гарантировано — в форме возвращающегося путешественника или в форме сна, ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надежность, которой лишен человеческий род, хотя мы тоже отчасти вода.

## 45.

Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода. Если это не происходит, то или потому, что у Всемогущего, кажется, не так много альтернатив, или потому, что сама мысль в своем движении подражает воде. Как и почерк, как и переживания, как кровь. Отражение есть свойство жидких субстанций, и даже в дождливый день можно доказать превосходство своей верности над верностью стекла, встав за ним. Этот город захватывает дух в любую погоду, разнообразие которой, во всяком случае, несколько ограничено. А если мы действительно отчасти синоним воды, которая точный синоним времени, тогда наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения впрок до тех времен, когда нас уже давно не будет. Из них, как из обтрепанных рисунков сепией, время, может быть, сумеет составить по принципу коллажа лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, в своей Адриатике, или Атлантике, или Балтике, время, оно же вода, вяжет или тклет из наших отражений (они же любовь к этому месту) неповторимые узоры, совсем как иссохшие старухи в черном на здешних островах, навсегда погруженные в свое глазоломное рукоделие. Они, правда, к пятидесяти годам теряют зрение или рассудок, но их заменяют дочери или внуки. Среди рыбачек для Парок всегда найдется вакансия.

## 46.

Чего местные никогда не делают — это не катаются на гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого обходится. Только туристу-иностранцу, причем состоятельному, оно по карману. Понятен поэтому средний возраст пассажиров гондолы: семидесятилетний, не моргнув глазом, отстегнет одну десятую учительского окла-

<sup>1</sup> Как таковую (лат.).

да. Вид этих дряхлых Ромео и климактерических Джульетт неизменно вызывает грусть и замешательство, если не ужас. Для молодых, то есть для тех, для кого такая вещь и предназначена, гондола так же недоступна, как пятизвездный отель. Экономика, конечно, отражает демографию; и это вдвойне печально, потому что красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде. Это, в скобках замечу, и гонит молодых на природу, к ее даровым, или точнее — дешевым радостям, доступ к которым свободен — то есть избавлен от смысла и таланта, присутствующих в искусстве или в мастерстве. Потрясающим может быть и пейзаж, но фасад Ломбардини говорит тебе, что ты можешь сделать. И один из способов — подлинный — глядеть на такие фасады — это сидя в гондоле: так можно увидеть то, что видит вода. Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком дня местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск. Ближе всего к поездке на гондоле оказываются на пароме через Канал Гранде или везя домой какую-нибудь громоздкую покупку — стулья или стиральную машину. Но ни паромщик, ни лодочник не запоят по такому поводу «O sole mio». Возможно, свое безразличие туземцы переняли у самого искусства, безразличного к собственному отражению. Это могло бы служить им последним доводом против гондолы, если бы его нельзя было опровергнуть, предложив ночное катание, на что я однажды согласился.

Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро, включая ее владельца, местного инженера, который и греб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Наконец, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверное, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. И потом, движимая мужчиной и женщиной, гондола не была даже мужественной. В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей. Ощущение было среднего рода, почти кровосмесительным, словно при нас брат ласкал сестру или наоборот. Мы обогнули остров мертвых и направились обратно к Канареджо. Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Мадонна делл'Орто — не столько потому, что ночь — самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной Мадонны Беллини с Младенцем. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от подошвы Младенца. Этот дюйм — гораздо меньше! — и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был закрыт, и мы проследовали по тоннелю гротов, по этому плоскому, освещенному луной штреку Пиранезе с редкими искрами электрической руды, к сердцу города. Что ж, теперь я знал, что чувствует вода, ласкаемая водой.

## 47.

Мы высадились около бетонного ящика отеля Бауер-Грюнвальд, взорванного под конец войны местными партизанами, потому что там располагалось немецкое командование, а затем восстановленного. В качестве бельма на глазу он составляет хорошую пару церкви Сан-Моисе — самому деятельному фасаду в городе. Рядом они смотрятся, как Альберт Шпеер, поедающий «pizza sarciociosa». Я не бывал ни там, ни там, но знал одного немецкого господина, который останавливался в этом ящичном строении и нашел его очень уютным. Его мать умирала, пока он проводил здесь отпуск, и он ежедневно говорил с ней по телефону. Когда она скончалась, он попросил дирекцию

продать ему телефонную трубку. Дирекция отнеслась с пониманием, и трубку включили в счет. Впрочем, он скорее всего был протестант, а Сан-Моисе католическая церковь, не говоря уже о том, что по ночам она закрыта.

## 48.

Равноудаленное от наших жилищ, это место не хуже любого другого подходило для высадки. Пересечь этот город пешком в любом направлении можно примерно за час. В том случае, разумеется, что ты знаешь дорогу — которую, выбравшись из этой гондолы, я знал. Мы распрошались и разошлись. Я пошел к своему отелю, усталый, пытаюсь глядеть по сторонам, бормоча под нос какие-то дурацкие, Бог знает откуда взявшиеся строки, вроде «Pillage this village»<sup>1</sup> или «This city deserves no pity»<sup>2</sup>. Напоминало раннего Одена, но это был не он. Вдруг захотелось выпить. Я свернул на Сан-Марко в надежде, что «Флориан» еще открыт. Он закрывался; из аркады убрали стулья, на окна водружали деревянные щиты. Короткие переговоры с официантом, который уже переоделся, чтобы идти домой, но которого я немного знал, привели к желаемому результату, и с этим результатом в руке я вышел из-под аркады и окинул взглядом 400 окон пьядцы. Она была абсолютно пустая, ни души. Кругловерхие окна тянулись в своем обычном сумасшедшем порядке, словно геометрические волны. Этот вид всегда напоминал мне римский Колизей, где, по словам одного моего друга, кто-то изобрел арку и не смог остановиться. «Pillage this village», — по-прежнему бубнил я. — «This city deserves...» Туман поглощал пьядцу. Вторжение было тихим, но все равно вторжением. Я видел, как пики и копыя молча, но очень быстро движутся со стороны Лагуны, словно пехота перед тяжелой кавалерией. «Молча и очень быстро», — сказал я себе. Теперь в любую минуту их Король, Король Туман, мог появиться из-за угла во всей своей клубящейся славе. «Молча и очень быстро», — повторил я. Это была строчка Одена из «Падения Рима», и именно это место было «совсем не здесь». Внезапно я почувствовал, что он сзади, и резко обернулся. Высокое, гладкое окно «Флоринана», хорошо освещенное и не прикрытое щитом, горело сквозь клочья тумана. Я подошел к нему и заглянул внутрь. Внутри был 195? год. На красных плюшевых диванах, вокруг мраморного столика с кремлем бутылок и чайников, сидели Уистан Оден со своей самой большой любовью Честером Калманом, Сесил Дей Льюис с женой и Стивен Спендер со своей. Уистан рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошел хорошо сложенный моряк. Честер встал и, не сказав «до свидания», пустился по горячему следу. «Я посмотрел на Уистана, — рассказывал мне Стивен годы спустя, — он продолжал смеяться, но в глазах у него стояли слезы». Тут окно потемнело. Король Туман въехал на пьядцу, осадил жеребца и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и сбруя коня; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.

## 49.

Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода. мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

<sup>1</sup> «Грабьте это село» (англ.).

<sup>2</sup> «Этот город не заслуживает жалости» (англ.).

## Текст от руки

Именно так — от руки вписанный — текст бросается в глаза как деталь оформления на титульном листе сборника Юлия Кима «Творческий вечер» (М., «Книжная палата», 1990). Потом с титула вязь синих чернил потянет — по страницам книги, разбивая ровные строки печатного текста.

Первое объяснение, приходящее в голову, — дневниковый характер книги. Один из ее разделов впрямую назван: «Из дневников 60—80 гг.». В других случаях такое или подобное название подразумевается, а значит, есть смысл подчеркнуть личное присутствие автора. Стихи и поэмы. Песни и романсы — их ожидаешь прежде всего, но здесь они вынесены в последний раздел, и только на одну тему: «Мир — театр, люди — актеры».

Песен ожидаешь, поскольку они сделали имя Кима известным и хранили эту славу на протяжении трех десятилетий, включая и те годы, когда оно оказалось под недвусмысленным запретом, заменяемое в титрах кинофильмов, в программах спектаклей подцензурным псевдонимом — Ю. Михайлов. Многие, впрочем, знали, кто автор песен, которые поются, записываются и переписываются на магнитофонную ленту и очень редко доходят до печатного станка. Если печатный текст, то на машинке, а чаще узнаваемый в живом общении — с голоса, в авторском исполнении. Звуковой автограф, графический образ которого — текст, вписанный от руки.

Вот и вторая мотивировка оформительского приема в сборнике «Творческий вечер». Название его также удачно: открывая свою первую книгу, автор не забывает напомнить свой прежний жанр — устный, игровой. Однако первая ли это книга — вопрос, ибо их у Ю. Кима вышло сразу три. Все в 1990 году.

Песни собраны в «Летучем ковре» (Песни для театра и кино. М., «Киноцентр», 1990). Среди них много известных: «На далеком севере // Бродит рыба-киг...» — шуточно-игровое и очень давнее. Есть и иронически-героическое — в этой тональности написано особенно много:

Красотки, вот и мы, кавалергарды!  
Наши палаши  
Чудо хороши!

Ужасны мы в бою, как леопарды!  
Грудь вперед,  
Баки расчеши!

(Кавалергарды)

Есть лирическое — от первого лица, которое, впрочем, остается всегда под маской:

Я клоун,  
Я затейник,  
Я выбегаю на манеж не ради денег,  
А только  
Ради смеха:

Вот это клоун! Вот потеха! Вот чудной!

(Я клоун)

Ну, и наконец, чтобы не оставлять сомнений в том, насколько широко распеты песни Ю. Кима, — наверное, самый его громкий хит, приобретший ту высшую славу, когда кажется, что у текста нет автора, что он принадлежит всем, а прежде всего языку, устойчивые формулы которого в нем так непринужденно обыграны и зарифмованы:

Наплевать, наплевать,  
Надоело воевать,  
Ничего не знаю,  
Моя хата с краю.

(Бумбараш)

Ряд памятных цитат можно продолжить, но далеко не все известно удастся процитировать по вышедшим сборникам. Кто не помнит: «А я обществом все ведаю, ведаю, // А оно все ведает мной...»? Для многих с этого начинался Ким, но этого-то как раз и нет среди напечатанного. Редактор не позволил? Едва ли. Да и какая по нынешним временам тут крамола? Автор не захотел?..

Так или иначе, но прочитанный сегодня Ю. Ким выглядит несколько иным, чем тот — многократно слышанный. Он тот же, конечно, но акцент смещен. Смещен в сторону театральных жанров, литературных и чуть отдален от собственно речевых. Можно понять опасность при их переводе в печатный текст. Его тяжесть уже испытали на себе Высокский и Галич, а еще раньше — Окуджава. При переводе с магнитофонной ленты гложет голос, а с ним — авторская интонация.

Кто-то скажет (и уже говорит), что это — доказательство поэтического несовершенства; ведь мы, привычно метафоризируя, ждем от поэзии авторского голоса, и, чем он сильнее, индивидуаль-

но выраженнее, тем мы более высоко склонны оценивать качество написанного. Однако авторская песня — не худший, а просто иной жанр. Он предполагает исполнителя так же, как его предполагают пьеса или сценарий. Это текст, предназначенный к озвучиванию, к индивидуальному исполнению, а оттого и названный авторской песней. Глазами прочесть его недостаточно, по крайней мере необходимо припомнить его с авторского голоса.

Много лет наше представление о том, что такое литература, было как бы раз и навсегда заданным, строго регламентированным. Литература — это то, что дозволено к печатанию. И точка. Правда, судя по грозным окрикам в печати, оказывалось, что есть еще запрещенная литература, но лучше, чтобы ее не было. Зато явно было многое такое, что писалось и читалось, а еще чаще пелось и слушалось, но даже с точки зрения слушающих и любящих не имело литературных претензий. Авторская песня, например. Нечто промежуточное между литературой и эстрадой (впрочем, долгие годы ни туда, ни туда не допущенное), между поэзией и речью. К живой речи с ее вольным мнением и вольной интонацией ближе всего существовала авторская песня. Это мнение она выражала, на эту интонацию настраивала свой слух.

Она была вытеснена в быт, на те самые «московские кухни», о которых написана и по которым названа пьеса Ю. Кима (сборник «Волшебный сон. Фантазии для театра». М., «Советский писатель», 1990). Но и там жанру не было дозволено спокойно обосноваться, как продолжалось и вытеснение самих обитателей «московских кухонь»: одних — в края далекие, других — в не столь отдаленные. Одни уезжали сами, другие, провожающие, оставались, пока не «уезжали» их:

Старик, извини меня, старый,  
Видал я все это в трубу.  
Увы, семиструнной гитарой  
Не переиграешь трубу.

Привык я к беспечному пенью,  
Мне сладок отечества дым,  
Но нечем дышать, к сожаленью.  
Сам видишь: не царский режим.  
Особый...

Старик, я ничуть не краснею,  
Что еду, смываюсь, бегу:  
Я их победить не сумею,  
Но я их терпеть не могу.  
Что делать, ну да, я не воин,  
Я вождь многодетной семьи.  
Старик, я ни в чем не виновен!  
И все ж — ты меня извини...

(Вадим)

Пьеса — и память, и свидетельство. Свидетельство о тех самых «московских кухнях», на которых «гитара Высоцкого с Галичем // Тоже здесь, а не где завелась». Пьеса о той среде, которая породила авторскую песню, и Ким не мог не написать об этом. Как он не мог не начать писать пьесы, ибо они — в природе его поэтического (именно поэтического) дара.

Авторская песня в равной мере и литературна, и театральна. Поэт в ней — автор и исполнитель. Театр Высоцкого, Галича — театр многих амплуа, меняющихся масок. Театр Окуджавы — лирическая монодрама. Театр Кима — брехтовский по сути спектакль, в котором автор не собирается переиграть все роли, но и не остается за кулисой. Он выйдет к рампе, чтобы прокомментировать, чтобы окликнуть зрителя прямо к нему обращенным современным речевым зонгом. В жанре всегда много от баллады — от ее повествовательной скорости, от ее иронической разговорности и от ее прямо-таки детективных концовок. И многое как будто бы требуется для эффекта неожиданности: переставь слово в рефрене, а то и вовсе сократи речевой жест до единственной выпущенной буквы, без которой стиль «Жестокое романса» иронически отчуждается от исполнителя и не может быть принят «на полном серьезе»:

От ласок притворных  
Опять вся горю...  
Люблю,  
Ненавижу,  
И все-таки — люблю!..

Среди тех четырех-пяти поэтов, коиими, в общем, ограничен круг создателей авторской песни, ее основных стилистических направлений, Кима, пожалуй, отличает наиболее непосредственное вхождение в речь. Сказанная шутка, подхваченная интонация, выброшенные в горячем кипении разговора, — от них тут же завязывается текст, к нему подбирается мелодия. Ни у кого, кажется, процесс рождения слова поэтического из речевого не обнажен так явно. Родство между ними самое близкое, их достоинства — взаимные, как и их недостатки: в дружеской беседе никому не придет в голову придирчиво судить каждое слово, вести строгий счет удачным и неудачным шуткам.

И все-таки это только одна сторона. Есть другая: литературный репертуар «московских кухонь» авторской песней не исчерпывается. Официоз не только очерчивал круг того, что предлагалось безоговорочно принять как современную литературу, но он же подминал под себя, присваивал себе классику. Официально утвержденный классик получался всегда с кисло-торжественной миной, более всего опасаящимся любой «модернизации»: упаси Бог примерить сказанное им к нашим обстоятельствам. Ну и, конечно, не считаясь с запретом, примеривали, классическими устами проговаривая то, что современными — ни-ни.

Однако не будем преувеличивать литературное и любое другое значение того эзопова языка. Важнее было другое: от разрешенно-чинного разговора с классикой веяло академической и школьной скукой. Ее хотелось развеять. Это и делал Ким.

Как никто погруженный в речь, он, пожалуй, как никто часто и настойчиво

вслушивался в доносящееся до нас слово великих. Целый ряд пьес Кима — современные переложения, пересказ с комментарием: Шекспира — «Сказки Арденнского леса», Гете — «Профессор Фауст», Маяковского — «Баня во весь голос»... При всей разности перелагаемых авторов обращает на себя внимание один момент сходства: у них выбраны те вещи, которые выросли из площадной комедии, из народной речевой стихии и потому легко в нее возвращаются. Только речь другая — нам современная и комические кивки, намеки, недомолвки — нам понятные.

Поверх официальных барьеров устанавливается неформальное общение с культурой — без изъятий и цензурных прочерков. Общение, в котором наш современник получает право на визит к Шекспиру, Гете или к Давиду Самойлову в Пярну, куда так естественно явиться с пушкинской цитатой:

В надежде славы и добра,  
А главным образом — погоды,  
Гляжу в окно на вид природы:  
В природе слякоть и мура

Киму особенно удаются такие моменты сцепления разговорного слова с классическим. Теперь цитатность в моде, но Ким полюбил цитировать до того, как мода установилась. И цитирует он иначе, чем теперь принято, особенно у молодых, у «постмодернистов». У них цитата — обломок, свидетельствующий, что более ничего и нет, что культура Атлантидой ушла под воду. У Кима (и этим он

действительно напоминает Самойлова) цитаты разговорно-непринужденны, они вплетаются в речь полунамеками, полупоминаниями — о целом.

Можно сказать, что речевая поэзия Юлия Кима звучит в присутствии культуры, не становясь от этого ни робкой, ни скованной. Поэт менее всего страшится оговорок, разговорной небрежности или рифмы:

Люблю небрежную рифмовку,  
Различных звуков подтасовку!  
Мне б только гласные сошлись,  
А не сойдутся — я сошлюсь

На классиков: Давид Самойлов  
Словечко за меня замолвит,  
Поскольку сам рифмует так,  
Как ни один не смеет так!

Вся поэма «Дожди в Пярну» — разговорная, вдохновившаяся дружеским бытом, общением, встречей. У нее и подзаголовок — «Отрывки из летнего дневника 1984 года».

Теперь эти беглые отрывки вместе с песнями, балладами, пьесами-переложениями легли на типографский шрифт, но не случайно пронизательный художник — Марат Ким — использовал деталь оформления почерк поэта. Это необходимое напоминание, и не только о том, как создавалась поэзия, как она бытовала. Это и важное указание на ее сущность. Воспринимая слово в новом для него литературном качестве, не забудем, что оно зазвучало с голоса и что, напечатанное, оно по-прежнему должно сохраниться звучащим, как будто записанным наскоро, как будто от руки.



## Уважаемые товарищи!

**ВЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ СВОЙ ОТПУСК В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПУТЕШЕСТВИИ И С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕЛИ ПУТЕВКУ В ОДНОЙ ИЗ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.**

**ЖЕЛАЯ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА, ГОССТРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ НА ПЕРИОД ПУТЕШЕСТВИЯ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ-ЭКСКУРСАНТОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.**

**ВЗНОС В СУММЕ ВСЕГО 1 РУБ. 50 КОП., УПЛАЧЕННЫЙ АГЕНТУ-СОВМЕСТИТЕЛЮ В ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПУТЕВКИ, ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА 3000 РУБЛЕЙ.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, СПОРТИВНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНВЕНТАРЯ.**

**РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНОСА НЕБОЛЬШОЙ И ЗАВИСИТ ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ И СРОКА СТРАХОВАНИЯ.**

**ДЛЯ ЭТОГО ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СТРАХОВУЮ ФИРМУ РОСГОССТРАХА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТДЫХА.**

**ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ВИДУ СТРАХОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ В ЛЮБОЙ ГОРОДСКОЙ (РАЙОННОЙ) ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И В ПРАВИЛЕНИИ ГОССТРАХА РСФСР ПО ТЕЛЕФОНАМ: 200-51-44, 200-55-08**

**ГОССТРАХ  
РСФСР  
ВСЕ ВИДЫ  
СТРАХОВЫХ УСЛУГ**

**ПРАВЛЕНИЕ  
ГОССТРАХА  
РСФСР**